РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН

3

МАЙ-ИЮНЬ

"НАУКА"
МОСКВА – 2010

СОДЕРЖАНИЕ

В.В. Казаковская (Санкт-Петербург). Реактивные реплики взрослого и усвоение ребенком грамматики родного языка 3

Е.В. Урысон (Москва). Составной союз или сочетание слов: *даже если* под семантическим микроскопом 30

С.М. Поляков (Шадринск). Основные способы реализации семантики сожаления в современном английском языке 59

В.В. Шаповал (Москва). Критерии вычленения непомеченного слоя компиляции в словаре 74

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

В.М. Алпатов, М.И. Исаев (Москва). Выдающийся иранист и теоретик языкознания В.И. Абаев (к 110-летию со дня рождения ученого) 87

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

В.М. Алпатов (Москва). Александр Николаевич Самойлович. Научная переписка. Биография 109

С.А. Минор (Москва). *W.D. Davies, S. Dubinsky* (eds.). New horizons in the analysis of control and raising 115

В.Ю. Гусев (Москва). *B. Wiemer, V.A. Plungian* (Hrsg.). Lexikalische Evidenzialitäts-Marker in slavischen Sprachen 127

А.Ю. Урманчиева (Москва). *D. Nurse*. Tense and aspect in Bantu 133

В.С. Мальцева (Москва). *J. Kandybowicz*. The grammar of repetition: Nupe grammar at the syntax-phonology interface 139

Т.А. Михайлова (Москва). *J.T. Koch*. Tartessian: Celtic in the South-West at the dawn of history 141

В.А. Панов (Москва). *Г.Вс. Петрова*. Латинско-русский словообразовательный словарь: ок. 20 000 слов 145

А.Б. Шлуинский (Москва). *V. Vydrine, M.A. Kességbeu*. Dictionnaire Dan-Français (den de l'Est); *A. Erman, J.K. Loh*. Dictionnaire Dan-Français (den de l'Ouest) 148

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

М.А. Грачев, А.Г. Калинина (Нижний Новгород). Организация и проведение международной конференции «Социальные варианты языка – VI» 151

М.Э. Чумакина (Гилфорд). VIII конференция Ассоциации лингвистической типологии 152

Т.А. Майсак (Москва). 42-я ежегодная конференция Европейского лингвистического общества 156

Л.А. Девель (Санкт-Петербург). VIII Ивановская международная лексикографическая школа-семинар 158

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, Н.Б. Вахтин, В.А. Виноградов (зам. главного редактора), *Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик* (зам. главного редактора), *М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева* (главный редактор), *В.А. Плунгян* (отв. секретарь), *Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *Н.В. Вострикова, О.А. Казеннова, А.С. Кулева, М.М. Маковский*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
Редакция журнала «Вопросы языкознания»
Тел. (495) 637-25-16

Интернет-сайт журнала находится по адресу:
www.ruslang.ru, см. раздел «Издания»

© Российская академия наук, 2010 г.
© Редколлегия журнала «Вопросы языкознания» (составитель), 2010 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 2010

© 2010 г. В.В. КАЗАКОВСКАЯ

РЕАКТИВНЫЕ РЕПЛИКИ ВЗРОСЛОГО И УСВОЕНИЕ РЕБЕНКОМ ГРАММАТИКИ РОДНОГО ЯЗЫКА*

В статье рассматриваются механизмы воздействия речи взрослого на формирующуюся языковую систему ребенка. Анализируются особенности влияния коммуникативного поведения взрослых на усвоение ребенком грамматики родного языка. Предметом исследования являются структурные и прагматические типы реплик-реакций со стороны взрослого на морфологически правильные / ошибочные (либо неполные) высказывания с глагольными и/или именными формами. Выявляется соотношение реплик взрослого и ошибок ребенка. В данной связи анализируется усвоение именной и глагольной морфологии. Итоги проведенного анализа сопоставляются с результатами исследований коммуникативного поведения взрослых, являющихся носителями немецкого, французского и литовского языков.

1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1.1. Постановка вопроса

Статья посвящена анализу реакций взрослого на ошибочные и правильные высказывания русскоязычного ребенка, находящегося на ранних стадиях усвоения родного языка. Речь идет об особых типах реплик, функция которых – помочь ребенку обнаружить и запомнить правильное / ошибочное на любом из языковых «уровней» и тем самым способствовать становлению всех компонентов коммуникативной компетенции.

В настоящее время в общей теории языкознания еще в недостаточной мере разработаны различные аспекты вопроса о природе языковой способности и факторах, влияющих на процесс усвоения языка. Постулируя врожденность языковых структур и объясняя этим усвоение категорий и правил грамматики, Н. Хомский выдвинул тезис о лингвистической бедности и ошибочности речи взрослого, обращенной к ребенку (инпута, *child directed speech – CDS*) [Chomsky 1980; 1995], и, следовательно, о невозможности для ребенка самостоятельно построить систему языка при опоре на этот материал.

Исследования инпута, предпринятые представителями социопрагматического подхода к усвоению языка, обнаружили несостоятельность этого допущения, показали, что коммуникативное поведение родителей относится к числу наиболее важных факторов, влияющих на речевой онтогенез, а кроме того выявили ряд специфических черт, свойственных речи, обращенной к ребенку [Snow 1977; Gleason 1977; Snow, Ferguson 1977]. Было установлено, что общающийся с ребенком взрослый (*caretaker*) чувствителен к детским аграмматичным высказываниям и предоставляет достаточное количество свидетельств, необходимых для усвоения родного языка, хотя в целом оба участника диалога в большей степени реагируют на содержательный (предметный) аспект коммуникации [Hirsh-Pasek et al. 1984; Bohannon, Stanowicz 1988; Farrar 1992; Gallaway, Richards 1994; Saxton et al. 1998; Pine, Messer 2002; MacWhinney 2004].

* Данное исследование поддержано Фондом Президента РФ (грант НШ-1335.2008.6 «Петербургская школа функциональной грамматики»).

Возобновление интереса к проблеме инпута во многом связано с началом систематического изучения так называемых р е ф о р м у л я ц и й (*reformulations*) – специальных реакций взрослого на речевую продукцию ребенка, в немалой мере влияющих на развитие детской грамматики [Clark, Chouinard 2000; Chouinard, Clark 2003; Saxton 2000; Saxton, Backley, Gallaway 2005; Dressler, Kilani-Schoch et al. 2006; Balčiūnienė 2007; Strapp et al. 2008]. В частности, согласно теории контраста (*theory of contrast*) [Saxton 1997; 2000], реакции взрослого, непосредственно следующие за ошибочной или неполной речевой продукцией ребенка, создают контраст между ошибочным и правильным. Они позволяют ребенку сконцентрировать внимание на ошибке и впоследствии, избежав ее, усвоить языковую систему. Таким образом, реплики этого типа были интерпретированы как негативные свидетельства (*negative evidence*, *negative feedback*) со стороны взрослого. В связи с этим в сферу внимания исследователей вошли не только отдельные типы негативных свидетельств взрослого (в частности, повторы и корректирующие реформуляции) [Demetras et al. 1986; Saxton 2000; Farrar 1990; Furruw et al. 1993; Sokolov, Snow 1994; Clark, Chouinard 2000; Chouinard, Clark 2003; Balčiūnienė 2005; Kilani-Schoch, Dressler et al. 2006], но и его позитивные реакции (*positive evidence*) [Krauze 1999], функция которых – поддержать ребенка как партнера в диалоге.

Дискуссия, затрагивающая различные аспекты реакций взрослого, составила широкий контекст проблематики, получившей название «negative input». Так, рассматривается зависимость качественного своеобразия и количественной репрезентации реактивных реплик от целого ряда причин – например, от индивидуальной тактики взрослого, типологических особенностей языка и социокультурной среды, в которой находится ребенок. Были высказаны гипотезы о с т а д и а л ь н о с т и в функционировании реформуляций [Chouinard, Clark 2003] и об их положительном влиянии на исчезновение ошибок [Kilani-Schoch, Balčiūnienė et al. 2008; Balčiūnienė 2009]. На материале языков, различающихся с точки зрения богатства морфологической системы, в значительной мере изучены прагматические типы реакций взрослого на детские ошибки в области аналитической (*periphrastic*) глагольной морфологии [Kilani-Schoch, Dressler et al. 2006; Kilani-Schoch, Balčiūnienė et al. 2008].

В проводимых учеными разных стран исследованиях ставятся вопросы о том, получает ли ребенок достаточное (для усвоения языка) количество позитивных / негативных свидетельств со стороны взрослого и каковы механизмы усвоения родного языка. Пока еще незначительно количество языков, изученных в данном отношении[1]. В связи с этим нельзя считать решенным вопрос о тех факторах, которые обусловливают усвоение ребенком языка в чрезвычайно короткий срок.

Наше исследование выполнено на лонгитюдном материале корпуса русской детской речи и призвано заполнить одну из лакун в этой сфере. Как и во всех упомянутых выше случаях, оно имеет характер «case study». Результаты анализа усвоения ребенком морфологически богатого флективного языка предоставляют специалистам широкие возможности для детального изучения корреляции «*input* → *output*». Имеется в виду, в частности, соотношение особенностей коммуникативного поведения взрослого и различных типов ошибок, которые допускает ребенок при овладении грамматикой.

Таким образом, в настоящей работе рассматривается один из механизмов воздействия инпута на складывающуюся языковую систему ребенка. На материале русского языка проверяется гипотеза о стадиальности реакций взрослого на наличие / отсутствие ошибок в речи ребенка. Характеризуется влияние коммуникативного поведения взрослого на усвоение ребенком грамматики родного языка. Предметом анализа являются реактивные реплики взрослого, предпочтительные типы реакции с его стороны и реализуемые прагматические функции. Проводится анализ фактов детской речи в области усвоения именной и глагольной морфологии.

[1] В настоящее время существуют лонгитюдные данные по корпусам английского, французского, немецкого и литовского языков.

1.2. Корпус данных и методология исследования

Предметом исследования являются пары смежных реплик – диалогические единства или их фрагменты, включающие (а) морфологически ошибочную и, напротив, (б) морфологически правильную (*adult-like*) реплику ребенка, содержащую глагол и/или имя (в широком смысле)[2], а также следующую за ней реплику взрослого:

а)	(1)	2;1[3]	*VAN:	Moja*[4].
			*BAB:	Chto, tvoj stul?
	(2)	2;2	*VAN:	Djadju=djadja* risuju=isjuju.
			*BAB:	Djadju narisuj?
б)	(3)	2;2	*VAN:	Baba, risuj=isjuj.
			*BAB:	Chto ja budu risovat'?
	(4)	2;0	*VAN:	Tapki.
			%sit:	Pokazyvaet na svoi tapki.
			*MAM:	Tapki, pravil'no.

Особое внимание уделялось реакциям взрослого на неправильные и неполные с грамматической точки зрения высказывания ребенка. Уточним: в последнем случае речь идет о репликах с пропущенным глаголом, например:

(5)	2;4	*VAN:	Papa Lesha vot etu=etju bibiku tozhe=toze.
		*BAB:	Tozhe podaril, da.

Учитывались слова ребенка из «языка нянь» (*baby talk, BT*) и слова, изобретенные ребенком или употребляемые в семье (*child-specific forms, CSF*), а также неясные и так называемые «замороженные формы» (*frozen forms, FF*). Последние представляют собой формы, лишь напоминающие спрягаемые образования, однако не являющиеся таковыми, ввиду отсутствия в речевой продукции ребенка других форм данного слова. Несмотря на то, что на ранних этапах онтогенеза замороженные формы не могут быть отнесены к ошибкам в строгом смысле этого слова, механизм, влияющий на их «размораживание» (или на конвенционализацию в случаях *BT* и *CSF*), относится к сфере обсуждаемых стратегий коммуникативного поведения взрослого. К тому же количество таких форм невелико.

Языковым материалом послужили расшифрованные и закодированные в системе CHILDES [MacWhinney 2000] аудиозаписи речевого взаимодействия родителей и бабушки (преимущественно) с Ваней, относящиеся к третьему году жизни ребенка (2;0–2;8)[5]. Мальчик родился в интеллигентной петербургской семье. Запись осуществлялась взрослыми несколько раз в месяц в домашней обстановке – в каждодневных и привычных для ребенка ситуациях игры, чтения книги, рисования, кормления, купания и пребывания за городом – на даче (34 часа). Объем проанализированного материала составляет 8350 пар реплик «ребенок – взрослый», извлеченных методом сплошной выборки из корпуса, включающего 8930 высказываний ребенка и 18306 высказываний взрослого[6].

---

[2] Кроме имени существительного, в анализ включены имена прилагательные и числительные, а в отдельных случаях также местоимения.

[3] Возраст ребенка – два года и один месяц.

[4] Здесь и далее астериск обозначает детскую ошибку.

[5] Корпус собран под руководством Н.В. Гагариной; расшифровка и кодирование выполнены Е.К. Лимбах и М.И. Аккузиной.

[6] Используемый в сравнительном анализе языковой материал может быть охарактеризован следующим образом. Французский язык (М. Килани-Шох) представлен двумя корпусами – «Эмма» (1;4–2;6) и «Софи» (1;6–2;6). Их объем составляет, соответственно, 1330 и 2900 диалогических единств. Немецкий корпус «Ян» (1;3–2;6) проанализировали В. Дресслер, К. Корецки-Крелль и С. Лааха (6690 единиц). Литовский корпус «Моника» (1;8–2;8) состоит из записей диалогов (7012 единств) девочки с ее родителями (И. Балчюнене).

Третий год жизни ребенка характеризуется регулярным использованием имен существительных. Преобладание номинативной лексики в начальном детском лексиконе отмечено на материале многих языков, которым не свойственна фиксированная (конечная) позиция глагола в предложении. Однако наиболее существенным в это время является возникновение в речи ребенка глагола. Рассматриваемый период охватывает промежуток времени от момента спорадического появления в речи Вани первых глагольных форм до их активного и практически безошибочного употребления. За это время размер высказывания ребенка в словах (ср. *MLU*) увеличивается с 1.8 до 4.8, а количество словоупотреблений в месяц возрастает с 83 (2;0) до 676 (2;8).

Глаголу справедливо приписывается роль катализатора в становлении всей грамматической системы. Замечено, что уже через несколько месяцев после появления в речи ребенка глагола возможно самостоятельное конструирование различных словоформ[7]. К трем годам ребенок проходит путь от использования звукоподражаний, выступающих в предикативной функции и являющихся предвестниками глагола, до свободного владения абстрактными морфологическими операциями, от этапов «premorphology» и «protomorphology», характеризующихся экстраграмматическими операциями и возникновением первых мини-парадигм, до морфологии конвенциональной, нормативной, предполагающей усвоение грамматической нормы и периферийных правил [Dressler 1997; 2007; Dressler, Karpf 1995].

Результаты количественного анализа показали, что реакции взрослого на ошибочные именные образования в речи ребенка более многочисленны: они превышают реакции на его высказывания с глаголом (210) практически в два с половиной раза. Это может быть объяснено упомянутой выше начальной стадией освоения глагола, изначально предполагающей небольшое количество глагольных форм: они составляют одну пятую часть (1692) от всей речевой продукции ребенка.

2. РЕАКТИВНЫЕ РЕПЛИКИ ВЗРОСЛОГО

2.1. Структурные типы реплик

Структурные типы реплик-реакций русскоязычного взрослого представлены повторами, расширениями, реформуляциями, вопросами, а также репликами, поддерживающими диалог и свидетельствующими о естественном развитии (ходе) реплицирования. Приведем примеры, иллюстрирующие структурные типы реактивных реплик.

а) Повторы взрослого (утвердительные «эхо-повторы») одобряют либо, напротив, отклоняют реплику ребенка в формальном или содержательном отношениях:

(6) 2;6 *VAN: Zajchiki=zjajsiki ljubjat=ljubi morkovku=makovku.
*BAB: Zajchiki ljubjat morkovku.

В отдельных случаях в фокусе повтора оказывается не целая реплика, а ее определенный фрагмент. Это особый тип повтора – фокусированный:

(7) 2;8 *VAN: O, akula=akulja pavesi*.
*BAB: Povesila.
%com: Popravljaet Vanju.

[7] Подробнее о становлении глагольных категорий в речи русского ребенка см. [Гагарина 2009].

б) Реплики-расширения (*expansions*) взрослого дополняют – лексически и грамматически – сказанное ребенком, включая то, о чем шла речь, в более широкий контекст:

(8)	2;5	*VAN:	Slomalas'=sjamajsja* fara=fava.
		*BAB:	Oj, Vanja, u tebja slomalas' fara.
(9)	2;0	*VAN:	Djadja.
		*MAM:	I djadja na nem edet, krutit pedali.

в) Реформуляции детской реплики представляют собой ее «редактирование» взрослым, приближение к тому, что, по мнению взрослого, хотел или должен был сказать ребенок:

(10)	2;3	*VAN:	Gorit=goit* fary=favy.
		*BAB:	Fary gorjat.
(11)	2;0	*VAN:	Jagoda=gaga.
		*MAM:	Kak jagodka, da.

г) Вопросы референциальные:

(12)	2;2	*VAN:	Risuj=isjuj, baba.
		*BAB:	A chto risuj, davaj dom narisuem?
		%sit:	Vanja daet babushke karandash.
(13)	2;1	*VAN:	0K[8] mame, 0k pape.
		*BAB:	Kto uletel?

и уясняющие (*questions of clarification, global questions, regulative questions*):

(14)	2;8	*VAN:	Smotri=fati, ubezhala=ubizjaja.
		*BAB:	Chto? Ne ponjala.
(15)	2;2	%sit:	Podbegaet k poezdu, kataet ego po izvilistoj linii.
		*VAN:	Poexal=paexa dlinnyj=dinni 0kak zmeja=zima.
		*BAB:	Chto takoe «zima»?
		*VAN:	Zmeja=zima.
		*BAB:	Ah, zmeja!

Вопросы первой группы, референциальные (12; 13), значимы для содержания реплики ребенка. Это вопросы, которые развивают тему диалога. Вопросы второй группы, так называемые кларификативные (14; 15), свидетельствуют о непонимании взрослого и предполагают – со стороны ребенка – более четкий и/или корректный повтор ранее использованной формы слова / лексемы[9]. Вопросы этого типа, напротив, приостанавливают развитие темы и таким образом возвращают диалог назад (ср. «вперед»-вопросы и «назад»-вопросы).

---

[8] Сочетание с 0 (ноль) означает отсутствие данного слова (как правило, предлога или отрицательной частицы «не») в реплике ребенка.

[9] Интерес к подобным реакциям (см. также: «What did you say?», «What are you trying to say?», «I can't understand you», а также «Not …, but …») стимулировал систематическое изучение реформуляций как негативных свидетельств взрослого в ответ на ошибочную речевую продукцию ребенка. Данная проблематика получила дальнейшее развитие в исследованиях, выполненных в рамках кросслингвистического проекта «Pre- and protomorphology» (Австрийская академия наук). Автор выражает глубокую признательность руководителю этого проекта – проф. В. Дресслеру, координатору направления «Adult reformulations» – проф. М. Килани-Шох и одному из его участников – И. Балчюнене за ценные замечания, высказанные в ходе обсуждения русскоязычного корпуса данных (Вена, 2008–2009 гг.).

Коррекция ошибочной продукции может появиться в любом из перечисленных структурных типов. Она осуществляется (1) имплицитным (косвенным) или (2) эксплицитным (прямым) способами:

1)	(16)	2;3	*BAB:	Spat' potom pojdesh'?
			*VAN:	S babushkoj=babij rjadom=jadom, 0s babushkoj=babij.
			*BAB:	Rjadom s babushkoj?
	(17)	2;5	*VAN:	Koleso=kiisjo slomalos'=sjamajsja*.
			*MAM:	Nu slomalos', da.
2)	(18)	2;2	*BAB:	Ja ne umeju.
			*VAN:	Umeju* ja.
			*BAB:	Nado skazat' «umeesh'», kakaja mashina?
	(19)	2;8	*VAN:	Ii, op, snjalsja* golova=gajava.
			*BAB:	Ne «snjalsja», a snjalas'.

(д) Реплики, корректирующие детские ошибки эксплицитным способом (18–19) – собственно исправления, немногочисленны во всех корпусах данных.

(е) Реплики, поддерживающие и регулирующие течение диалога (*feedback*), относятся исключительно к содержательной стороне детского высказывания:

(20)	2;2	*VAN:	Spat'=pat'.
		*BAB:	Ne nado na pol, na divan, na pol vot etoj nakryvaj.
(21)	2;4	*VAN:	Ochki=as'ki snimi=snjaj*.
		*BAB:	Ugu.
(22)	2;8	*VAN:	Upal=upaja* kot.
		*BAB:	Oj. Ups.

Повторы, расширения и реформуляции (а–в) отличаются от реплик, поддерживающих диалог (е), тем, что содержат в своем составе слово или фрагмент из детской реплики. Вопросы (г) и собственно исправления (д) могут входить в каждую из подгрупп, выделяемых на основании наличия / отсутствия в реплике взрослого элементов высказывания ребенка.

В «репертуарном» плане структурные типы реплик-реакций русскоязычного взрослого сопоставимы с реакциями, отмеченными на материале французского, немецкого и литовского языков. Обнаруженные особенности коммуникативного поведения взрослого заключаются в предпочтительном использовании определенных типов реплик-реакций; к этому вопросу мы вернемся в дальнейшем изложении (п. 2.5).

2.2. Прагматические типы реактивных реплик

В основе рассматриваемой классификации реактивных реплик лежит идея выделения двух типов реакции взрослого: а) реакции на формальную (собственно языковую, *de dicto*) сторону детской реплики и б) реакции на сторону содержательную (смысловую, *de re*) [Dressler, Kilani-Schoch et al. 2006; Kilani-Schoch, Dressler et al. 2006]. В соответствии с этим дифференцируются а) метадискурсивные (*metadiscoursive*) и б) конверсациональные (*conversational*) реакции. Оба способа реагирования на предыдущее высказывание собеседника являются эксплицитными.

Метадискурсивные реплики появляются в диалоге как сигнал того, что в общении возникла проблема. Ее причиной может быть грамматическая ошибка ребенка, непонятное слово или несовершенная форма произнесенного. В результате возникает непонимание детского высказывания либо его отдельного фрагмента. Используя метареплику, взрослый приостанавливает диалог, с тем чтобы разъяснить ситуацию или исправить ошибку. Эти реплики представляют собой негативные сигналы, необходимые ребенку для развития системно-языковых навыков. Согласно одной из частных гипотез, прове-

ряемых в проекте В. Дресслера, механизм реакций метадискурсивного типа «запускается» именно ошибочными репликами ребенка. Метареакции не содержат семантических элементов, существенно обогащающих детскую реплику:

(23) 2;1 *VAN: Nadet'=det'.
*MAM: Ne ponjala.
(24) 2;4 *VAN: Volk=vok napugat'=apagat'*.
%com: Volk napugal ili ispugal myshonka.
*BAB: Chto volk?
(25) 2;4 *VAN: Snimi=snjaj* ochki=as'ki.
*BAB: Snimi.

Конверсациональные реакции стимулируют ребенка главным образом к продолжению диалога и поэтому не прерывают реплицирования. Их основная функция – поддержать ребенка как партнера в диалоге, тем самым предоставив ему позитивные свидетельства для развития диалогических навыков. Корректирующая функция здесь вторична. Как правило, конверсациональные реплики добавляют новый, семантически значимый для развития темы элемент, а в отдельных случаях меняют иллокутивную силу высказывания:

(26) 2;3 *VAN: Boljat=bait* lapki=japki.
*BAB: Tak, vsem lapki pomazali, lekarstvo im vsem nado dat'.
(27) 2;3 *VAN: Mama spat'=pat'*.
*BAB: Mama na rabotu poshla, a ne spit. Mama ved' ne spit?
(28) 2;4 *BAB: Kak my budem igrat'?
*VAN: 0V bibiki.
*BAB: Net, a my chto tut prigotovili? E~to chto u nas?

Для проводимого исследования существенно отсутствие какой бы то ни было реакции со стороны взрослого на детскую реплику. Подобные случаи позволяют оценить степень толерантности взрослого по отношению к ошибкам ребенка:

(29) 2;2 *VAN: Umeesh'=umeis' net=e~a[10].
%sit: Vanja vse zarisovyvaet karandashom.

«Чувствительность / нечувствительность» взрослого выявляет его «положительную / отрицательную» реакцию на ошибку и обнаруживает определенные типы игнорируемых взрослым детских ошибок. В нашем корпусе игнорирусмыми со стороны взрослого ошибками являются так называемые привычные (*habitual*) ошибки (29; 30) и «замороженные формы». Например, взрослый не реагирует на образованную ребенком от глагола «снять» окказиональную форму, появляющуюся в шестой раз за небольшой промежуток времени, зарегистрированный в одном и том же файле:

(30) 2;4 *VAN: Pricep=tipep snimi=snjaj*.

Ср. метадискурсивный (ориентированный на форму реплики) вопрос (31) или собственно коррекцию (36) в аналогичной ситуации:

(31) 2;4 *VAN: Potom snimi=sjani*.
*BAB: Chto babushka potom?

[10] Пример иллюстрирует типичный для Вани в этом возрасте способ выражения отрицания или несогласия: с этой целью ребенок употребляет изобретенную им окказиональную форму «эа» вместо «нет» в постпозиции.

Отсутствует реакция взрослого в ряде случаев и в ответ на «замороженный» индикатив «дам», использующийся ребенком вместо императива «дай» в ситуации требования, просьбы:

(32) 2;3 *BAB: Vot ona, knizhka.
VAN: Daj=dam.

Ср. реакцию конверсационального типа:

(33) 2;1 %sit: Vanja prosit dat' emu diktofon.
VAN: Daj=dam.
*PAP: Zachem tebe mikrofon?

Вторая группа ситуаций игнорирования вызвана и в известном смысле может быть объяснена проявлением интереса взрослого к развитию сюжета диалога – в ущерб стремлению проконтролировать соблюдение ребенком правил грамматики:

(34) 2;2 *VAN: Daj=dam*.
*BAB: Potomu chto zelenyj i kruglyj, da, davaj, my ego razrezhem kak budto.
%sit: Babushka prodolzhaet risovat'.

Процент игнорируемых взрослым ошибок ребенка невелик: например, для глагольного корпуса он составляет около 10%.

Количественный анализ реакций взрослого показал, что в диалоге с ребенком преобладают конверсациональные типы реплик. В частности, они составляют 63% от количества всех реакций на ошибочные глагольные образования в речи ребенка. Наши результаты близки к данным, полученным на материале других языков [Kilani-Schoch, Balčiūnienė et al. 2008; Balčiūnienė 2009], и подтверждают гипотезу о том, что в естественной коммуникации партнеры по диалогу в своих реакциях отдают предпочтение содержательному аспекту реплик-высказываний – независимо от возраста и уровня развития коммуникативных навыков. Таким образом, корректирующая функция является первичной (основной) в метадискурсивных репликах и вторичной – в репликах конверсациональных (ориентированных на содержание высказывания). Оба типа реакций предоставляют свидетельства разного рода (негативные и позитивные), необходимые для развития различных компонентов коммуникативной компетенции ребенка.

2.3. Структурно-прагматическая интерпретация реактивных реплик

Структурные основания классификации реактивных реплик связаны с основаниями прагматическими. Так, каждая из выделенных на прагматическом основании реплик представляет собой синтаксическую структуру, а значит, может быть охарактеризована в терминах структурной классификации (п. 2.1). В свою очередь, любой повтор, вопрос, расширение или реформуляция используется говорящим в диалоге, как минимум, с одной прагматической функцией – конверсациональной или метадискурсивной (п. 2.2). Таким образом, в основном все структурные типы реплик имеют «соответствия» в противоположном типе прагматической реакции. Исключением являются такие конверсациональные реплики, которые поддерживают диалог (16–18), а следовательно, не имеют аналогов среди реплик метадискурсивной направленности. Кроме того, реакция взрослого может быть охарактеризована с точки зрения отношения к «стимулу» – правильной или ошибочной реплике ребенка, а также с точки зрения отношения к характеру ошибки и способу ее исправления.

Далее приводятся фрагменты анализа реплик-реакций взрослого с учетом возможностей, обусловленных данными классификационными критериями. Например, в диалоге

(35) 2;2 BAB: Ne xochu pricepy risovat'.
VAN: Umeet=umei* baba.
BAB: Ja umeju, no ja ne xochu.

реакцию взрослого на не вполне понятное глагольное высказывание ребенка можно интерпретировать как расширение конверсационального типа. Бабушка «принимает» реплику, продолжает диалог и не заостряет внимание ребенка на некорректности употребленной им личной формы глагола, на возможной (и предпочтительной в ходе естественного реплицирования) замене существительного местоимением второго лица и на изменении порядка слов. В следующем диалогическом единстве (36) формообразовательная инновация ребенка, обусловленная неправильным выбором глагольной основы, эксплицитно корректируется взрослым при помощи метадискурсивной реплики:

(36) 2;4 *VAN: Ochki=as'ki snimi=snjaj*.
*BAB: Ne «snjaj», a snimi.

В примере (37) конверсациональный (референциальный) вопрос матери не прерывает диалог, однако с помощью данного вопроса детская ошибка (связанная с родом глагольной формы прошедшего времени) исправляется:

(37) 2;5 *VAN: Slomalos'=sjamajsja* koleso=kiisjo.
*MAM: Gde ono slomalos'?

В ситуации (38) реакция бабушки на ошибочную форму является, безусловно, расширением, поскольку реплика включает в себя новый семантический элемент (локатив «в кровати») и демонстрирует последовательность действий («лягут [и тогда] будут спать»):

(38) 2;6 *BAB: Mm, deti ljagut spat', ljagut.
VAN: Ljagut=jagit.
VAN: Deti budut=budi spat'=pat'.
*BAB: Da, ljagut v krovati i budut spat'.

Реакция (39) может быть отнесена к прямым метадискурсивным реформуляциям порядка слов в ситуации отрицания при глагольной форме сложного будущего времени:

(39) 2;6 *VAN: Budet=budi ne=i plakat'=pakit', [net].
*BAB: Ne budet plakat', net.

В случае (40) взрослый реформулирует предыдущую реплику ребенка, выдвигая на передний план ее субъект; субъектом реплики становится ребенок:

(40) 2;4 %sit: Vanja dostaet eshche odnu lozhechku iz korobki.
VAN: [Odna=anna], ostalas'=astajsja odna=anna.
*BAB: A, eshche odnu beluju dostal, xorosho.

Налицо реакция конверсационального типа, завершающаяся одобрением действий ребенка («хорошо»). Наконец, в примере (41) бабушка не исправляет ошибку в роде и

сосредотачивается на содержании диалога. Ее реакция – конверсациональное продолжение темы детской реплики и выражение согласия с тем, что сказано ребенком:

(41) 2;5 *VAN: Mama skazala=kazjaja moloko=majako.
VAN: Okazalos'=akazjajsja.
*BAB: Da, okazalos', e~to pivo.

Возвращаясь к возможным способам коррекции высказываний ребенка, остановимся на своего рода «шлифовании» реплики. Имеется в виду реакция взрослого на детское высказывание, правильное в грамматическом отношении, однако несовершенное в отношении фонетическом. Причиной фонетического несовершенства детской речи служат процессы, естественным образом сопровождающие освоение ребенком звуковой стороны языка. К их числу относятся слоговая элизия, субституция (в том числе палатализация), упрощение кластеров, метатезис, дистантная ассимиляция, выпадение начального и конечного звуков [Гвоздев 1961]:

(42) 2;2 *VAN: Lezhit=izit'.
*BAB: Lezhit?

Вопросительная реплика взрослого (42) обращена к фонетической стороне употребленного ребенком глагола. Данное произношение отличается от нормативного выпадением начального и палатализацией конечного звуков, а также заменой небно-зубного (двухфокусного) согласного – зубным (однофокусным). На наш взгляд, это не коррекция в чистом виде, а вопросительный повтор, шлифующий фонетический облик детской реплики. Крайне редко фонетические ошибки корректируются эксплицитно – при помощи соответствующей метадискурсивной реплики. В частности, такой ошибкой может быть перестановка слогов или звуков (метатезис):

(43) 2;1 *VAN: Dorogu=adogu.
*BAB: Ne adogu, a dorogu.

В дальнейших этапах исследования случаи такого рода могут быть рассмотрены отдельно – как реакции взрослого на фонетический компонент коммуникативной компетенции ребенка. На данном этапе исследования они включены в реакции взрослого на грамматически правильные реплики ребенка (п. 3.1).

Итак, общаясь с ребенком, взрослый не только поддерживает диалог, но старается научить ребенка говорить правильно. Родители исправляют, реформулируют и расширяют грамматически и лексически неправильные и/или фонетически несовершенные высказывания ребенка таким образом, чтобы ошибка исчезла, либо реагируют, используя специальный тип вопроса, который дает ребенку возможность увидеть и исправить ошибку. Стремление взрослого научить ребенка говорить без ошибок имеет, как правило, неосознанный и интуитивный характер, однако в отдельных случаях это намерение может быть вполне осознанным. Важно, что в обоих случаях процентное соотношение конверсациональных и метадискурсивных реакций оказывается практически одинаковым[11].

2.4. Анализ «неясных случаев»

Вызывает затруднения анализ реплик взрослого, совмещающих в своей структуре обе прагматические характеристики, то есть реакцию и на форму, и на содержание сказанного ребенком. Речь идет, например, об интерпретации таких реплик-высказываний взрослого, как метадискурсивная реакция (в диалогическом единстве (44) ею является

[11] На примере коррекции литовских диалектных форм это было показано в [Balčiūnienė 2009].

эксплицитная реформуляция порядка слов при отрицании), сопровождающаяся конверсациональным продолжением:

(44) 2;5 *VAN: 0Ne vidit=vidi babushka=baus'ka, [ne=a vidit=vidi].
*BAB: Babushka ne vidit, da, bez ochkov babushka ne vidit nichego.

В подобных случаях общая направленность реакции должна оцениваться в аспекте приоритетности, определяемой с позиции взрослого. Иными словами, налицо оценка, основанная на том, что для взрослого важнее – остановить диалог и исправить ошибку (в (45) это форма числа), либо продолжить его, например, включая корректирующий повтор в конверсациональное расширение:

(45) 2;3 *VAN: Vstavaj=tavaj* mashiny=bezini[12].
*VAN: Vot=vot' tam mashiny=bezini.
*BAB: Vstavajte, mashiny, xvatit spat'.

Анализ показывает, что в обоих случаях (44; 45) перед нами метадискурсивные вкрапления в конверсациональную в целом реплику взрослого.

Определенные сложности возникают и при интерпретации реакций, совпадающих по структуре и коммуникативной модальности. Ср.:

(46) 2;2 *VAN: Chini=tini*, baba.
*BAB: Pochinit'?
(47) 2;5 *VAN: Slomalsja=sjamajsja motor=matoj.
*BAB: Motor slomalsja?
*VAN: Da.

Эти реплики взрослого могут быть интерпретированы двояко – как вопросы, заданные взрослым с целью уточнить сказанное ребенком в ситуации непонимания (то есть как метареакции), либо как вопросы, поддерживающие диалог и развивающие тему (то есть как конверсациональные реакции). В последнем случае анализ затрудняется ввиду отсутствия в высказывании новых семантических элементов.

В подобных неочевидных ситуациях целесообразно ориентироваться на широкий диалогический контекст, специфику коммуникации в диаде «взрослый – ребенок», на знание языковых возможностей ребенка (то есть на уровень его коммуникативной компетенции), необходимо также учитывать некоторые особенности функционирования прагматических реакций.

Одним из признаков метадискурсивной реплики является ее неоднократный повтор, который обычно следует в ответ на инновацию или фонетически ущербную речевую продукцию ребенка, как в примерах (46; 48):

(48) 2;6 *MAM: A chto ty budesh' delat'?
*VAN: 0V teremok=tiimok.
*MAM: Chto budesh'?
*VAN: 0V teremok=tiimok.
*MAM: V teremok budesh' igrat'?

Особым признаком метареплики является пол адресанта (говорящего). Известно, что отцы хуже, чем матери или бабушки, понимают детей, и именно их реплики чаще всего представляют собой метареакции в чистом виде. Наконец, наличие в реакции эксплицитного исправления с очевидностью свидетельствует о том, что перед нами – мета-

[12] Данное слово относится к числу слов, не только самостоятельно изобретенных ребенком (см. выше *CSF*), но даже склоняемых им (86).

дискурсивный тип реплики. Что касается отличительных признаков конверсациональных реакций (47), к их числу относится выражение несогласия, удивления, недоумения и даже недоверия. Оптимальным критерием при разграничении обсуждаемых типов реплик является интонация.

2.5. Преобладающие разновидности реакций

Как упоминалось выше, реакции русского взрослого отличаются от реакций, отмеченных на материале других языковых корпусов, не своим структурным репертуаром, а предпочтительностью употребления определенных типов реплик. По нашим данным, в среднем более половины (а именно 56% при разбросе колебаний в разные месяцы от 39 до 75%) от общего количества конверсациональных и метадискурсивных реакций взрослого на детскую глагольную и именную ошибочную морфологию составляют вопросительные реплики. В этом отношении наши результаты близки к данным, полученным на материале литовского языка [Balčiūnienė 2009]. Во французском и немецком корпусах предпочтительными реактивными репликами оказались повторы, составившие вместе с расширениями и реформуляциями 90% реакций [Kilani-Schoch, Balčiūnienė et al. 2008].

Факт преобладания вопросов не представляется сколько-нибудь случайным. Предыдущие исследования инициативных вопросительных реплик взрослого показали, что они не только многочисленны, но и чрезвычайно значимы в становлении системно-языкового и диалогического компонентов коммуникативной компетенции ребенка, а кроме того, составляют характерную особенность русского инпута [Казаковская 2006; 2007а; 2008]. Так, вопросительные реплики взрослого, являясь элементом «техники» диалогического синтаксиса, показывают ребенку сущность тема-рематических отношений, способствуют освоению им структуры высказывания и «размораживанию» валентностей предиката. Приобретаемые ребенком в диалоге со взрослым синтаксические навыки заключаются в умении понимать и использовать начальные синтаксемы (в терминологии Г.А. Золотовой [1988]), соединять два компонента (и более) в рамках одного высказывания и впоследствии развертывать синтагматическую цепь. Вопрос является ведущим средством и в процессе языковой категоризации семантики, осуществляющейся в сознании ребенка. Вопросительная реплика оказывается основным средством расчленения голофраз-синкретов (в понимании С.Д. Кацнельсона [2001]), а также в немалой мере способствует начальному освоению семантических категорий в их языковой интерпретации – функционально-семантических полей (в концепции А.В. Бондарко: см., в частности, [Бондарко 2002])[13]. Не утрачивают своей значимости эти реплики взрослого и позднее – в диалоге с детьми старшего возраста, в рамках так называемого обучающего дискурса (*Lern-Lerndiskurs*) [Kraft 2007].

Анализ обнаружил, что вопросительные реплики не менее важны и в реактивной тактике взрослого. В частности, они составляют 53% от числа всех реактивных реплик взрослого, обращенных к ошибочной именной морфологии (33–66%), и 48% – от количества реакций, обращенных к морфологии глагольной (14–78%). В последнем случае наибольшее количество вопросов (78%) зафиксировано в возрасте 2;0, а наименьшее (14%) – в возрасте 2;8. В сфере реакций на ошибочную именную морфологию распределение вопросительных реакций оказалось более стабильным; исключение составил возраст 2;7, когда все реакции взрослого оказались вопросительными.

Остановимся подробнее на функциональных и структурных особенностях вопросительных реплик-реакций взрослого.

---

[13] Подробнее о семантическом и грамматическом синкретизме в детской речи, а также о направлениях в дифференциации синкретов и их разновидностях см. [Казаковская 2007б]. Начальные этапы освоения ребенком семантических категорий локативности, субъектности / объектности, модальности и модуса, а также роль вопросов в этом процессе рассматривалась в [Казаковская 2005б; 2006; 2007а].

2.5.1. ***Метадискурсивные вопросы-реакции*** взрослого составляют одну третью часть (17–36%) от числа всех его реакций на реплики, содержащие морфологические ошибки в сфере имени. В свою очередь, вопросы как реакции на ошибочные высказывания с глаголом составляют лишь 20% (33–55%). Выше отмечалось, что третий год жизни ребенка – это время формирования глагольной парадигмы. Думается, именно поэтому взрослый в большей мере склонен «принимать» (и значит поддерживать), а не эксплицитно исправлять недавно появившийся в детской грамматике элемент. Этим объясняется преобладание метадискурсивных вопросов как реакций на ошибочную именную морфологию, в отличие от таковых в ответ на ошибочную глагольную. Вместе с тем выявляется толерантность коммуникативного поведения взрослого, которая реализуется в избирательности его реакций по отношению к определенным ошибкам.

Рассматриваемые вопросы взрослого апеллируют к форме произнесенного ребенком и преследуют несколько целей. В зависимости от различий, существующих в исходных интенциях взрослого, можно выделить два типа метадискурсивных вопросов: а) собственно метавопросы (*special regulative questions*), свидетельствующие о полном непонимании слушающего, и б) уясняющие метавопросы (*questions of clarification*), цель которых – удостовериться в том, что понятная в целом реплика в полной мере отражает намерения ребенка. Первый тип вопросов представлен формой частного вопроса; второй – формой вопроса общего, с типичным в таких случаях присоединением релятивов.

С помощью собственно метадискурсивных вопросов взрослый уточняет, просит ребенка повторить непонятное слово (48'; 51), инновацию или «подталкивает» ребенка к необходимости исправить ошибочную (в нашем случае с грамматической точки зрения) речевую продукцию (49; 50). Смысл обращенной к ребенку реплики сводится к следующему: «Что означает сказанное тобой?», «Что ты сказал?», «Я не понимаю. Повтори»:

(48')	2;4	*BAB:	Vo chto my budem igrat'?
		*VAN:	0V ibiki.
		*BAB:	Chto takoe «ibiki»?
(49)	2;4	*VAN:	Daj=dam*.
		*BAB:	Chto takoe «dam»?

При внешнем сходстве двух последних реакций (48') и (49) они различаются тем, что в (48') непонимание взрослого – подлинное, и выражающий его вопрос вполне оправдан. На самом деле, не ясно, что имел в виду ребенок – кубики или машинки («бибики»). В (49) демонстрируемое непонимание – нарочитое. По сути, таким способом взрослый указывает ребенку на ошибку, чтобы тот сам смог ее исправить. Как уже отмечалось выше (п. 2.2), использование «замороженного» индикатива «дам» вместо императива «дай» является типичной для Вани ошибкой, появившейся в возрасте 2;0 и неоднократно исправлявшейся взрослым.

В отдельных случаях – опять же с тем, чтобы заострить внимание ребенка на частотной (на тот момент для него) ошибке и «спровоцировать» ситуацию коррекции, – взрослый может употребить ошибочное детское слово с характерной интонацией передразнивания:

(50)	2;4	*VAN:	Snimi=snjaj*.
		*BAB:	Chto «snjaj»?

Наиболее распространенной структурно-семантической разновидностью метадискурсивных вопросов являются *что*-вопросы. Они могут быть обращены к непонятному для взрослого слову ребенка или – если речь идет о ранних этапах речевого онтогенеза – реплике-голофразе. Особый случай *что*-вопросов представлен сочетанием во-

просительного слова и субстантивной синтаксемы определенного падежа, чаще всего – именительного (24; 31):

(51) 2;8 *VAN: Akula=akulja popravila=papavi shtany=tiani.
*BAB: Chto akula?

Вместе с тем возможны и другие варианты метадискурсивного запроса: «Что ты сказал?», «Как ты говоришь?», а также переспросы: «А?», «Что?», «Кто?», «Как?», «Где?», «Какой?» и т. п.:

(52) 2;6 *VAN: Pleval=pivaj 0na mamu.
%com: Vidimo, xotel skazat' na mamu.
*BAB: A?
*BAB: Chto mamu?

Второй тип метадискурсивных вопросов взрослого – кларификативный – обычно направлен на проверку гипотезы о правильности понимания им детской реплики:

(53) 2;3 *VAN: Babushka=baba malen'kie=mimii katat' 0s gorki.
*BAB: Babushka budet malen'kie katat' s gorki?
*BAB: Ponjatno.
(54) 2;3 *BAB: Kisu na koleni Vane, vot, kak xorosho poexali.
*VAN: 0V zoopark=aapaki.
*BAB: V zoopark poedem, da?

Налицо попытка эксплицировать смысл произнесенного ребенком. Основная идея таких вопросов: «Это ты хочешь сказать, да?», «Я тебя правильно понимаю?». Обычно взрослый повторяет детскую реплику с вопросительной интонацией и ожидает, что ребенок подтвердит либо опровергнет ее (53; 55). В отдельных случаях к вопросительному повтору присоединяются речевые рамки: например, «Ты сказал / говоришь (в зоопарк поедем)?» или релятивы, из которых наиболее распространенным является «да?» (54), но возможны также «Так?», «Не так ли?».

Имплицитная коррекция составляет неотъемлемый элемент кларификативных вопросов, в структурном отношении сопоставимых с утвердительными повторами (55), реформуляциями (56) и расширениями (57):

(55) 2;1 *VAN: Tri=tii kolesa=kiisjo*.
*MAM: Tri kolesa?
*VAN: Da.
(56) 2;1 *BAB: A gde mama byla?
*VAN: V lesu=isju.
*BAB: V lesu?
(57) 2;4 *VAN: Igrat'=ugat' 0s dzhipom=zipij*.
%com: Babushka ne ponimaet, chto Vanja xochet, on pokazyvaet na dzhip i chto-to prosit.
*BAB: Igrat' s dzhipom budesh'?

В фокус кларификативных повторов-переспросов могут попадать как целые реплики (55; 56), так и отдельные – наиболее непонятные для взрослого – слова ребенка:

(58) 2;6 *VAN: Volk=vok 0v rukavichkax=akavis'ki*, volk=vok.
*BAB: Rukavichki?

Причем далеко не всегда взрослый акцентирует внимание ребенка на форме слов, неправильных с точки зрения грамматики, даже при наличии таковых в произнесенной им реплике, или исправляет неправильное:

(59) 2;4 *VAN: Konfetu=kafetu daj=dam*, marmelad=mijat.
*BAB: Marmelad?

Кларификативные реформуляции и повторы сводятся в основном к «редактированию» порядка слов в атрибутивных сочетаниях (60) или к коррекции субстантивных – предложных и беспредложных – синтаксем (53; 54; 56; 57):

(60) 2;4 *VAN: V meshke=mis'ke serom=seij*.
*BAB: V serom meshke?

Реформуляции беспредложных синтаксем включают случаи использования ребенком именительного падежа на месте винительного или творительного:

(61) 2;2 *VAN: Djadju=djadja* risuj=isuj.
*BAB: Djadju narisuj ili chto?
(62) 2;7 *BAB: Tak, nu chto, chem vas ugoshchat'?
VAN: Bulochkoj=buis'ki.
*BAB: Bulochkoj?

В сфере предложно-падежных сочетаний (с позиций нормативного языка) кларификативной коррекции – в форме повтора или реформуляции – подвергаются синтаксемы всех косвенных падежей. В данном случае предлоги отсутствуют. Так, при родительном падеже восстанавливается пропущенный предлог «с» (53); при винительном – «в» (54) и «на»; при творительном – «с» (57) и «за»:

(63) 2;5 *VAN: 0Za kljuchom=kutjom.
*BAB: Za kljuchom?

Наконец, при предложном падеже пропущенным предлогом является «в» (56; 58). В случаях «замороженных» форм (*FF*) восполняется не только требуемый предлог, но и корректируется (либо присоединяется) требуемая падежная флексия:

(64) 2;1 *BAB: S kem ty igraesh' tut?
VAN: 0s papoj=papa.
*BAB: S papoj?

К числу синтаксем, наиболее часто исправляемых в рассматриваемый период, относятся локатив (в + П.п.), директив (с + Р.п.), субъектный и объектный комитативы (с + Тв.п.).

В сфере реакций на г л а г о л ь н у ю морфологию собственно метадискурсивные вопросы взрослого немногочисленны (51; 52). Кларификативные вопросы используются для непрямой коррекции форм числа в настоящем времени (65) и ошибочной координации по роду в форме прошедшего времени. Речь идет об употреблении женского рода вместо мужского (66) и мужского вместо женского (8; 19) или среднего (17):

(65) 2;3 *VAN: Spit=pit'*.
*BAB: Spjat?
(66) 2;3 *BAB: Kuda ona propala?
VAN: Volk=vok s"ela=s'eja mama*.
*BAB: Volk s"el mamu?

Таким образом, метадискурсивные вопросы являются, пожалуй, самой характерной реакцией взрослого, показывающей ребенку, что его высказывание неправильно и / или не понято партнером. Это означает, что ребенку нужно исправить свою ошибку, либо, «сверив» с предлагаемым в реплике взрослого откорректированным вариантом, повторить реплику или ее нужный фрагмент. Иными словами, в любом случае ребенок должен продвинуться на пути приобретения системно-языковой компетенции.

2.5.2. ***Конверсациональные вопросы-реакции*** (связанные с содержательной стороной реплики) в значительной мере преобладают по отношению к вопросам метадискурсивным не только в количественном, но и в функциональном аспектах. Конверсациональные вопросы составляют 80% в ответ на ошибочные глагольные образования в речи ребенка и 65% – в ответ на именные, при том что ежемесячное распределение последних является, в отличие от метадискурсивных вопросов, относительно стабильным (64–83%).

Преобладание реплик конверсационального типа объясняется тем, что любой вопросительный повтор (67), расширение (68) или реформуляция (69), направленные не только и не столько на коррекцию (или уяснение), сколько на поддержание общения с ребенком, начинают выполнять конверсациональные функции:

(67) 2;3 %sit: Vanja beret mishu, neset babushke.
*VAN: 0u mishi=misi bolit=boit lapka=japka.
*BAB: U mishi bolit lapka?
(68) 2;1 *VAN: Mamu=mama*.
*MAM: A teper' mamu narisuesh'?
(69) 2;3 *BAB: Igrat'?
*VAN: Da.
*VAN: 0v bibiki.
*BAB: S mashinkami?

В таких случаях метадискурсивная составляющая поглощается общей конверсациональной направленностью реплики: доминирующей (основной) функцией реактивной реплики становится функция продолжения общения.

Кроме того, конверсациональные вопросы обладают и собственными функциями: они развивают (и в том числе меняют) сюжетную линию диалога. Это происходит, во-первых, в результате реального диалогического шага, сделанного преимущественно в форме общего вопроса (своего рода «рессорной» реплики) и предполагающего со стороны ребенка выражение согласия / несогласия (67–69)[14]. Во-вторых, это возможно за счет запроса информации, осуществляемого обычно при помощи специального вопроса и требующего от ребенка заполнения определенной «позиции незнания»:

(70) 2;2 *BAB: Vanja, ty segodnja gde guljal, otkuda ty upal?
*VAN: 0s gorki=goki.
*BAB: I chto ty sdelal?
(71) 2;4 *VAN: Igrat'=ugat'.
*BAB: Kak igrat'?
*VAN: 0V bibiki.
*BAB: Kto budet igrat'?

Часто такие вопросы взрослого преследуют цель «разговорить» ребенка и стимулировать продолжение диалога.

Многообразие вопросительных реакций, относящихся к конверсациональной сфере, позволяет рассмотреть их также с позиции «принятия / непринятия» детской

[14] Подробнее о способах выражения согласия / несогласия в детской речи см. [Казаковская 2005а; 2006].

реплики взрослым. Такой ракурс анализа выявляет реплики, выражающие согласие с содержательным аспектом того, что было сказано ребенком (67–71), или несогласие, сопровождаемое обычно выражением недоумения или удивления:

(72) 2;1 *VAN: V garazhe=geeze (poezd spit).
*BAB: V garazhe?
*VAN: Da.
*BAB: V garazhe mashina spit.
(73) 2;3 *VAN: Maliny=maini*.
*MAM: Malina?
*MAM: Poxozhe, no e~to ne malina.

Как видим, для выражения имплицитного согласия взрослый использует оба формальных типа вопроса – общий (69) и частный (71). При выражении несогласия, то есть при непринятии реплики, взрослый употребляет общий вопрос (72; 73). Частные вопросы взрослого служат также для изменения темы диалога – полностью (74) или частично, на уровне микротемы (75):

(74) 2;2 *BAB: Polival, iz chego ty polival?
*VAN: 0iz lejki=eki.
*BAB: A e~to kto?
(75) 2;2 *BAB: Dlinnyj karandash u Vani, a u menja korotkij.
VAN: Moj=maja vot=vo.
*BAB: Chto ty narisoval?

Структурные разновидности конверсациональных вопросительных реакций сопоставимы с утвердительными корректирующими повторами – буквальным (67) и фокусированным (76), а также расширениями (68; 77), реформуляциями (69; 78) и репликами, регулирующими диалогическое общение (79):

(76) 2;2 *BAB: A, iz sinego depo.
VAN: Vot=vot' e~tot=e~ta.
*BAB: E~tot?
(77) 2;3 *BAB: S chem?
VAN: S konfetkoj=tifetki.
*BAB: Mame nado buterbrod s konfetkoj sdelat', kak u babushki byl, da?

(78) 2;3 *VAN: Igrat'=ugat' 0v ljudi*.
*BAB: Igrat' s ljud'mi budem?
(79) 2;3 *VAN: Kubiki=kubki Vanja.
%sit: Vanja kidaet kubiki v ugol.
*BAB: Zachem ty ix kidaesh'? Mne zhe ne dostat' teper',
prinesi mne tot kubik.

К указанным выше реакциям близки вопросы, являющиеся «непервыми» репликами. Речь идет об особых типах реакций, которые вводятся в диалог релятивами (80), репликами-повторами (81) и даже реформуляциями (82), выполняющими при вопросах функцию диалогических скреп[15]:

(80) 2;4 *BAB: Kuda my syrochek polozhim?
*VAN: 0V tarelku=taejku.
*BAB: Ugu, v e~tu tarelku?

[15] Конструктивные и функциональные возможности реплик-повторов (в том числе их связующие и уясняющие функции) детально проанализированы на материале русской разговорной речи в работах Н.Ю. Шведовой, см., в частности [Шведова 2003: 280–362].

(81) 2;5 *BAB: Chem ty budesh' krasit'?
VAN: Kistochkoj=kis't'ka.
*BAB: Kistochka, da, a gde u nas kistochka?
(82) 2;5 *BAB: A e~to pro kogo skazka?
*VAN: 0Pro babu, dedku.
*BAB: Pro babu i dedku, a chto oni delajut?

Реплика взрослого в диалогическом единстве (82) иллюстрирует нечастый в нашем корпусе данных случай буквального – неисправленного – повтора именительного падежа вместо творительного (инструментива).

Конверсациональные вопросы-реформуляции и вопросы-повторы реформулируют довольно позднее (2;7–2;8) согласование по роду в атрибутивных сочетаниях (83), «редактируют» порядок слов (84) и начальное использование ребенком синтаксем (в частности, 84–89):

(83) 2;8 *VAN: Takoj domik 0u akuly=akulis'*.
*BAB: Akulij domik?

(84) 2;4 *BAB: S kem ona govorit, kak ty dumaesh'?
*VAN: 0S Leshej=Lesej papoj.
*BAB: S papoj Leshej?

Реформуляции беспредложных синтаксем ребенка включают случаи употребления именительного падежа на месте винительного (68), родительного и творительного (85) падежей:

(85) 2;5 *BAB: Kem ty budesh'?
VAN: Vanej=Vanja.
*BAB: Vanej budesh'?

Что касается предложных (в нормативном языке) синтаксем, имплицитной коррекции подвергаются синтаксемы всех косвенных падежей с отсутствующими при них предлогами и/или неверными флексиями. Так, при винительном – это «в» (80) и «про» (82); при творительном – «с» (76; 84); при предложном падеже – «на» и «в» (72); при родительном падеже – это «у» (86), «с» (70), «от»; наконец, при дательном – такими предлогами являются «по» и «к» (87):

(86) 2;5 *VAN: Slomalsja=sjamajsja motor=matoj.
*BAB: U kogo?
*VAN: 0U bezini.
*BAB: U mashiny slomalsja motor?
(87) 2;3 %sit: Vanja zabiraetsja k babushke na koleni, obnimaet ee.
*VAN: Vanja 0k babushke=babe.
*BAB: K babushke na ruchki?

В число реформулируемых конверсациональными вопросами синтаксем попадают главным образом локатив (в + предл.), директив (в + вин.), адресат (дат.) и комитатив (с + твор.).

В сфере глагольных ошибок ребенка конверсациональные вопросы направлены главным образом на коррекцию детских формообразовательных инноваций и использование индикатива вместо императива. Вместе с тем были отмечены случаи, которые можно отнести к реакциям, косвенным образом свидетельствующим об ошибке. В частности, «косвенными» свидетельствами являются вопросительные реформуляции, в известном смысле корректирующие ошибку, однако не содержащие требуемой

исправленной формы. В следующем диалоге ошибочная координация существительного и глагола по роду (вызванная неверной родовой отнесенностью данного существительного в детской речи) корректируется посредством предъявления ребенку согласования этого существительного с местоимением:

(88) 2;7 *BAB: E~to chto?
VAN: Ulitka poluchilas'=putijsja.
*BAB: Ulitka takaja?

Итак, основные функции конверсациональных вопросов взрослого – стимулирование ребенка к продолжению диалога, одобрение его поведения как партнера в диалоге и предоставление позитивных свидетельств для развития диалогических (собственно коммуникативных) навыков. Вторичной функцией является косвенная – имплицитная или эксплицитная – коррекция.

3. РЕАКЦИИ ВЗРОСЛОГО НА ДЕТСКИЕ ОШИБКИ В ГЛАГОЛЕ

Данный раздел посвящен обсуждению результатов, полученных при анализе прагматических реакций взрослого на реплики ребенка, содержащие морфологически правильные и ошибочные глагольные формы; в свою очередь, последние рассматриваются с позиций принадлежности ошибки, содержащейся в них, к определенному типу. Начальные стадии функционирования глагола играют важную роль в процессе усвоения ребенком родного языка (п. 1.2). Эти стадии являются непосредственным предметом проводимого нами анализа. В исследовании учитывается возможность сопоставления полученных результатов с уже имеющимися данными в проекте «Pre- and protomorphology».

3.1. Реактивные реплики взрослого

Анализ глагольной продукции русского ребенка показал, что высказывания с правильными глагольными формами преобладают: они составляют 88%. Неполные реплики и реплики с ошибочными формами глагола составляют, соответственно, 12%. При этом внутреннее процентное соотношение метадискурсивных и конверсациональных реакций взрослого на них – практически одинаково: это 28–30% в первом случае и 58–68% во втором. Иными словами, метареакции составляют одну третью часть от всех реактивных реплик взрослого в обоих случаях. И метадискурсивные, и конверсациональные реакции взрослого обеспечивают ребенка прямыми или косвенными негативными свидетельствами, позволяющими ему обнаружить («распознать») сделанную грамматическую ошибку.

Полученные на основе русского корпуса данные, касающиеся реакций на ошибочные детские реплики, в целом сопоставимы с результатами исследования других языков. Процентное содержание русских метареакций на правильные детские высказывания (25%) превышает данные, полученные на материале литовского корпуса (19%) [Balčiūnienė 2009], и в еще большей степени превышает данные французского (5%) и немецкого (3%) языков [Dressler, Kilani-Schoch et al. 2006].

На наш взгляд, это обстоятельство объясняется прежде всего особенностями индивидуальной речеповеденческой тактики взрослого (в нашем случае – бабушки). В целом это не противоречит кросс-культурному изучению диалога «взрослый – ребенок», дающему возможность выявить различия в коммуникативном поведении взрослых – носителей разных языков (см., в частности [Tulviste 2002]). Кроме того, фактором, стимулирующим метадискурсивные реакции, являются морфологически правильные, однако фонетически ущербные глагольные формы, попадающие в фокус реакции взрослого именно в силу их фонетической некорректности (п. 2.3). Ср., например, метареакцию – непонимание взрослого (89) с реакцией конверсационального типа (90) в ответ

на реплику ребенка с морфологически правильными, но фонетически некорректными глаголами:

(89) 2;8 *VAN: On budet kurit'=kuit'.
*BAB: Chto on budet delat'?
(90) 2;2 *VAN: Vot=vo tam=tjam lezhit=izit.
*BAB: Gde lezhit?

Предпочтительными типами реакций в таких случаях являются метадискурсивные вопросы обоих (обсуждавшихся выше) типов – собственно метавопросы (89) и уясняющие вопросы, в структурном отношении представленные повторами, реформуляциями и расширениями (57; 61; 67; 78).

Что касается глагольных ошибок, то, как и ожидалось, по мере роста ребенка их процент (по отношению ко всем высказываниям с глаголом) существенно снижается (97–4%). Наиболее высокие показатели в эволюции метадискурсивных реакций взрослого на морфологические глагольные ошибки (2–82%) отмечены в возрасте 2;4 (62%) и в 2;6 (82%). Высокий процент исправлений в это время, на наш взгляд, весьма симптоматичен и может быть интерпретирован следующим образом. Во-первых, в речи ребенка возникают практически все типы интонационных конструкций (ИК), изначально развивающиеся из двух ИК, или, точнее – пользуясь терминологией Н.И. Лепской, – интонационных контуров [Лепская 1997]. Во-вторых, расширяется семантический репертуар вопросительных реплик ребенка [Казаковская 2006; 2007а]. В-третьих, в речевом онтогенезе базовых семантических категорий происходит расщепление синкретов – в частности, слитых воедино маркеров локативности и директивности [Казаковская 2005б; 2007б]. Ошибки ребенка, связанные с приобретением новых системно-языковых и собственно коммуникативных навыков, «запускают» механизм метареакций взрослого.

3.2. Ошибки ребенка в сфере морфологии глагола

Цель дистрибутивного анализа заключается в выявлении связи между типами ошибок ребенка и реакциями на них взрослого. В связи с этим использовались две разновидности классификации ошибок. Во-первых, учитывалась традиционная морфологическая классификация, дающая некоторую возможность сопоставления с другими языками, хотя «идеальной» типологической классификации ошибок не существуст (ср., в частности, категории эвиденциальности[16] и глагольного вида). Во-вторых, применялась классификация, основанная на том, правильно или неправильно образуется, употребляется или согласуется (координируется) с какой-либо другой формой анализируемая часть речи.

3.2.1. При традиционной морфологической классификации имеется в виду дифференциация ошибок в соответствии с категориями, которыми обладает или по которым изменяется глагол в определенном языке. Так, глагольные ошибки литовского ребенка рассматривались в соответствии с категориями времени, наклонения и возвратности. Во французском корпусе были обнаружены ошибки ребенка при спряжении глаголов. В свою очередь, немецкие и французские данные продемонстрировали ошибочное образование детьми причастных форм (ошибки типа «Bare Past Participle»). Наконец, абсолютно во всех языковых корпусах были отмечены ошибки, связанные с употреблением опционального инфинитива (ошибки типа «Bare Infinitive»)[17].

[16] [Эвиденциальность 2007].

[17] Имеется в виду инфинитив, употребляющийся детьми вместо личных или императивных форм на ранних этапах речевого онтогенеза – до овладения основными морфологическими правилами (обычно на третьем году жизни), например: *спать* вместо *спал*, *хочу / буду / надо спать*.

В русском корпусе зафиксированы ошибки в формах наклонения, времени, числа, рода и лица. Результаты анализа показали следующее. Если не учитывать случаи ошибочного наклонения (67,7%, о чем ниже), первое место в количественном отношении занимают ошибки, сделанные ребенком в родовых формах глагола прошедшего времени изъявительного наклонения (13,3%). На втором месте оказываются ошибки, связанные с употреблением в реальном диалоге личной формы глагола для обозначения собственного действия и действия партнера (5%). Третье место занимают ошибки в числе и времени глагола (4,3 и 3,8%). Упомянутые типы ошибок принадлежат к числу синтетических, что соответствует синтетической доминанте грамматического строя русского языка. Как известно, аналитическим способом в русском языке образуется сравнительно небольшое количество форм, в частности, формы будущего сложного и некоторые (малоупотребительные) формы императива. К «перифрастической» морфологии (в терминах проекта) может быть отнесено также образование фазисных и модальных разновидностей русского составного сказуемого – глагольного или именного. Данный вопрос в равной степени относится как к морфологии, так и к синтаксису.

Дистрибутивный анализ материала русского языка с позиций традиционной классификации ошибок выявил преобладание метадискурсивных реплик взрослого практически во всех отмеченных типах ошибок (54–75%). Исключением являются реакции на ошибки ребенка при выборе лица в спонтанном диалоге (где число обоих типов реакций вполне сопоставимо – 40–50%), а также ошибки в наклонении (15%).

3.2.2. В проводимом исследовании используется классификационный подход, основанный на определении характера ошибки. В центре внимания оказываются ошибки в сфере неконвенционального употребления глаголов (69%), их согласования / координации (17,6%) и образования (9,5%). Следует оговорить, что ошибки, связанные с пропуском смыслового глагола, присутствуют в обеих классификациях; они составляют не более 3,5%. Именно они и порождают неполные высказывания (5). Остановимся подробнее на каждом из типов ошибок.

К ошибкам употребления отнесены ситуации, в которых ребенок не конструирует ту или иную форму самостоятельно, а употребляет (возможно, повторяет) ее вслед за взрослым, иначе говоря, «берет» из инпута (*CDS*). С точки зрения нормы (*target-system*), эти формы образованы правильно. Более того, на ранних этапах речевого онтогенеза подобных случаев зафиксировано значительно больше, чем фактов окказионального формообразования. Такие ошибки включают использование ребенком опционального инфинитива:

(91) 2;3 *VAN: Vanja kupat'sja=kupasti* tozhe=toze.
*BAB: I Vanja budet kupat'sja.
(92) 2;2 *VAN: Spat'=pat'* vot=vo zdes'=des'.
%sit: Vanja pokazyvaet na pol.
*BAB: Spat' zdes' budesh'?

Ребенок может употреблять одну личную (реже – временную) форму вместо другой в настоящем актуальном. Такое употребление свидетельствует о том, что в детской реплике отсутствуст необходимое в диалоге чередование форм лица (*Я – Ты*):

(93) 2;4 *VAN: Umeju=umeis'*.
%com: Vmesto umeju – umeesh'.
*PAP: Umeesh'?
*VAN: Da.

Вне всякого сомнения, перед нами ошибка в употреблении / использовании, но не в образовании / конструировании глагольной формы. На первый взгляд, речь идет о морфологической, сугубо системно-языковой ошибке. Однако при ближайшем рассмотре-

нии обнаруживается ее связь с формированием одного из диалогических (собственно коммуникативных) навыков ребенка. Большинство случаев ошибочного использования личных форм обусловлено давлением диалогического режима и влиянием предшествующей реплики, с одной стороны, и отсутствием у ребенка необходимой – для овладения реплицированием – «морфопрагматической техники», которая включает чередование форм лица, – с другой. Таким образом, налицо ошибка морфопрагматического типа.

К ошибкам употребления относится также использование одной формы наклонения вместо другой, например, изъявительного вместо повелительного (32–34; 50; 58). Эта разновидность ошибок нуждается в пояснениях. Случаи неверного употребления наклонения составляют более половины (62%) от общего числа глагольных ошибок ребенка. Высокий процент (91%) таких ошибок создается за счет раннего использования «дам» вместо «дай». Существенное влияние оказывает инпут: именно в этой форме («дам») в обращенной к ребенку речи взрослого представлена «идея передачи». Причем в большинстве случаев взрослый не исправляет высказывания ребенка с «дам», то есть реагирует конверсационально (73,6%) либо игнорирует реплику (16,3%): см. примеры выше (32–34). И лишь в 10% ситуаций взрослый останавливает коммуникацию и определенным образом акцентирует внимание ребенка на ошибочной форме: сам исправляет ее (94) или «подталкивает» ребенка к правильному ответу (50; 95):

(94) 2;2 *VAN: Daj=dam*.
*BAB: Ne «dam», a daj.
(95) 2;3 *VAN: Daj=dam*.
*BAB: Tol'ko ne «dam», a kak?

Возможное объяснение нечувствительности взрослого к этим ошибкам заключается в следующем. Дело в том, что взрослый не ожидает от двухлетнего ребенка грамматически правильной реплики и «принимает» ее в любом виде – чаще всего с тем, чтобы поддержать диалог. Любопытно, что эта тактика свойственна абсолютно всем членам семьи. Кроме того, ребенок использует форму «дам» (и начинающую спорадически употребляться форму «дай» (97)) не только для выражения собственно побуждения, но и в других значениях, например, выполнить, прекратить или продолжить какое-либо действие – надеть тапки (96), встать со стула (97) или нарисовать фигурку (98). Налицо процесс семантической генерализации глагола:

(96) 2;1 *MAM: A, u tebja tapok net.
VAM: Daj=dam.
%com: Daj v znachenii «naden'».
*MAM: Chto dat'?
*VAN: Nadet'=idet'.
(97) 2;2 %sit: Stalkivaet babushku so stula.
*VAN: Daj.
%com: Daj v znachenii «vstan' so stula».
*BAB: Chto tebe dat'?
(98) 2;2 *VAN: Daj=dam*.
%com: Daj v znachenii «risuj».
*VAN: Kruzhochek=ujosik.
%sit: Vanja risuet kruzhochki.
*BAB: Kruzhochki?

В возрасте 2;1 и 2;2 количество «дам» дважды резко снижается (97–33% и 31%), после чего остается стабильно низким еще в течение двух месяцев (9–13%). Симптоматично, на наш взгляд, что к концу «периода активности» реплик с «дам» метаре-

акции взрослого на них существенно увеличиваются (2–62%). Это означает снижение толерантности взрослого по отношению к такого рода ошибке и в целом – изменение «ожиданий» взрослого. Следовательно, «фактор ожиданий» определяет то обстоятельство, что на одинаковые ошибки ребенка, сделанные им в разном возрасте, взрослый реагирует по-разному – продолжает диалог и тем самым «принимает» их или останавливает коммуникацию и исправляет. Таким образом, наши результаты могут служить подтверждением гипотезы о стадиальности реакций взрослого.

Ошибки при образовании форм включают построение (конструирование) различных глагольных форм, в частности, прошедшего времени, повелительного наклонения; такие случаи вполне могут быть охвачены термином парадигматические ошибки (21; 25):

(99) 2;0 *VAN: Risoval=isjol*.
*BAB: Risoval.
(100) 2;6 *BAB: Pochistila?
VAN: Pomyla=pomoja.
*BAB: Pomyla i pochistila?

Там, где отмечено конструирование формы, далее целесообразно выделять различные типы ошибок, касающиеся выбора ребенком открытой / закрытой основы глагола; необходимо также учитывать его принадлежность к одному из продуктивных / непродуктивных классов [Gagarina 2006; Цейтлин 2009].

К ошибкам согласования относятся случаи его отсутствия (фактически, «рассогласование»). Это происходит при координации глагола с существительным, местоимением или числительным по роду (в прошедшем времени), а также по числу (в настоящем времени), если речь идет не об участниках диалога (17; 19; 37; 40; 41; 65; 66):

(101) 2;5 *VAN: Slomalos'=sjamajsja* von tam vnutri=vnuty koleso=kiisjo.
*MAM: Vnutri koleso slomalos'?

Итак, дистрибутивный анализ реакций взрослого на глагольные ошибки ребенка с позиций второго классификационного подхода обнаружил, что наиболее высокий процент (70%) конверсациональных реакций взрослого вызывают преобладающие – при таком подходе – ошибки неконвенционального употребления. Однако внутреннее распределение реакций на остальные типы ошибок показывает, что метадискурсивные (относящиеся к формальной стороне высказывания ребенка) реплики превышают реплики конверсациональные (связанные с содержанием высказывания). При ошибках глагольного образования их соотношение 60 и 15%, при ошибках согласования – 57 и 38%, в случаях пропуска ребенком смыслового глагола – 50 и 37,5%. Исключением являются реакции на морфопрагматические ошибки: в данном случае количество метадискурсивных и конверсациональных реплик взрослого примерно одинаковое: 40 и 50%.

Таким образом, различия в оценке ошибок по двум использованным классификациям не меняют основного результата в соотношении прагматических реакций взрослого и типов детских ошибок: метадискурсивные реплики взрослого порождаются, главным образом, глагольными ошибками формообразовательного характера, конверсациональные – ошибками неконвенционального глагольного употребления.

3.3. Наконец, наш заключительный вопрос – это вопрос о том, понимает ли ребенок предоставляемые ему со стороны взрослого свидетельства правильного и неправильного использования языка и реагирует ли он на них. По этому поводу существуют различные мнения. Отрицательный ответ сводится к тому, что дети не реагируют на

исправления взрослого [O'Grady 2005][18]. Между тем анализ следующих – за корректирующей реакцией взрослого – реплик ребенка приводит, скорее, к положительному ответу на этот вопрос:

(102) 2;2 *BAB: Vanja, ja uzhe ne mogu risovat', ja ne umeju.
VAN: Umeesh'=umeju, da.
*BAB: Nado skazat' «umeesh'».
*VAN: Umeesh'=umeis'.
(103) 2;4 *VAN: Daj=dam*.
*BAB: Chto takoe «dam»?
*VAN: Pechen'e=pisenja daj.

Эти и подобные им примеры иллюстрируют если не моментальное принятие ребенком коррекции и усвоение того или иного элемента грамматической системы, то, по меньшей мере, попытку «осмыслить» его. Самым доступным в наблюдении свидетельством последнего является элементарный детский повтор (102). Кроме того, известно, что маленькие дети способны понимать (распознавать) различные типы вопросов взрослого (кларификативные и референциальные) и давать на них адекватные ответы.

Следовательно, метаязыковая рефлексия ребенка является аргументом в пользу суждений о положительном влиянии коммуникативного поведения взрослого (и инпута в целом) на усвоение ребенком грамматики родного языка. Существенно и то обстоятельство, что ошибки, на которые взрослый реагирует негативно, исчезают из речи ребенка быстрее (см. также [Kilani-Schoch, Dressler et al. 2006; Kilani-Schoch, Balčiūnienė et al. 2008; Balčiūnienė 2009]).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Общаясь с ребенком, взрослый не только поддерживает диалог, но и интуитивно стремится научить ребенка родному языку. В этом убеждает анализ различных способов реагирования (повторов, расширений, реформуляций, исправлений) взрослого как на ошибочную, так и на правильную речевую продукцию ребенка. Реакции взрослого, выполняющие в диалоге прагматические – метадискурсивные и конверсациональные – функции, предоставляют ребенку достаточные позитивные или негативные свидетельства (сигналы), необходимые для дальнейшего развития различных компонентов коммуникативной компетенции. Анализ показал, что в спонтанном диалоге «взрослый – ребенок» реакции партнеров направлены главным образом на содержательный аспект предыдущей реплики – независимо от возраста и уровня коммуникативной компетенции ребенка. Так, детские грамматически правильные высказывания с глаголом подвергались конверсациональным реакциям взрослого в 65% случаев и реакциям метадискурсивным – в 25%, грамматически ошибочные – соответственно, в 58 и 28% случаев. Процент игнорируемых взрослым реплик ребенка в обоих случаях одинаково невелик (10–14%). Это подтверждает гипотезу о том, что во время диалога для говорящего важнее то, что именно было сказано, а не то, как это было сказано.

2. Сравнительный анализ выявил, что при общем доминировании конверсациональных реакций во всех изученных в данном отношении языках – русском, литовском, французском и немецком – метадискурсивные реакции на ошибочные высказывания ребенка превышают метареакции на его правильные высказывания, хотя на материале русского корпуса эта разница оказалась не столь существенной (28 – 25%, ср. 33 – 16%,

[18] Ср. исследования, в которых констатируется отсутствие фактов, подтверждающих влияние одобрения / неодобрения взрослыми правильности / ошибочности синтаксического аспекта детских высказываний (в частности [Brown, Hanlon 1970]).

32 – 5%, 37 – 3%). Тем не менее, есть основания полагать, что взрослый по-разному реагирует на ошибочные и правильные высказывания ребенка. Следовательно, распределение прагматических типов реакций взрослого зависит от того, к чему они относятся – к правильной или ошибочной / неполной продукции ребенка.

3. Сравнительный анализ обнаружил также, что реакции взрослого одинаково часто направлены на форму ошибочного высказывания во всех четырех языках (28–35%), однако внутреннее распределение типов реакций значительно различается. Предпочтения в тактике реагирования русскоязычного взрослого сопоставимы с результатами, полученными на материале литовского языка. В обоих случаях наиболее типичной формой реакции взрослого является вопросительная реплика (56–70,5%), в отличие от немецкого и французского языков, в которых 90% реакций представлено повторами, реформуляциями и расширениями. Прямая эксплицитная коррекция во всех упомянутых корпусах используется редко.

4. Взрослый реагирует неодинаково на ошибки разных типов: грамматические ошибки корректируются и реформулируются чаще, чем фонетические или лексические, которые практически не являются объектом негативной реакции со стороны взрослого. Дистрибутивный анализ русского глагольного корпуса выявил более высокую чувствительность взрослого к ошибкам формообразовательного характера. Реакции взрослого в ответ на эти ошибки имеют, как правило, метадискурсивный характер, в то время как реакции на ошибки ребенка, сделанные при неконвенциональном употреблении глаголов, являются преимущественно конверсациональными. Между тем до определенного времени взрослый «принимает» функционально-семантическое и прагматическое соответствие детской реплики в ущерб структурно-формальному. В связи с этим для анализа реакций является существенным такой речеповеденческий параметр, как ожидания взрослого: высокая релевантность этого фактора для русского корпуса данных очевидна.

5. Результаты исследования всех упомянутых корпусов подтверждают предположение о существовании корреляции между степенью чувствительности взрослого к детским ошибкам и скоростью исчезновения последних: быстрее исчезают те ошибки, на которые взрослый реагирует «негативно». Таким образом, коммуникативное поведение взрослого в диалоге влияет на формирование «детской грамматической системы».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бондарко 2002 – *А.В. Бондарко.* Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка. М., 2002.

Гагарина 2009 – *Н.В. Гагарина.* Становление грамматических категорий русского глагола в детской речи: Автореф. дис. … докт. филол. наук. СПб., 2009.

Гвоздев 1961 – *А.Н. Гвоздев.* Вопросы изучения детской речи. М., 1961.

Золотова 1988 – *Г.А. Золотова.* Синтаксический словарь: репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М., 1988.

Казаковская 2005а – *В.В. Казаковская.* Выражение согласия / несогласия в диалоге «взрослый – ребенок» (на материале русского языка) // А.В. Бондарко, С.А. Шубик (ред.). Проблемы функциональной грамматики: Полевые структуры. СПб., 2005.

Казаковская 2005б – *В.В. Казаковская.* Функционально-семантическое поле локативности в речи русского ребенка // Г.А. Золотова (ред.). Вопросы русского языкознания. Вып. XII. Традиции и тенденции в современной грамматической науке. М., 2005.

Казаковская 2006 – *В.В. Казаковская.* Вопросо-ответные единства в диалоге «взрослый – ребенок». СПб., 2006.

Казаковская 2007а – *В.В. Казаковская.* Семантическая типология вопросо-ответных единств: ранние этапы речевого онтогенеза // С.Н. Цейтлин (ред.). Семантические категории в детской речи. СПб., 2007.

Казаковская 2007б – *В.В. Казаковская.* Синкреты в концепции речевого мышления С.Д. Кацнельсона и данные современного корпуса детской речи // М.Д. Воейкова (ред.). Типология языка и теория грамматики: Материалы междунар. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. С.Д. Кацнельсона. СПб., 2007.

Казаковская 2008 – *В.В. Казаковская.* Функциональная категоризация вопросительных реплик в русском диалоге: анализ речи взрослого, обращенной к ребенку // А.В. Бондарко, С.А. Шубик (ред.). Проблемы функциональной грамматики: Категоризация семантики. СПб., 2008.
Кацнельсон 2001 – *С.Д. Кацнельсон.* Категории языка и мышления: Из научного наследия. М., 2001.
Лепская 1997 – *Н.И. Лепская.* Язык ребенка (Онтогенез речевой коммуникации). М., 1997.
Цейтлин 2009 – *С.Н. Цейтлин.* Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи. М., 2009.
Шведова 2003 – *Н.Ю. Шведова.* Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 2003.
Эвиденциальность 2007 – *В.С. Храковский* (ред.). Эвиденциальность в языках Европы и Азии. СПб., 2007.
Balčiūnienė 2005 – *I. Balčiūnienė.* How do mothers reformulate their children? // XXXIV международная филологическая конф. Секция общего языкознания. СПб., 2005.
Balčiūnienė 2007 – *I. Balčiūnienė.* Parental reactions to the morphologically correct and incorrect utterances of children // Estonian papers in applied linguistics. 2007. V. 3.
Balčiūnienė 2009 – *I. Balčiūnienė.* Analysis of conversational structure from the perspective of language acquisition: Summary of the doctoral dissertation. Kaunas, 2009.
Bohannon, Stanowicz 1988 – *J. Bohannon, L. Stanowicz.* The issue of negative evidence: adult responses to children's language errors // Developmental psychology. 1988. V. 24.
Brown, Hanlon 1970 – *R. Brown, C. Hanlon.* Derivational complexity and the order of acquisition in speech // J. Hayes (ed.). Cognition and the development of language. New York, 1970.
Chomsky 1980 – *N. Chomsky.* Rules and representations. New York, 1980.
Chomsky 1995 – *N. Chomsky.* The minimalist program. Cambridge, 1995.
Chouinard, Clark 2003 – *M. Chouinard, E. Clark.* Adult reformulations of child errors as negative evidence // Journal of child language. 2003. V. 30.
Clark, Chouinard 2000 – *E. Clark, M. Chouinard.* Enoncés enfantins et reformulatios adultes dans l'acquisition du langage // Langages. 2000. V. 140.
Demetras et al. 1986 – *M. Demetras, K. Post, C. Snow.* Feedback to first language learners: the role of repetitions and clarification questions // Journal of child language. 1986. V. 13.
Dressler 1997 – *W. Dressler.* Introduction // K. Dziubalska-Kolaczyk (ed.). Pre- and protomorphology in language acquisition. Poznan, 1997.
Dressler 2007 – *W. Dressler.* Introduction // S. Laaha, S. Gillis (eds.). Typology perspectives on the acquisition of noun and verb morphology. Antwerpen, 2007.
Dressler, Karpf 1995 – *W. Dressler, A. Karpf.* The theoretical relevance of pre- and protomorphology in language acquisition // Yearbook of morphology (1994). 1995.
Dressler, Kilani-Schoch et al. 2006 – *W. Dressler, M. Kilani-Schoch, I. Balčiūnienė, K. Korecky-Kröll, S. Laana.* The learnability of morphology is due to positive and negative evidence. Adult reactions to children's development of French, Lithuanian and German inflection // Paper presented in the 12th International morphology meeting. Budapest, 2006.
Farrar 1990 – *M. Farrar.* Discourse and the acquisition of grammatical morphemes // Journal of child language. 1990. V. 17.
Farrar 1992 – *M. Farrar.* Negative evidence and grammatical morpheme acquisition // Developmental psychology. 1992. V. 28.
Furruw et al. 1993 – *D. Furruw, B. Baillie, J. McLaren, C. Moore.* Differential responding to two- and three-year-olds' utterances: the role of grammaticality and ambiguity // Journal of child language. 1993. V. 20.
Gagarina 2006 – *N. Gagarina.* Adults' reformulations of errors in child Russian // Paper presented in the 12th International morphology meeting. Budapest, 2006.
Gallaway, Richards 1994 – *C. Gallaway, B. Richards* (eds.). Input and interaction in language acquisition. Cambridge, 1994.
Gleason 1977 – *J.B. Gleason.* Talking to children: some notes on feedback // C. Snow, Ch. Ferguson (eds.). Talking to children. Language input and acquisition. Cambridge, 1977.
Hirsh-Pasek et al. 1984 – *K. Hirsh-Pasek, R. Treiman, M. Schneiderman.* Brown and Hanlon revisited: mothers' sensitivity to ungrammatical forms // Journal of child language. 1984. V. 11.
Kilani-Schoch, Balčiūnienė et al. 2008 – *M. Kilani-Schoch, I. Balčiūnienė, K. Korecky-Kröll, S. Laana, W. Dressler.* On the role of pragmatics in child-directed speech for the acquisition of verb morphology // Journal of pragmatics. 2008. V. 41 (2).
Kilani-Schoch, Dressler et al. 2006 – *M. Kilani-Schoch, W. Dressler, S. Laana, K. Korecky-Kröll.* Réactions adultes aux productions morphologiques des enfants // La linguistique. 2006. V. 42.

Kraft 2007 – *B. Kraft.* «Und wo sind die Hände?» Beobachtungen zur Funktion von Rückfragen bei der Erziehung und Wissensvermittlung im Kindergarten // K. Meng, J. Rehbein (Hrsg.). Kindliche Kommunikation – einsprachig und mehrsprachig. Münster; New York; München; Berlin, 2007.

Krauze 1999 – *M. Krauze.* Zum kommunitativen Status von Wiederholungen im frühen Mutter-Kind-Dialog (am Material des Russischen) // Linguistische Beiträge zur Slavistik aus Deutschland und Österreich VII. München, 1999.

MacWhinney 2000 – *B. MacWhinney.* The Childes project: Tools for analyzing talk. V. I. Transcriptions, format and programs. Mahwah; New York, 2000.

MacWhinney 2004 – *B. MacWhinney.* A multiple process solution to the logical problem of language acquisition // Journal of child language. 2004. V. 31.

O'Grady 2005 – *W. O'Grady.* How children learn language. Cambridge, 2005.

Pine, Messer 2002 – *J. Pine, J. Messer.* Children's learning from contrast modeling // Cognitive development. 2002. V. 17.

Saxton 1997 – *M. Saxton.* The contrast theory of negative evidence // Journal of child language. 1997. V. 24.

Saxton 2000 – *M. Saxton.* Negative evidence and negative feedback: immediate effects on the grammaticality of child speech // First language. 2000. V. 20.

Saxton et al. 1998 – *M. Saxton, B. Kulcsar, G. Marshall, M. Rupra.* Longer-term effects of corrective input: An experimental approach // Journal of child language. 1998. V. 25.

Saxton, Backley, Gallaway 2005 – *M. Saxton, P. Backley, C. Gallaway.* Negative input for grammatical errors: effects after a lag of 12 weeks // Journal of child language. 2005. V. 32.

Snow 1977 – *C. Snow.* Mother's speech research: from input to interaction // C. Snow, Ch. Ferguson (eds.). Talking to children. Language input and acquisition. Cambridge, 1977.

Snow, Ferguson 1977 – *C. Snow, Ch. Ferguson* (eds.). Talking to children. Language input and acquisition. Cambridge, 1977.

Sokolov, Snow 1994 – *J. Sokolov, C. Snow.* The changing role of negative evidence in theories of language development // G. Gallaway, B. Richards (eds.). Input and interaction in language acquisition. Cambridge, 1994.

Strapp et al. 2008 – *C. Strapp, D. Bleakney, A. Helmick, H. Tonkovich.* Developmental differences in the effects of negative and positive evidence // First language. 2008. V. 28.

Tulviste 2002 – *T. Tulviste.* Language socialization across socio-cultural contexts. Stockholm, 2002.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 2010

© 2010 г. Е.В. УРЫСОН

СОСТАВНОЙ СОЮЗ ИЛИ СОЧЕТАНИЕ СЛОВ: *ДАЖЕ ЕСЛИ* ПОД СЕМАНТИЧЕСКИМ МИКРОСКОПОМ*

Описаны разные контексты употребления сочетания *даже если / если даже*, которое в грамматике и типологии принято трактовать как условно-уступительный союз. Подробно проанализирована семантика союза *если* и продемонстрировано, что значение *даже если / если даже* выводимо из значения его составных частей. Специфика этого сочетания состоит в том, что союз *если* выступает в нем в своей некаузальной модификации; вне контекста с *даже* союз *если* выступает в ней лишь в ограниченном круге контекстов. С теоретической точки зрения, *даже если / если даже* – это составной союз in statu nascendi.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Предлагаемая работа посвящена семантическому анализу сочетания союза *если* с частицей *даже*, ср.: *Даже если погода будет плохая, мы пойдем в лес.*

Принято считать, что сочетание *даже если / если даже* представляет собой отдельный союз, а не сочетание двух служебных слов [Грамматика-80; Томмола 2004; Храковский 2004]. По-видимому, такая трактовка выбрана по интуиции – работ, посвященных обоснованию этого решения, насколько нам известно, не существует. Мы попытаемся эксплицировать исследовательскую интуицию, лежащую в основе этого описания, и уточним статус *даже если / если даже* в лексической системе языка.

По определению традиционной грамматики, составной союз, в отличие от обычного союза, «представляет собой соединение двух или более элементов, каждый из которых одновременно существует в языке и как отдельное слово» [Грамматика-80: 716]. Данное определение позволяет выделить составные союзы из множества союзов вообще, однако не позволяет отличить составной союз от сочетания служебных слов. В частности, остается неясным, что представляет собой цепочка *даже если*: возможно, это составной союз, однако перед нами может быть и просто сочетание двух служебных слов – союза *если* и частицы *даже*.

Во многих случаях отличить последовательность служебных слов от составного союза позволяют синтаксические критерии. Так обстоит дело, например, с союзом *то... то*, который внешне совпадает с последовательностью местоимений *то...то*. Ср.: *То дождь, то ветер* [союз] vs. *То не ветер ветку клонит, / Не дубравушка шумит, / То мое сердечко стонет* (Н. Стромилов) [два местоимения]. Однако синтаксические функции союза *то...то* резко отличаются от синтаксической роли в предложении местоимения *то*, поэтому проблем при определении статуса последовательности *то...то*, вообще говоря, не возникает.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей» и гранта НШ-3205.2008.6. Автор выражает глубокую благодарность анонимному рецензенту за в высшей степени полезные критические замечания и А.С. Кулевой за неоценимую помощь в подготовке рукописи к печати.

В случае *даже если* синтаксические критерии не работают, так как последовательность *даже если / если даже* синтаксически ведет себя как союз *если*.

Очевидно, что составной союз отличается от простой последовательности отдельных слов, прежде всего, с точки зрения семантики: значение составного союза не сводимо к «сумме» значений его элементов. В этом отношении составной союз сближается с фразеологизмами [Завьялов 2008: 36 и ссылки там]. Именно поэтому составной союз представляет собой отдельную единицу лексической системы языка. Следовательно, для того чтобы отнести некоторую последовательность служебных слов к составным союзам, необходим семантический анализ этой последовательности.

Логика нашего рассуждения такова. Допустим, что *даже если / если даже* – это просто сочетание двух служебных слов. Тогда семантика этого сочетания представляет собой «сумму» значений входящих в него компонентов 'если' и 'даже', без каких-либо нестандартных наращений или изменений этих смыслов[1]. Если же наше сочетание – это действительно отдельный союз, то его семантика не может быть полностью извлечена из значений составляющих частей 'если' и 'даже'. Тогда перед нами единица, представляющая собой несвободное словосочетание. Если данное сочетание обладает определенными синтаксическими свойствами, то его можно трактовать как союз.

Следовательно, для ответа на поставленный выше вопрос нужно сравнить значение всего сочетания со значениями его компонентов. Конкретнее, мы подвергнем сочетание *даже если / если даже* композициональному анализу и выявим вклад в семантику всего сочетания его составных частей.

Очертим основные проблемы, возникающие при семантическом анализе высказываний с *даже если / если даже*.

Хорошо известно, что частица *даже* выражает некоторое модальное значение, которое определенным образом взаимодействует со значением остальной части высказывания. Рассмотрим следующие примеры:

(1) *Петя пошел в кино.*
(2) *Даже Петя пошел в кино.*

Семантическую структуру примера (2) можно представить так (упрощенно)[2]:

(2а) (i) 'Петя пошел в кино';
(ii1) 'другие люди пошли в кино';
(ii2) 'говорящий ожидал, что Петя не пошел в кино'.

Более точно[3]:

(2б) (i) 'Петя пошел в кино';
(ii1) 'другие люди пошли в кино';
(ii2) 'можно было с бóльшим основанием ожидать, что другие люди пошли в кино, чем то, что Петя пошел в кино'.

Компонент (i) этих структур – это, очевидно, целиком значение примера (1). Компоненты (ii1-2) представляют собой значение частицы *даже*. В обычном случае семантическая структура высказывания *S*, содержащего частицу *даже*, может быть представлена как состоящая из двух частей: 'S'' и 'даже', где *S'* – это высказывание *S* за вычетом *даже*. Иными словами, высказывание типа (2), с частицей *даже*, описывает ту же ситуацию, что и соответствующее высказывание без *даже*, ср. (1), отличаясь от него лишь выражением модальности. Естественно предположить, что частицу *даже* можно ввести практически в любой правильный пример и полученное высказывание будет отличаться от исходного только модальным компонентом.

---

[1] В терминах работы [Мельчук 1995; Иорданская, Мельчук 2007] это «регулярная сумма» смыслов 'если' и 'даже'.

[2] Мы используем здесь одно из первых толкований частицы *даже*, предложенное А. Вежбицкой; см. об этом [Апресян 1974: 33, 68].

[3] Более полные и точные толкования *даже* предлагались в работах [Крейдлин 1975; Богуславский 1985]. Мы пользуемся здесь описанием, предложенным в работе [Богуславский 1985].

Перейдем теперь к высказываниям, содержащим союз *если*. Возьмем какой-нибудь стандартный пример с *если* и введем в него частицу *даже*. Ср.:

(3) *Я останусь у них, если они меня пригласят.*
(4) ??*Я останусь у них, даже если они меня пригласят.*

Соотношение примеров внутри этой пары совсем не такое, как между примерами (1) и (2). Действительно, высказывание (4) семантически или, по крайней мере, прагматически аномально. Семантически и прагматически нормальным будет отрицание высказывания (4), ср.:

(4а) *Я останусь у них, даже если они меня не пригласят.*

Ср. аналогичные примеры:

(5) *Если погода будет хорошая, мы пойдем купаться.*
(6) ??*Даже если погода будет хорошая, мы пойдем купаться.*
(6а) *Даже если <если даже> погода будет хорошая, мы купаться не пойдем.*

Высказывание (6) и в этой группе примеров как минимум прагматически аномально. Нормально высказывание (6а), с отрицанием в главном предложении.

(7) *Если ты будешь работать лучше всех, тебя повысят.*
(8) ??*Даже если <если даже> ты будешь работать лучше всех, тебя повысят.*
(8а) *Даже если <если даже> ты будешь работать лучше всех, тебя не повысят.*

Пример (8), отличающийся от высказывания (7) только наличием *даже*, аномален, по крайней мере, прагматически. Частица *даже* и здесь требует отрицания в главном предложении, ср. (8а).

Можно предположить, что сочетание *даже если / если даже* отрицательно поляризовано, т.е. тяготеет к отрицательным контекстам. И союз *если*, и частица *даже* в этом отношении нейтральны. Отрицательная поляризованность *даже если / если даже* и наводит на мысль, что это – отдельный союз, а не свободное сочетание слов.

Однако в некоторых случаях *даже если / если даже* не требует отрицательного контекста. Ср.:

(9) *Если Петя ее обидит, она его простит.*
(10) *Даже если <если даже> Петя ее обидит, она его простит.*

Соотношение между примерами в этой паре абсолютно стандартно – оно ничем не отличается от соотношения между (1) и (2). Семантическая структура высказывания (10) состоит из смысла высказывания (9) и модального компонента, выражаемого *даже*. По-видимому, в подобных случаях *даже если / если даже* естественно рассматривать как сочетание двух слов.

Наконец, существует еще третья группа контекстов, в которых *даже если / если даже* как будто не поляризовано отрицательно, но при этом как будто и не сводимо к «сумме» ‘если’ и ‘даже’, как в случае (9)–(10). Ср.:

(11) *Если Петя будет работать лучше всех, его уволят.*
(12) *Даже если <если даже> Петя будет работать лучше всех, его уволят.*

Примеры (11) и (12) выражают разные смыслы, и различие между ними не сводится к выражению модальности. В (11) подразумевается, что сотрудник, в частности Петя, не должен выделяться – нужно быть как все, иначе уволят. В (12), напротив, подразумевается, что работать лучше всех – это хорошо, это та причина, по которой человека обычно ценят и не увольняют.

Требуется выяснить, за счет чего возникает то или иное понимание высказывания с *даже если / если даже*: потому ли, что перед нами разные значения союза (или сочетания) *даже если / если даже*, или по каким-то другим, более тонким причинам.

Мы надеемся получить ответ на поставленные выше вопросы, подвергнув *даже если / если даже* композициональному семантическому анализу.

Частица *даже* подробно описана в работах [Крейдлин 1975; Богуславский 1985]. Поэтому в нашу задачу входит, прежде всего, анализ союза *если*.

2. СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЮЗА *ЕСЛИ*

Союзу *если* посвящена огромная литература, причем данное служебное слово описывалось в рамках диаметрально противоположных подходов. С одной стороны, этот союз признается семантическим примитивом, т.е. словом, которое не поддается экспликации через более простые понятия [Жолковский 1964; Вежбицкая 1996а; 1996б] и в особенности [Wierzbicka 1997]. Тем самым, союз *если* рассматривается как некий «семантический монолит», лишенный внутренней структуры. С другой стороны, этот союз, безусловно, выражает какую-то весьма богатую семантику [On conditionals 1986; On conditionals again 1997]. В частности, в высказывании вида *Если P, то Q* он может обозначать разные логические отношения между ситуациями [Athanasiadou, Dirven 1997]. Поэтому во многих работах союз *если* рассматривается как слово, обладающее сложной семантической структурой, влияющей на организацию всего высказывания [Ducrot 1972; Грамматика-80; Гладкий 1982; Падучева 2004; Ляпон 1986; Разлогова 1988; Санников 2008]. Наличие таких разных точек зрения на союз *если* само по себе свидетельствует о трудности экспликации его значения.

Мы подробно описали союз *если* в статьях [Урысон 2001; 2010б][4]. Кратко изложим основные результаты этих работ, необходимые для анализа сочетания *даже если / если даже*.

Сделаем предварительное терминологическое замечание. В соответствии со словоупотреблением, принятым в Московской семантической школе, слово, взятое в отдельном значении, называется лексемой. Многозначное слово представляет собой тогда упорядоченный набор лексем. Описать многозначное слово – значит описать по возможности все его лексемы, указав семантические связи (мосты) между ними.

2.1. Структура многозначности союза *если*

Союз *если* неоднозначен и в разных контекстах выражает разную семантику. Центральное значение союза *если* иллюстрируется следующими примерами:

(13) *Если будут пробки (P), то мы опоздаем на самолет (Q).*
(14) *Мы пойдем купаться (Q), если будет хорошая погода (P).*
(15) *Если Петя приехал во вторник (P), он уже все узнал от Андрея (Q).*

Очевидно, что союз *если* в приведенных примерах – это средство, с помощью которого мы сообщаем, что и P, и Q – это всего лишь наше предположение, наша гипотеза (ср. [Ducrot 1972]), а не описание реального или даже вымышленного положения дел. Лексему союза *если*, представленную в высказываниях этого типа, мы называем «*если* гипотезы».

В следующих примерах союз *если* обозначает не предположение говорящего, а некоторое повторяющееся положение дел. Ср.:

(16) *Если были пробки (P), то мы опаздывали (Q).*
(17) *Если шел дождь (P), лепили на веранде из пластилина (Q)* (С. Довлатов).
(18) *Он счастлив (Q), если ей накинет / Боа пушистый на плечо (P)* (А.С. Пушкин).

Союз *если* в подобных высказываниях сближается по значению с союзом *когда*. Ср.:

(16а) *Когда были пробки (P), мы опаздывали (Q).*
(17а) *Когда шел дождь (P), лепили на веранде из пластилина (Q).*

[4] Большинство нижеприведенных примеров взято из этих работ.

Союз *если*, представленный в высказываниях типа (16)–(18), мы называем «*если* обобщения». В работах [Урысон 2001; 2010б] показано, что «*если* обобщения» – это контекстно-обусловленная модификация лексемы «*если* гипотезы».

Отдельная лексема союза *если* представлена в высказываниях типа

(19) *Если уж мой лучший друг решил остаться (P), я остаюсь тоже (Q).*
(20) *У него там мать замдекана. – Ну, если у него мать замдекана (P), он, конечно, будет учиться бесплатно (Q).*
(21) *Я получил пять! – Ну, если у тебя по философии пятерка (P), то теперь тебе бояться нечего (Q).*

Союз *если* в этих примерах не вводит никакой гипотезы. Речь здесь идет о данном, конкретном положении дел, о двух конкретных, причем не повторяющихся ситуациях P и Q. Лексему союза *если* в подобных примерах мы называем «*если* данного положения дел».

Союз «*если* данного положения дел» синонимичен союзу *раз* [Урысон 2004а]. Ср. (19)–(21) и следующие примеры с *раз*:

(19а) *Раз уж мой лучший друг решил остаться (P), я остаюсь тоже (Q).*
(20а) *У него там мать замдекана. – Ну, раз у него мать замдекана (P), он, конечно, будет учиться бесплатно (Q).*
(21а) *Я получил пять! – Ну, раз у тебя по философии пятерка (P), то теперь тебе бояться нечего (Q).*

Многие фразы с *если* омонимичны: они могут описывать как гипотезу говорящего, так и данное положение дел. Ср.:

(22) *Если Петя заболел, она не придет* [говорящий либо предполагает, что Петя заболел, либо знает это].

Эта омонимия снимается широким контекстом, ср.:

(22а) – *Оказывается, Петя заболел! – Ну, если Петя заболел, она не придет* [лексема «*если* данного положения дел»].
(22б) *Не знаю, как они. Если Петя заболел, она не придет* [лексема «*если* гипотезы»].

Наличие таких неоднозначных фраз – свидетельство того, что союз «*если* данного положения дел» и союз «*если* гипотезы» – это две разные лексемы *если*.

Во всех приведенных выше примерах союз *если* указывает на некоторую связь между двумя ситуациями. Употребляя любой подчинительный союз, точнее соединяя с помощью союза две или более пропозиции, говорящий не просто описывает реальные или представляемые ситуации – он делает определенное умозаключение о том, как они связаны. Иными словами, для того чтобы описать связь между ситуациями, говорящий должен сначала совершить определенную ментальную операцию: понять, связаны ли описываемые ситуации друг с другом и если да, то как[5]. Этот ментальный акт, лежащий в основе высказываний с союзом, часто тривиален; говорящий может не отдавать себе в нем отчета, и тогда высказывание просто описывает реальные (или представляемые) ситуации и связи между ними. Таковы примеры выше.

Однако говорящий может фокусировать внимание на самом этом ментальном акте, и тогда наличие умозаключения высвечивается, обозначается специальными средствами. В качестве такого средства может выступать подчинительный союз. Ср. следующие примеры:

(23) *Окна заляпаны краской (P), потому что в доме ремонт (Q)* [ремонт – причина того, что окна грязные].

---

[5] Разумеется, какой-то ментальный акт лежит в основе любого высказывания: говорящий должен как минимум соотнести фрагмент действительности с концептуальной сетью языка. Мы сейчас от этого отвлекаемся.

(24) *В доме ремонт (P), потому что окна заляпаны краской (Q)* [как и в предыдущем случае, ремонт – причина того, что окна грязные; но кроме того, грязные окна – причина умозаключения о том, что в доме идет ремонт].

В примере (23) союз *потому что* указывает на объективную связь двух ситуаций:

(23а) *P, потому что Q* = 'Q – причина P'.

В примере (24) союз *потому что* указывает и на эту объективную связь ситуаций, и еще на умозаключение говорящего:

(24а) *P, потому что Q* = 'P – причина Q; Q – причина умозаключения: имеет место ситуация P'.

Будем говорить, что в примерах типа (24) представлен союз «*потому что* умозаключения». Союз «*потому что* умозаключения» является квазиконверсивом обычного союза *потому что*, представленного в примере (23).

Замечание.

В работе [Иорданская 1988] описано иллокутивное употребление ряда союзов, аналогичное рассмотренному употреблению *потому что*. Ср.: *Давай поговорим (P), потому что другого времени не будет (Q)*. Подобные высказывания интерпретируются так: 'То, что другого времени для разговора не будет, есть причина того, что говорящий совершает речевой акт побуждения «Давай поговорим»'. Здесь ситуация P трактуется как причина речевого акта говорящего, а не как причина его умозаключения. Может показаться, что пример (24) допускает аналогичную трактовку: 'То, что окна заляпаны краской, есть причина того, что говорящий совершает речевой акт утверждения «В доме ремонт»'. Однако причиной речевого акта утверждения является не ситуация 'Окна заляпаны краской', а что-то другое, например, вопрос собеседника. Поэтому мы предпочитаем описывать наш материал более осторожно, отличая умозаключение говорящего от возможной причины, побудившей его сделать данное высказывание.

Данное различие между контекстами с союзом *потому что* хорошо интерпретируется в терминах диктума и модуса. Напомним, что в семантической структуре высказывания выделяются объекты разной природы, в частности – диктум, т. е. собственно содержание высказывания, и модус – выражение позиции говорящего. Так, высказывание типа *Идет дождь* представляется следующим образом: «Я констатирую [модус]: идет дождь [диктум]» [Балли 2001]. Очевидно, что в примерах типа (а) союз *потому что* связывает диктальные части главного и придаточного предложения. Что касается примеров типа (б), то в них союз *потому что* связывает диктальную часть придаточного предложения с модусом главного. Эта интерпретация высказываний типа (23) и (24) была предложена Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1970]. Многочисленные примеры подобного употребления разных союзов рассматриваются в книге [Падучева 1985: 46 и сл.].

С точки зрения лексикографического описания, перед нами две разных лексемы союза *потому что*. По-видимому, подобного рода полисемия свойственна многим подчинительным союзам[6].

Вернемся к союзу *если*. Возьмем следующие примеры:

(25а) *Если они успели на последнюю электричку (P), они уже дома (Q).*
(25б) *Если они уже дома (P), они успели на последнюю электричку (Q).*

Для простоты ограничимся одним – гипотетическим – пониманием этих фраз. В обоих примерах ситуация 'они успели на последнюю электричку' является тем фактором, тем условием, благодаря которому имеет место ситуация 'они уже дома'. Фраза (25а) подает это самым естественным образом: условие 'они успели на последнюю электричку' вводится союзом *если* и оформляется как придаточное предложение,

[6] См. об этом [Урысон 2003б]; в этой работе, вместо термина «лексема умозаключения», мы пользовались термином «логическая лексема» союза.

а следствие ‘они уже дома’ оформляется главным предложением. Но в примере (25б) условие и следствие поменялись местами: условие представлено в главном предложении, а союз *если* вводит следствие. Очевидно, что в примере (25б) союз *если* не только описывает связь между двумя ситуациями, но еще и специально указывает на ход мысли говорящего, на его умозаключение. Будем говорить, что в примерах типа (25б) представлен союз «*если* гипотезы + умозаключения». Это квазиконверсив союза «*если* гипотезы». Приведем аналогичные примеры:

(26а) *Если они не спят (P), у них в окнах горит свет (Q)* [ситуация ‘они не спят’ – фактор, благодаря которому существует ситуация ‘у них в окнах горит свет’].

(26б) *Если у них в окнах горит свет (P), они не спят (Q)* [«объективный» смысл высказывания – тот же, что и в примере (26а); однако ситуация ‘у них в окнах горит свет’ является здесь фактором, благодаря которому говорящий делает умозаключение о том, что люди в доме не спят].

Указание на умозаключение может сочетаться и с семантикой «*если* обобщения», и с семантикой «*если* данного положения дел». Ср.:

(27а) *Если внук жил не у них, а у другой бабушки (P), то они могли смотреть по вечерам телевизор, ходить в гости (Q)* [«*если* обобщения»].

(27б) *Если они теперь могут смотреть по вечерам телевизор и ходить в гости (P), внук живет не у них, а у другой бабушки (Q)* [«*если* обобщения + умозаключения»].

(28а) *У него родственники в комиссии. Ну, если у него там родственники, к нему будет особое отношение* [«*если* данного положения дел»].

(28б) *К нему там особое отношение. – Ну, если к нему особое отношение, у него родственники в комиссии, не иначе* [«*если* данного положения дел + умозаключения»].

В работах [Урысон 2001; 2010б] мы обосновали, что компонент «умозаключение», накладываясь на ту или иную лексему союза *если*, создает новую лексему союза[7]. Все эти лексемы хорошо согласуются семантически со словом *значит*, которое тоже указывает на умозаключение говорящего. Ср.:

(29) *Если они уже дома (P), значит они успели на последнюю электричку (Q).*

(30) *Если они теперь могут ходить в гости (P), значит внук живет не у них (Q).*

(31) *Ну, если к нему особое отношение, значит у него родственники в комиссии.*

В этих примерах указание на ментальный акт выражено дважды – словом *значит* и особой лексемой союза *если*.

Заметим, что лексема *значит* возможна и в других контекстах, в частности – в предложении с «обычным» *если*, ср.: *Если они успели на последнюю электричку, значит они уже дома*. В этом случае, однако, на умозаключение говорящего указывает лишь слово *значит*, но не союз.

В целом, интересующий нас фрагмент полисемии союза *если* может быть представлен так[8]:

---

[7] Значения «*если* гипотезы» и «*если* гипотезы + умозаключения» были выделены в работе [Латышева 1982].

[8] В некоторых высказываниях союз *если* выступает в виде *если...то*, ср.: *Если будут пробки (P), то мы опоздаем (Q)*. Строго говоря, мы имеем дело с союзом, состоящим из двух компонентов – *если* и *то*, причем компонент *то* в большинстве контекстов или факультативен, или невозможен. Компонент *то* всегда открывает главное предложение. При этом он допустим лишь при постпозиции главного предложения, но и в этом случае может опускаться, ср.: *Если будут пробки (P), мы опоздаем (Q)*. В абсолютном начале высказывания компонент *то* невозможен. Не исключено, что данный компонент выражает некоторую тонкую семантику, однако в данной работе мы ее игнорируем. В дальнейшем мы не различаем варианты *если* и *если...то*.

1.1. «*если* гипотезы»: *Если будут пробки, мы опоздаем*; *Если они успели на эту электричку, они придут домой уже в восемь часов*.

Контекстно-обусловленная модификация – «*если* обобщения»: *Если были пробки, мы опаздывали*; *Если они успевали на эту электричку, они приходили домой уже в восемь часов*. Квазисиноним – союз *когда* (ср.: *Когда были пробки, мы опаздывали*).

1.2. «*если* гипотезы + умозаключения»: *Если они уже дома, они успели на последнюю электричку*.

Контекстно-обусловленная модификация – «*если* обобщения + умозаключения»: *Если они теперь могут ходить в гости (P), внук живет не у них, а у другой бабушки (Q)*.

2.1. «*если* данного положения дел»: *Если уж Петя уезжает, я уеду тоже*; *– У него в комиссии родственники. – Ну, если у него родственники в комиссии, к нему там особое отношение*. Синоним – союз *раз* (ср.: *Раз Петя уезжает, я уеду тоже*).

2.2. «*если* данного положения дел + умозаключения»: *Если к нему там особое отношение, у него родственники в комиссии, не иначе*. Синоним – союз *раз* (ср.: *Раз к нему там особое отношение, у него родственники в комиссии, не иначе*).

Подчеркнем, что за пределами нашего описания остались многие контексты с *если*.

Во-первых, мы не рассматривали примеры типа: *Если захочешь есть (P), возьми мясо (Q)*; *Если тебе так холодно (P), почему ты сидишь в одной рубашке (Q)?*; *Если хочешь знать правду (P), отец уехал насовсем (Q)*[9] и т. п. Специфика этих примеров состоит в том, что ситуация P является причиной, условием или чем-то подобным не самой ситуации Q, а речевого акта (т.е. побуждения, вопроса, утверждения и т.п.), содержащего пропозицию 'Q'. При этом само предложение *Q* может представлять собой косвенный речевой акт, ср. пример Дж. Остина: *Если захочешь есть (P), в холодильнике есть мясо (Q)*. Подобные употребления союза *если* называют иллокутивными.

Во-вторых, мы не касались специфического вводного употребления *если*. Ср.: *Если верить газетам (P), все было совсем по-другому (Q)*; *Это, если хотите (P), совершенно особый случай (Q)*; *Если помните (P), мы к вам в пятницу заходили (Q)* и т. п.

В-третьих, за рамками нашего описания остались контексты типа: *В его глазах он заметил если не страх, то, во всяком случае, растерянность*.

Наконец, мы не рассматривали сопоставительный союз *если P, то Q*. Ср.: *Если кочевые народы занимались скотоводством (P), то оседлые рано достигли высокой культуры земледелия (Q)*.

Дело в том, что нас интересуют только те контексты с *если*, которые допускают введение *даже*, точнее – замену *если* на *даже если / если даже* (напомним, что она, в свою очередь, может повлечь за собой необходимость отрицания в главном предложении). Такая замена возможна только в высказываниях: (а) с лексемой «*если* гипотезы» и ее контекстной модификацией «*если* обобщения»; (б) с лексемой «*если* данного положения дел»; и (в) с лексемами «*если* умозаключения». Ср.:

(32) *Если будут пробки, мы опоздаем* [«*если* гипотезы»] – *Даже если <если даже> будут пробки, мы не опоздаем*.

(33) *Если Петя сильно задерживается, к ужину его не ждут* [«*если* обобщения»] – *Даже если <если даже> Петя сильно задерживается, его ждут к ужину*.

(34) *Если уж Петя уезжает, я уеду тоже* [«*если* данного положения дел»] – *(Ты знаешь, Петя уезжает!) – Ну что же, даже если <если даже> Петя уезжает, я не уеду*.

Отметим, что высказывания с лексемой «*если* умозаключения», при замене ее на *даже если / если даже*, как правило, требуют еще и специального лексического указа-

[9] Многие из этих примеров заимствованы (с модификациями) из работы [Иорданская 1988: 243].

ния на умозаключение говорящего. В качестве такого указания часто выступает оборот *это не значит, что...*, предваряющий главную часть. Ср.:

(35) *Если они уже дома, они успели на последнюю электричку* [«*если* гипотезы + умозаключения»] – *Даже если <если даже> они уже дома, это не значит, что они успели на последнюю электричку.*

(36) *Если они теперь могут по вечерам ходить в гости (P), внук живет не у них, а у другой бабушки (Q)* [«*если* обобщения + умозаключения»] – *Даже если <если даже> они теперь могут по вечерам ходить в гости (P), это не значит, что внук живет не у них (Q).*

(37) *Если к нему там особое отношение, у него родственники в комиссии, не иначе* [«*если* данного положения дел + умозаключения»] – *Даже если <если даже> к нему там особое отношение, это не значит, что у него родственники в комиссии.*

Наличие отрицания *не* в обороте *это не значит, что...* объясняется отрицательной поляризованностью *даже если / если даже*.

Мы выделили те лексемы союза *если*, высказывания с которыми допускают замену этого союза на *даже если / если даже*. Теперь, в соответствии с нашей задачей, требуется описать их значение. Рамки статьи позволяют нам подробно описать лишь центральную лексему этого союза – «*если* гипотезы». Однако полученные результаты легко распространяются и на другие лексемы *если*, подробно описанные нами в работе [Урысон 2010б].

2.2. Центральное значение союза *если*: «*если* гипотезы»

Вернемся к примерам (13)–(15):

(13) *Если будут пробки (P), то мы опоздаем на самолет (Q).*
(14) *Мы пойдем купаться (Q), если будет хорошая погода (P).*
(15) *Если Петя приехал во вторник (P), он уже все узнал от Андрея (Q).*

В них представлен союз «*если* гипотезы». Как уже говорилось выше, этот союз служит не для описания реального или даже вымышленного положения дел, а для указания на то, что и P, и Q – это всего лишь наше предположение, наша гипотеза [Ducrot 1972]. Именно поэтому во многих языках союз *если* (точнее – его эквивалент в данном языке) требует постановки предиката вводимой им пропозиции в специальное – условное – наклонение[10]. В каких случаях мы строим такие гипотезы?

Ясно, что говорящий прежде всего не знает, какая ситуация – P или не-P – имеет место в описываемый отрезок времени. Кроме того, говорящий считает, что в этот отрезок времени ситуация P возможна. При этом, строя гипотезу ‘P имеет место’, говорящий, безусловно, отдает себе отчет в том, что может иметь место как P, так и не-P [Грамматика-80; Падучева 1985; Ляпон 1986; Вежбицкая 1996а; Санников 2008]. Однако гипотеза говорящего не ограничивается содержанием ‘P имеет место’. Говорящий представляет, как развиваются события в рамках его гипотезы, а именно, какая еще ситуация Q, связанная с P, имеет тогда место[11].

[10] В русском языке в предложении P (и, соответственно, Q) возможно как изъявительное, так и сослагательное наклонение. Ср.: (а) *Если ты захочешь (P), ты узнаешь много интересного (Q)* vs. (б) *Если бы ты захотел (P), ты бы узнал много интересного (Q)*. Фраза (б) с сослагательным наклонением допускает два понимания: невыполненности условия (‘не захотел и не узнал’) и мягкого пожелания (‘хорошо, чтобы ты захотел’). Неоднозначность снимается контекстом, ср.: (в) *Если бы ты тогда захотел (P), ты бы узнал много интересного (Q)*. «Сослагательное наклонение означает невыполненное условие только в случае лексически или контекстно выраженной отнесенности условия к плану прошлого» [Падучева 1985: 72].

[11] Как показывает Е.В. Падучева, эти компоненты союза *если* хорошо объясняются через постулаты коммуникативности Грайса [Падучева 2004: 103].

Сказанное можно записать в виде следующего выражения:

(I) *Если P, то Q [Если будут пробки (P), мы опоздаем на самолет (Q)]* ≈
(Ia) 'говорящий не знает, какая ситуация имеет место в описываемый отрезок времени';
(Ib) 'говорящий считает, что в этот отрезок времени возможна [= может иметь место] ситуация P, возможна [= может иметь место] ситуация не-P';
(Ic) 'говорящий представляет [≈ строит гипотезу]: имеет место ситуация P';
(Id) 'говорящий представляет, что в рамках этой гипотезы события развиваются так: имеет место ситуация Q, связанная с ситуацией P'.

Заметим, что, по-видимому, ситуации P и Q, хотя и являются обе гипотетичными, все же имеют несколько разные статусы внутри гипотезы говорящего. Построив гипотезу 'имеет место P', говорящий затем утверждает, что в рамках этой гипотезы имеет место ситуация Q. Иными словами, компонент (Id) должен предваряться выражением: 'говорящий утверждает…'. Мы пока от этого отвлекаемся.

В ирреальных контекстах экспликация (I) модифицируется. Действительно, сравним пример (13) с ирреальным высказыванием:

(38) *Если бы я был директором школы (P), я бы отменил все контрольные (Q).*

Произнося высказывание (38), говорящий, во-первых, знает, что ситуация P 'я – директор школы' не имеет место. Во-вторых, он, скорее всего, не считает ситуацию P возможной, а просто представляет ее[12].

Заметим, что частица *бы* (*б*), как правило, располагается непосредственно после *если*, тяготея к слиянию с ним в одно слово. Это отражала старая (до 1918 г.) орфография, в соответствии с которой сочетание *если бы* писалось в одно слово, без пробела. Тем самым, по старой орфографии в русском языке формально различались два союза: «*если* реального условия» и «*если* ирреальное». Последнему союзу синонимичен стилистически отмеченный союз *кабы*, ср.: *Эх, кабы на цветы не морозы, / И зимой бы цветы расцветали* (народная песня). В этом союзе частица *бы* полностью втянулась внутрь слова. Не исключено, что применительно к ирреальным контекстам требуется говорить уже не о союзе *если*, а об особом составном союзе *если бы*.

Экспликация *если бы* получается из выражения (I) преобразованием компонента (Ia) и снятием компонента (Ib):

(II) *Если бы P, то Q [Если бы я был директором школы (P), я бы отменил все контрольные (Q)]* ≈
(IIa) 'говорящий знает, что ситуация P не имеет место в описываемый отрезок времени';
(IIb) 'говорящий представляет [≈ строит гипотезу]: имеет место ситуация P';
(IIc) 'говорящий представляет, что в рамках этой гипотезы события развиваются так: имеет место ситуация Q, связанная с ситуацией P'.

Статус выражений (I) и (II) будет рассмотрен ниже. Сейчас попытаемся ответить на более частный вопрос: каким образом могут быть связаны ситуации P и Q[13].

Оказывается, что союз *если* служит для обозначения целого спектра возможных видов связи между двумя ситуациями.

Начнем с логически самой простой связи.

---

[12] Другая точка зрения на подобные примеры обсуждается А. Вежбицкой [Wierzbicka 1997].

[13] В логике пропозицию P в выражении *Если P, (то) Q* называют протазисом, а пропозицию Q – аподосисом. Поставленный нами вопрос в этих терминах переформулируется так: какова связь между протазисом и аподосисом? Этой теме посвящена, в частности, работа [Athanasiadou, Dirven 1997].

(i) ситуация P является причиной существования ситуации Q

Примеры:

(13) *Если будут пробки (P), мы опоздаем на самолет (Q)* [пробки (P) – причина опоздания на самолет (Q)].

(39) *Если мы сдадим работу в срок (P), премия нам обеспечена (Q)* [выполнение работы вовремя (P) – причина получения премии (Q)].

(40 *Если они не достали билетов на автобус (P), им придется ехать поездом (Q)* [отсутствие билетов на автобус (P) – причина того, что им придется ехать поездом (Q)].

Возможно, союз *если* обычно выражает причинно-следственную связь между ситуациями P и Q. В ряде работ даже считается, что союз *если* выражает только данное отношение [Comric 1986; Падучева 2004]. Однако две ситуации могут быть связаны и несколько иначе.

(ii) ситуация P является условием существования ситуации Q

Примеры:

(14) *Мы пойдем купаться (Q), если будет хорошая погода (P).*

В данном случае ситуация P не создает ситуацию Q, как в примерах выше, а лишь благоприятствует ей, является условием ее существования.

(41) *Если они попадут в Париж (P), то сразу отправятся в Лувр (Q)* [пребывание в Париже (P) – условие посещения Лувра (Q)].

(42) *Если Петя приехал во вторник (P), он уже все узнал от Андрея (Q)* [приезд Пети во вторник – не причина, а обстоятельство, благодаря которому он все знает от Андрея].

Во многих случаях, однако, трудно определить, какая именно связь – причинная или условная – выражается в предложении вида *Если P, то Q*. Ср.:

(43а) *Если ты не проспишь (P), ты сможешь увидеть рассвет (Q).*

Ранний подъем (P) естественно понимать как условие, при выполнении которого можно увидеть рассвет (Q). Но видимо, не менее естественно понимать его и как причину, которая порождает ситуацию ‘ты видишь рассвет’. Последнее понимание поддерживается высказыванием

(43б) *Он смог увидеть рассвет (Q), потому что не проспал (P).*

С логической точки зрения, ситуации P и Q в примерах (43а, б) связаны абсолютно одинаково. Однако в (43б) эта связь оформлена с помощью союза *потому что*, т. е. подана как причинно-следственная.

Можно подумать, что все дело в гипотетичности или реальности обсуждаемых ситуаций: то, что в рамках гипотезы является условием или мыслится как условие, ср. (43а), подается как причина, когда речь идет о реальном, осуществившемся положении дел, ср. (43б)[14]. Однако это не так: гипотеза может осуществиться, однако условие некоторой ситуации не станет мыслиться при этом как ее причина. Ср. нормальное высказывание

(41) *Если они попадут в Париж (P), то сразу отправятся в Лувр (Q)* [P – условие ситуации Q]

и плохой пример

(41а) **Они сразу отправились в Лувр (Q), потому что попали в Париж (P).*

[14] Эта точка зрения на причину и условие принимается в целом ряде работ, например, в [Грамматика-80; Иорданская 1988; Иорданская, Мельчук 2007: 479].

Нормальна фраза

(44) *Если тебя отпустят немного раньше (P), мы поужинаем вместе (Q)* [P – условие ситуации Q].

Однако прагматически странно высказывание

(44а) *Мы поужинали вместе (P), потому что тебя отпустили немного раньше (Q).*

Причина и условие не всегда различимы по природе самих вещей. Отметим, что эти языковые концепты лежат в основе философских понятий причины, условия и причинности, однако и с точки зрения философии «различие между причиной и условием относительно» [ФЭС, статья «Причина и следствие»].

Перейдем к следующему типу высказываний с *если* – в них выражена более опосредованная связь между ситуациями.

(iii) ситуация P влияет на положение дел и тем самым обуславливает ситуацию Q

Примеры:

(45) *Если дети пойдут в поход (P), они обязательно возьмут с собой гитару (Q).*

(46) *Если у них родится мальчик (P), они назовут его Иваном (Q)* [пример В.З. Санникова].

(47) *Если к нам приедут гости (P), мы отведем им самую лучшую комнату (Q).*

Вряд ли ситуация P в этих высказываниях является причиной или условием существования ситуации Q: такая трактовка кажется натянутой [Вежбицкая 1996а; Wierzbicka 1997][15]. Тем не менее, и в этих контекстах между P и Q имеется некая, хотя и трудно эксплицируемая, каузальная зависимость. Иногда эта зависимость похожа на причинную: так, в (46)–(47) ситуация Q не может существовать без ситуации P. Иногда эта зависимость напоминает скорее условную, ср. (45). Но ни (45), ни (46)–(47) не допускают соответствующих перифраз. Абсурдно высказывание **Дети обязательно возьмут с собой гитару при условии, что они пойдут в поход*. Бессмысленны высказывания: **Мы отвели гостям самую лучшую комнату, потому что они к нам приехали*; **Они назвали мальчика Иваном, потому что он у них родился* (равно как и высказывание **Они назвали ребенка Иваном, потому что он мальчик <потому что у них родился мальчик>*). Безусловно, в подобных случаях речь идет о влиянии ситуации P на некоторое общее положение дел, и существование ситуации Q – одно из следствий этого влияния. Однако описать это влияние конкретнее, по-видимому, невозможно. Существенно, что данный тип каузальной связи между P и Q не конкретизирован в самом естественном языке. Подобную каузальную зависимость можно назвать каузальностью, или обусловленностью, в широком смысле. О понятии обусловленность см. работу [Евтюхин 1996].

(iv) ситуации P и Q вызваны одной и той же причиной или существуют благодаря одному и тому же условию

Этот тип взаимосвязи ситуаций иллюстрируется примерами:

(48) *Если американцы первыми полетят на Марс (P), они и на Венеру полетят первыми (Q).*

(49) *Если он выиграет первенство мира (P), он и на Олимпиаде станет победителем (Q).*

Очевидно, что, например, ситуация ‘американцы первыми полетят на Марс’ не может быть ни причиной, ни условием того, что они первыми полетят и на Венеру.

[15] Мы рассуждаем о естественном языке. На языке математической логики P является достаточным условием для Q.

Аналогичным образом устроена и фраза (49). Ситуации P и Q связаны в обоих случаях опосредованно – они существуют благодаря одной и той же причине или возникают при одних и тех же условиях: применительно к (48) это высокий уровень развития науки и техники, в случае (49) это мастерство данного спортсмена.

Похожим образом устроены и следующие высказывания, предполагающие ситуацию гадания:

(50) *Если сумма цифр будет четной (P), он меня любит (Q).*
(51) *Если сейчас из-за угла выедет машина (P), я сдам экзамен (Q).*

На первый взгляд, здесь между ситуациями P и Q вообще нет никакой логической связи. Но так ли это? Дело в том, что данные фразы предполагают ситуацию гадания, а прототипически гадание основано на следующем представлении об устройстве мира. «В мире нет случайностей. Одна и та же сила устраивает все ситуации. Человек не знает, как действует эта сила, поэтому он не знает будущего. Однако даже самая незначительная ситуация P – это проявление действия данной силы. Эта сила может подать человеку знак, по которому можно узнать, как она действует в очень важном случае, в частности, можно узнать, будет иметь место ситуация Q или не-Q». Поскольку одна и та же сила устраивает все ситуации, то значит, все ситуации имеют какую-то общую, универсальную причину. Тем самым, фразы (50)–(51) предполагают опосредованную общую причину у двух, казалось бы, совершенно независимых ситуаций. При этом ситуация Q важна для говорящего, а ситуация P мыслится как знак ее существования[16]. Очевидно, что этот знак «подается» той же силой, от которой зависит и существование ситуации Q.

Замечание.

Строго говоря, высказывания, подобные (50)–(51), образуют особый класс. Описывая их, следует указать, что одна ситуация является знаком другой, важной для говорящего, причем ситуация-знак вводится союзом *если*. Если приписать эту информацию союзу *если*, то окажется, что *если* в этом типе контекстов выступает в особом значении: «*если* гадания».

Заметим, что, произнося высказывания типа (50)–(51), говорящий может не отдавать себе отчета в том, что такое гадание. Ведь мы не отдаем себе отчета и во многих других своих представлениях, о которых не задумываемся специально. Такая безотчетность свидетельствует о том, что представления, о которых идет речь, уходят из обыденного сознания людей, сохраняясь при этом в стереотипах речи. Подобные ситуации хорошо известны лингвистам [Абаев 1934]. Задача исследователя состоит в том, чтобы выявить семантику данных стереотипов.

В случае обусловленности двух ситуаций P и Q каким-то третьим фактором, союз *если* уже не вводит ситуацию-каузатор (она остается невыраженной) – он просто указывает на сосуществование, сопутствование двух ситуаций. Благодаря этому в данном классе высказываний союз *если* приобретает определенное сходство с симметричными предикатами. В частности, для данных высказываний справедливо следующее квазисинонимическое преобразование:

(52) *Если A, то B ≈ Если B, то A.*

Примеры:

(53) *Если сумма цифр будет четной (A), он меня любит (B) ≈ Если он меня любит (B), сумма цифр будет четной (A).*
(54) *Если сейчас из-за угла выедет машина (A), мне достанется второй билет (B) ≈ Если мне достанется второй билет (B), то сейчас из-за угла выедет машина (A).*

[16] Благодарим за это замечание Р.И. Розину.

Правда, в некоторых случаях преобразование (52) влечет довольно существенное изменение смысла: меняется последовательность описываемых ситуаций. Ср.:

(55) *Если американцы первыми полетят на Марс (A), они и на Венеру полетят первыми (B)* [полет на Марс – раньше полета на Венеру] ≈ *Если американцы первыми полетят на Венеру (B), они и на Марс полетят первыми (A)* [полет на Венеру – раньше полета на Марс].

Однако сама по себе опосредованная связь между описываемыми ситуациями сохраняется и в этом случае. Между тем в случае непосредственной каузальной связи между P и Q преобразование (52) абсолютно недопустимо. Ср. нормальное высказывание (14) и абсурдное (14а):

(14) *Мы пойдем купаться (A), если будет хорошая погода (B).*
(14а) *Если мы пойдем купаться (A), будет хорошая погода (B).*

Аналогичным образом нормально высказывание (13) и абсурдно (13а):

(13) *Если будут пробки (A), то мы опоздаем на самолет (B).*
(13а) *Если мы опоздаем на самолет (B), будут пробки (A).*

Таково кардинальное различие между данным типом связи между двумя ситуациями и непосредственной каузальной зависимостью между ними[17].

Попытаемся обобщить, что же выражает союз *если* в перечисленных случаях (i)–(iv). Для этого нам понадобятся два понятия – ситуация и положение дел. Оба они уже использовались выше. Теперь уточним их.

Термин «ситуация» широко употребляется в теоретической семантике. Однако он неоднозначен. Одно понимание данного термина таково: ситуация – это то, что обозначается предикатом[18]. Иными словами, «под ситуацией понимается определенное лексическое отражение (в данном языке) некоторого "куска" действительности» [Мельчук 1974: 85]. С этой точки зрения можно говорить, что ситуации делятся на действия, процессы, состояния, свойства, отношения и т. п.

При другом понимании, ситуация – это то, что обозначается предикатом со всеми его зависимыми. В частности, говорят, что простое предложение *P* обозначает ситуацию 'P'. Именно так мы употребляли термин «ситуация» выше, в выражениях типа 'говорящий представляет: имеет место ситуация P'.

Есть и третье понимание этого термина, оно представлено в контекстах типа *ситуация речевого общения*.

В дальнейшем нас будет интересовать термин «ситуация» в его втором понимании.

Нам важно уточнить термин «ситуация» потому, что это слово употребляется и в обычной речи, но в ином значении. Ср.: *Безвыходных ситуаций не бывает*; *Вот такая сложилась у нас ситуация*; *Доложите ситуацию*. В подобных высказываниях слово *ситуация* синонимично лексеме *положение*, сочетанию *положение дел*, а также лексеме *обстановка*. Ср.: *Безвыходных положений не бывает*; *Вот такое положение (дел)*; *Вот такая обстановка*; *Доложите обстановку*. Лингвистический термин «ситуация» в его втором и третьем понимании хотя и сближается со словом *ситуация* естественного (русского) языка, но все-таки не совпадает с ним.

Прежде всего, слово *ситуация*, в отличие от лингвистического термина, обозначает нечто важное, то, от чего зависит дальнейшая жизнь и деятельность субъекта. Поэтому

---

[17] Некоторые фразы, описывающие непосредственную каузальную зависимость между P и Q, как будто допускают преобразование типа (52). Ср.: (42) *Если Петя приехал во вторник (A), он уже все узнал от Андрея (B)* – (42а) *Если Петя уже все узнал от Андрея (B), значит он приехал во вторник (A).* Но между (42) и (42а) есть существенное различие. В соотвстствии с нашим описанием (см. раздел 2.1) пример (42) показывает прежде всего каузальную зависимость между A и B, а (42а) указывает еще и на умозаключение говорящего.

[18] Ср. определение предиката: «предикат – лексема, обозначающая ситуацию» [Апресян 2004а].

нормально высказывание *Отпуск кончился, а детей в сад не берут, и няни нет – вот такая ситуация*; однако странно: *Дети завтракают, муж собирается на работу – вот такая ситуация*. Кроме того, ясно, что для описания ситуации – безвыходная ли она или просто сложившаяся, скорее всего, не хватит одного предиката даже со всеми его зависимыми (или одного простого предложения); ср. примеры выше. Можно сказать, что обычное слово *ситуация* обозначает множество (совокупность) важных для субъекта ситуаций во втором понимании этого термина. В частном случае это множество как будто может состоять из одной ситуации; ср.: *От меня жена ушла. Вот такая ситуация*. Но и в этом случае подразумевается совокупность ситуаций (в терминологическом понимании): глубокое внутреннее переживание, изменившаяся жизнь, одиночество и т. п. Заметим, что для описания *положения (дел)* или *обстановки* тоже не хватит одного предиката даже со всеми его зависимыми (или одного простого предложения).

Нам понадобится и термин для обозначения некоторой совокупности ситуаций (в терминологическом смысле). Введем для этого понятие «положение дел»[19]. Под *положением дел* будем понимать совокупность ситуаций, как-то связанных друг с другом. Так, текст: *Начался дождь (P). Все побежали к метро (Q), и улица быстро опустела (R)* описывает положение дел, состоящее из трех ситуаций – P, Q и R. Аналогичным образом, высказывание *Когда идет снег (P), я всегда вспоминаю Москву (Q)* описывает положение дел, состоящее из ситуаций P и Q.

Вернемся к употреблению союза *если*. В контекстах (i)–(iv) речь идет о том, что некоторая ситуация влияет на имеющееся положение дел. Эта ситуация может быть не названа – случай (iv), ср.: *Если американцы первыми полетят на Марс (P), они и на Венеру полетят первыми (Q)*; *Если сумма цифр будет четной (P), он меня любит (Q)*. Здесь и главное, и придаточное предложения описывают результат влияния на положение дел некоторой третьей, неназванной ситуации. Напомним, что в подобных контекстах союз *если* отчасти сближается с симметричными предикатами, так что высказывание *Если A, то B* квазисинонимично высказыванию *Если B, то A*. Ср.: *Если американцы первыми полетят на Марс, они и на Венеру полетят первыми* ≈ *Если американцы первыми полетят на Венеру, они и на Марс полетят первыми*; *Если сумма цифр будет четной, он меня любит* ≈ *Если он меня любит, сумма цифр будет четной*.

Однако в других рассмотренных контекстах – ср. (i)–(iii) – обозначены и ситуация, влияющая на положение дел, и ситуация, являющаяся результатом этого влияния. При этом каузирующая ситуация, т. е. та, которая влияет на положение дел, всегда предваряется союзом *если* и выражается придаточным предложением, а результат влияния, т.е. каузируемая ситуация, описывается главным предложением. Заметим, что информация о том, какой конкретный фактор приводит к каким последствиям, по-видимому, не относится к языку как таковому – это общее знание говорящих о мире (так называемая «наивная энциклопедия»). Однако информация о том, какая ситуация является фактором, а какая – следствием этого фактора, входит в значение союза *если*. Она выражается в синтаксическом оформлении пропозиций: пропозиция, обозначающая причину или условие, всегда вводится *если* и составляет придаточное, а пропозиция, обозначающая результат действия данной причины (или условия), всегда оформляется как главное предложение. Поэтому нормальна фраза типа *Если будет хорошая погода, мы устроим маленький поход*, но аномально (абсурдно, бессмысленно) высказывание *Если мы устроим маленький поход, будет хорошая погода*. Второе высказывание может быть понято только в том смысле, что наш поход повлияет на погоду, а это противоречит общим знаниям о мире.

Из всего сказанного ясно, что в контекстах типа (i)–(iii) слово *если* ведет себя как каузальный союз с весьма широким значением. При этом характер связей между си-

[19] В русскоязычной литературе понятия «ситуация» и «положение дел» (state of affaires) были, по-видимому, впервые введены в книге И.А. Мельчука [Мельчук 1974], где считались синонимичными.

туациями P и Q может быть описан через вполне простые понятия. Поэтому мы можем конкретизировать компонент (Id) выражения (I), описывающего значение союза *если*. Для удобства выпишем всю дополненную экспликацию союза *если*.

(III) *Если P, то Q [Если будут пробки (P), мы опоздаем на самолет (Q)]* ≈

(IIIa) 'говорящий не знает, какая ситуация имеет место в описываемый отрезок времени';

(IIIb) 'говорящий считает, что в этот отрезок времени возможна [= может иметь место] ситуация P, возможна [= может иметь место] ситуация не-P';

(IIIc) 'говорящий представляет [≈ строит гипотезу]: имеет место ситуация P';

(IIId) 'говорящий представляет, что в рамках этой гипотезы имеет место следующее:

(IIId-1) ситуация P является причиной или условием существования ситуации Q; поэтому имеет место ситуация Q;

или

(IIId-2) ситуация P, не являясь причиной или условием существования ситуации Q, влияет на имеющееся положение дел; в результате имеет место ситуация Q;

или

(IIId-3) существует некоторая ситуация n, влияющая на имеющееся положение дел; в результате имеют место ситуации P и Q; они вызваны одной и той же причиной n или возникают в результате одного и того же условия n'.

(Мы сознательно пошли на некоторые повторения в пунктах (IIId-1) и (IIId-2) – на наш взгляд, они делают рассуждение более четким.)

Аналогичным образом дополняется и выражение (II), эксплицирующее семантику ирреального *если бы*.

Подчеркнем, что, хотя союз *если* в грамматике называется условным, он обозначает целый спектр отношений между ситуациями, а не только условие. Поэтому семантический элемент 'условие' – это лишь один из компонентов семантики *если*. Может показаться, что выражение 'в рамках этой гипотезы' само толкуется через 'если': *в рамках этой гипотезы = если эта гипотеза верна*. Однако это не так – гипотеза может быть не верна, и это может быть известно говорящему, но тем не менее он может сказать: *в рамках данной гипотезы (получается абсурдное заключение)*. Тем самым, компоненты (IIId) и (IIId-1) не содержат круга.

Отметим, что компоненты (IIId-1) и (IIId-2) соответствуют хорошо известным типам каузации: (IIId-1) – непосредственной каузации, а (IIId-2) – косвенной каузации[20]. Случай (IIId-3) стоит несколько особняком – его выделение необходимо для описания примеров типа (iv), в которых союз *если* ведет себя (почти) как симметричный предикат.

Пока союз *если* как будто не представлял особых трудностей для описания. Однако специфика этого союза состоит в том, что он употребляется еще в одном типе контекстов, которые в каком-то смысле противоположны контекстам, описанным выше.

(v) ситуация P не влияет на положение дел

Примеры:

(56) *Если Коля опоздает (P), его не оштрафуют (Q).*

(57) *Если Петя ее обидит (P), она будет продолжать улыбаться (Q).*

(58) *Если они окажутся в Париже (P), они в музеи ходить не будут (Q) – их интересуют только магазины.*

---

[20] Оппозиция «непосредственная vs. косвенная каузация» пронизывает многие фрагменты лексической системы языка и проявляется, в частности, в семантике русских причинных предлогов [Иорданская, Мельчук 1996; Левонтина 2004].

К этой группе относятся и примеры типа:

(59) *Если он изменит (P), она его простит (Q).*

(60) *Если я заболею, к врачам обращаться не стану* (Я. Смеляков) [Санников 2008: 418].

На подобные высказывания обратила внимание А. Вежбицкая, см. [Вежбицкая 1996а; Wierzbicka 1997] – именно они препятствуют тому, чтобы считать союз *если* каузальным, и именно они делают этот союз нетолкуемым. Подобные контексты четко демонстрируют, что семантика *если* не сводится к обозначению условия, или причины, или какой-либо каузальной зависимости. Эти высказывания представляют для нас особый интерес.

Данный тип контекстов как будто похож на контексты (i)–(ii), но, в отличие от них, здесь речь идет о том, что ситуация P никак не влияет на положение дел. Получается, что союз *если* может оформлять противоположные типы отношений между P и Q. Ср.:

(56а) *Если Коля опоздает (P), его оштрафуют (Q) – Если Коля опоздает (P), его не оштрафуют (Q).*

(57а) *Если Петя ее обидит (P), она перестанет улыбаться (Q) – Если Петя ее обидит (P), она будет продолжать улыбаться (Q).*

(58а) *Если они окажутся в Париже (P), они будут ходить по музеям (Q) – Если они окажутся в Париже (P), они не будут ходить по музеям (Q).*

(59а) *Если он изменит (P), она его не простит (Q) – Если он изменит (P), она его простит (Q).*

Быть может, в случаях (v) мы просто имеем дело с другим значением союза *если*? Союз *если* действительно выражает здесь особый смысл, однако это возможно лишь в определенном типе контекстов. Требуется, чтобы ситуация P принадлежала к набору всем известных, житейских ситуаций, которые обычно или часто влияют на имеющееся положение дел, но могут и не повлиять на него. Таковы ситуации опоздания (могут заметить и оштрафовать, а могут и не заметить и не оштрафовать), супружеской измены (одни не прощают, а другие прощают), обиды (кто-то реагирует на обиду, а кто-то – нет) и т.п. Набор таких ситуаций, по-видимому, невелик. Если ситуация P не принадлежит к этому набору, то союз *если* всегда выражает влияние P на положение дел. Ср.:

(60) *Если бумага будет черной (P), буквы на ней проступят (Q) – Если бумага будет черной (P), буквы на ней не проступят (Q)* [ситуация P в обоих случаях влияет на положение дел и порождает ситуацию Q].

Итак, союз *если* выражает особый, некаузальный смысл лишь в определенном круге контекстов. Но тогда перед нами не особое значение союза *если*, а лишь его контекстная модификация. Действительно, фразы типа *Если Коля опоздает (P), его оштрафуют (Q) – Если Коля опоздает (P), его не оштрафуют (Q)* различаются на отрицание ‘не’, и именно оно, а не союз *если*, создает «противоположное» понимание данных высказываний[21].

Контексты типа (v) близки высказываниям с уступительным союзом *хотя* в его центральном значении [Грамматика-80]. Ср. примеры внутри следующих пар:

(61) *Если Коля опоздает (P), его не оштрафуют (Q) – Хотя Коля опоздает (P), его не оштрафуют (Q).*

(62) *Если Петя ее обидит (P), она будет продолжать улыбаться (Q) – Хотя Петя ее обидит (P), она будет продолжать улыбаться (Q).*

Фразы в каждой паре описывают, вообще говоря, одно и то же положение дел. В (61) это ‘Коля опоздает’ и ‘Колю не оштрафуют’; в (62): ‘Петя ее обидит’, ‘она будет

[21] В примерах типа *Если он ее обидит, она перестанет улыбаться – Если он ее обидит, она будет продолжать улыбаться* компонент ‘не’ выражен не отдельным словом, а «запрятан» в значение лексемы *продолжать* = ‘не переставать’.

продолжать улыбаться'. Поэтому союз *если* в подобных контекстах даже признается «эквивалентом уступительного союза» [Грамматика-80: 588]. Однако фразы внутри данных пар равнозначны лишь ситуативно. Союзы *если* и *хотя* выражают в них разную семантику. Союз *хотя* указывает на то, что ситуация типа P обычно влияет на положение дел и препятствует существованию ситуации Q, при этом Q имеет место вопреки препятствию. Иными словами, союз *хотя* указывает на нарушение обычного положения вещей (подробнее о союзе *хотя* см. [Урысон 2002]). Союз *если* семантически гораздо беднее: он не содержит указания на обычное положение дел и отклонение от него. Рассмотрим это подробнее.

Сравним следующие высказывания:

(63) *Если он сделает что-нибудь не так (P), мама его простит (Q).*
(64) *Хотя он сделает что-нибудь не так (P), мама его простит (Q).*

Одно из различий между этими фразами очевидно: в высказывании с *хотя* утверждается, что субъект сделает что-нибудь не так, а в высказывании с *если* та же пропозиция P выражает всего лишь предположение говорящего. Это различие целиком обусловлено описанной выше семантикой союза «*если* гипотезы». Но между примерами (63) и (64) есть и другое, более тонкое различие, не связанное с идеей предположения, выражаемой *если*. Оно состоит в следующем.

Союз *хотя* указывает на то, что ситуация 'он сделает что-нибудь не так' – это обычная, нормальная причина наказания субъекта, а ситуация 'мама его простит' в данном случае имеет место вопреки обычному, принятому положению вещей. Такова часть значения, выражаемого примером (64). Разумеется, подобные «законы мира» известны людям не только из языка, но и из самой жизни – это так называемая «наивная энциклопедия». В данном случае союз *хотя* отсылает к «наивной энциклопедии». Что касается союза *если* во фразе (63), то сам по себе он не содержит никакого подобного указания. Скорее наоборот, в высказывании (63) указываются две возможности: 'простят' – 'не простят', причем ситуация 'мама его простит' воспринимается как более нормальная, естественная, а не как нарушение «житейских закономерностей». Аналогичным образом обстоит дело и в примерах внутри пар (61) и (62): в высказываниях с *хотя* информация о нарушении обычного порядка вещей выражается самим союзом, а кроме того она известна из «наивной энциклопедии», а во фразах с *если* союз этой информации не выражает.

Попытаемся понять, что выражает союз *если* в подобных контекстах.

Ситуация P в случае (v) мыслится как некая возможная причина или возможное условие другой ситуации: опоздание – обычно причина штрафа, обида лишает человека возможности улыбаться и т. п. Суть в том, что эта причина (или условие) остаются потенциальными: ситуация P не влияет на положение дел. Тем не менее, ситуация P, подобно «настоящей» причине, всегда вводится союзом *если* – иной порядок пропозиций радикально меняет смысл высказывания или же приводит к почти абсурдному результату. Ср.: *Если он ей опять изменит, она его простит* [измена не влияет на положение дел] vs. *Если она его простит, он ей опять изменит* [полученное прощение влияет на положение дел, так что человек опять изменяет]; *Если Петя опоздает, его не оштрафуют* [опоздание не влияет на положение дел] vs. *Если Петю не оштрафуют, он опоздает* [прагматически странное высказывание, с трудом поддающееся осмыслению].

Быть может, союз *если* указывает на то, что ситуация P не влияет на положение дел? Мы вынуждены признать, что в семантику *если* это указание не входит – соответствующая информация передается контекстом. Что же остается на долю союза?

В примерах типа *Если он опоздает, его не оштрафуют*, безусловно, обозначена какая-то связь между P и Q, причем эта связь как будто имеет отношение к каузальной зависимости, но при этом она таковой не является. Перед нами какая-то самая естественная, понятная связь между ситуациями: P – это некоторая «исходная» ситуация, отправная точка нашей гипотезы, а Q – развитие гипотезы, то положение дел, которое имеет место в ее рамках. Язык использует для обозначения такой связи между ситуа-

циями союз *если*: *Если P, то Q*. Мы, однако, не находим в языке никакого знаменательного, т.е. не служебного слова для обозначения этой связи. Тем самым, данная связь между ситуациями не поддается экспликации – она может быть обозначена только самим союзом *если*. Эта связь отчасти напоминает каузальную, но ее невозможно описать в привычных терминах каузальной зависимости. Мы можем дать ей лишь условное название, например такое: «псевдозависимость ситуации Q от ситуации P». Но разумеется, это только ярлык, а не экспликация семантики союза *если* в данном типе высказываний. Мы не можем истолковать союз *если* в контекстах типа (v) через более простые понятия.

Вернемся к нашей попытке толкования союза «*если* гипотезы» – к выражению (III). Для того чтобы учесть контексты (v), это выражение нужно дополнить. Требуется ввести в список связей между ситуациями P и Q указание на тип связи между ситуациями в этих контекстах. Обсуждаемый компонент мог бы иметь такой вид: 'имеет место псевдозависимость ситуации Q от ситуации P'.

(Соответствующим образом требуется дополнить и выражение (II), описывающее ирреальное *если бы*.)

Ясно, однако, что данное выражение не может быть компонентом аналитического толкования: обсуждаемый тип связи между ситуациями не определяется, а просто обозначается некоторым условным ярлыком. В семантике союза *если* выделяется специфический компонент, для выражения которого мы не находим в естественном языке никакого подходящего слова. Перед нами «довербальный семантический элемент». Слово «довербальный» не означает, что данный элемент исторически предшествует обычным семантическим компонентам (так же как слово *недоразвитый* не обозначает начальной или промежуточной стадии развития, после которой наступает норма). Определение «довербальный» указывает на специфическую природу данного элемента, на его особый статус в семантическом метаязыке: в естественном языке нет слова или морфемы для его выражения. Этим данный элемент принципиально отличается от тех элементов, которые обозначаются словами естественного языка.

Выделение довербального элемента в семантическом разложении слова ставит ряд теоретических проблем, которых мы коснемся ниже. Их подробное обсуждение содержится в работах [Урысон 2001; 2010б].

Но нужен ли вообще этот список связей между ситуациями P и Q? Быть может, этот реестр имеет отношение к логике, к нашим знаниям о мире, но не к языку? Не будь в экспликации союза *если* этого перечня, нам не понадобился бы и этот принципиально новый семантический объект.

Попытаемся описать союз *если* по-другому.

В высказываниях с *если* могут обозначаться две противоположные вещи: 'X' и 'не-X', ср.: 'влияет на положение дел' – 'не влияет на положение дел'. Следуя обычной логике лингвистического рассуждения, требуется признать, что данный каузальный компонент не релевантен для союза *если*. Тогда семантика *если* должна сводиться к выражению гипотезы, предположения говорящего. Ср. возможную экспликацию значения *если*:

(IV) *Если P, то Q [Если будут пробки (P), мы опоздаем на самолет (Q)]* ≈

(IVa) 'говорящий не знает, какая ситуация имеет место в описываемый отрезок времени';

(IVb) 'говорящий считает, что в этот отрезок времени возможна [= может иметь место] ситуация P, возможна [= может иметь место] ситуация не-P';

(IVc) 'говорящий представляет [≈ строит гипотезу]: имеет место ситуация P';

(IVd) 'говорящий представляет, что в рамках этой гипотезы имеет место ситуация Q'.

При таком подходе[22], однако, мы теряем важную информацию о том, что причина или условие, если они выражены в данном высказывании, всегда вводятся союзом *если*

[22] Он развивается В.З. Санниковым [Санников 2008]. Подробный разбор толкования союза *если*, предложенный В.З. Санниковым дан в работе [Урысон 2010б].

и не могут быть обозначены главным предложением. Действительно, высказывание вида *Если P, то Q* предполагает, что ситуация P никогда не каузируется ситуацией Q. Толкование (IV) этот факт не отражает. Исходя из данного толкования, получается, что нормальное высказывание *Если будет хорошая погода, мы пойдем гулять* синонимично абсурдному высказыванию *Если мы пойдем гулять, будет хорошая погода.* Но последнее высказывание абсурдно именно потому, что в нем выражена каузальная зависимость: получается, что наша прогулка влияет на погоду. Кроме того, остается без системного объяснения тот факт, что в некоторых контекстах союз *если* напоминает симметричный предикат, ср. квазисинонимичное преобразование: *Если сумма цифр будет четной, он меня любит – Если он меня любит, сумма цифр будет четной*. Между тем, в других случаях подобное преобразование недопустимо. Ср.: *Если будут пробки, мы опоздаем – Если мы опоздаем, будут пробки*. Тем самым, толкование союза *если*, игнорирующее его каузальную природу, оказывается неадекватным.

Итак, в толковании союза *если* необходимо отразить каузальную природу этого слова. Что касается типов каузальной связи между ситуациями P и Q, то их выделение необходимо для системного представления полисемии союза *если*, для описания союза *раз*, а также для анализа союза *хотя* [Урысон 2001; 2002; 2010б]. Как мы увидим чуть позже, оно необходимо и для описания семантики *даже если / если даже*.

Исходя из всего сказанного, предлагаем следующую экспликацию союза «*если* гипотезы».

(V) *Если P, то Q [Если будут пробки (P), мы опоздаем на самолет (Q)]* ≈

(Va) ‘говорящий не знает, какая ситуация имеет место в описываемый отрезок времени’;

(Vb) ‘говорящий считает, что в этот отрезок времени возможна [= может иметь место] ситуация P, возможна [= может иметь место] ситуация не-P’;

(Vc) ‘говорящий представляет [≈ строит гипотезу]: имеет место ситуация P’;

(Vd) ‘говорящий представляет, что в рамках этой гипотезы имеет место следующее:

(Vd-1) ситуация P является причиной или условием существования ситуации Q; поэтому имеет место ситуация Q;

или

(Vd-2) ситуация P, не являясь причиной или условием существования ситуации Q, влияет на имеющееся положение дел; в результате имеет место ситуация Q;

или

(Vd-3) существует некоторая ситуация n, влияющая на имеющееся положение дел; в результате имеют место ситуации P и Q; они вызваны одной и той же причиной n или возникают в результате одного и того же условия n;

или

(Vd-4) имеет место ситуация Q’; «псевдозависимость ситуации Q от ситуации P».

Мы намеренно заключаем последний компонент в обычные, немарровские, кавычки: этим подчеркивается его особая природа – перед нами не компонент аналитического толкования, а довербальный, долексемный семантический элемент, которому мы можем дать лишь условный ярлык. (Аналогичным образом изменяется и дополняется толкование ирреального союза *если бы*.)

Заметим, что другие лексемы союза *если* (и их модификации), кратко рассмотренные в разделе 2.1, отличаются от данной лексемы «игрой» компонентов (a)–(d), что и подтверждает необходимость их выделения в значении *если* [Урысон 2001; 2010б].

Выражение (V) содержит метку некоторого смысла вместо его ясной экспликации: выражаясь языком Московской семантической школы, данный компонент «не вербализуем». Следовательно, данное выражение не может претендовать на статус толкования – это всего лишь некая дескрипция союза *если*. Добавим, что в этом выражении фигурируют слово *гипотеза* и выражения *строить гипотезу, в рамках этой гипотезы*, которые семантически несомненно богаче служебного слова *если*, а кроме того сти-

листически отмечены как книжные. Мы, однако, не можем заменить в предлагаемой дескрипции эти слова более простыми. Тем самым, наше описание подтверждает вывод А. Вежбицкой: «смысл *если* не может быть получен <...> из более простых понятий» [Вежбицкая 1996а: 295][23]. Но при этом мы выделяем в составе *если* вполне четкие компоненты, из которых только один действительно не поддается экспликации.

Предлагаемая декомпозиция союза *если* заставляет пересмотреть некоторые положения теоретической семантики, принятые в Московской семантической школе. Коснемся поэтому теории.

Краткий экскурс в теоретическую семантику

В теории семантических примитивов, принятой в Московской семантической школе, в качестве метаязыка семантики используется естественный язык. Точнее, семантический метаязык – это подъязык естественного языка, состоящий из относительно небольшого числа слов, взятых в их центральном значении, и достаточно простых однозначных синтаксических конструкций [Апресян 1974; 1980; 1994; 2009]. В этом подъязыке выделяется особая группа лексем, составляющая исходный словарь метаязыка толкований. Эти лексемы участвуют в толковании других лексем, но сами не определяются ни через какие единицы языка, т.е. являются неразложимыми. Поэтому их называют семантическими примитивами. Все другие единицы языка сводимы к семантическим примитивам, т.е. могут быть истолкованы через них (если не непосредственно, то на каком-то шаге разложения).

Замечание.

В концепции А. Вежбицкой к семантическому примитиву предъявляется еще одно требование. А. Вежбицкая считает, что семантический примитив представляет собой некий универсальный смысл, который поэтому во всех языках имеет материальное воплощение. В работе [Wierzbicka 1980] это требование представлено в «сильной» формулировке: семантический примитив во всех языках оформляется как отдельная лексема. Заметим, что по данным, приводимым в работе [Храковский 1998], во многих языках – тюркских, эскимосо-алеутских, тунгусо-маньчжурских – условного союза как такового нет: показателем условной связи в них служат различные глагольные формы, ср. для иллюстрации русск. *Будь ты похитрей (P), давно ходил бы в начальниках (Q)*. Тем самым, условный союз типа русского «*если* гипотезы» не удовлетворяет сильному требованию универсальности. Позднее А. Вежбицкая сформулировала это требование в более слабой форме: примитивы могут выражаться не только отдельными словами, но и частями слов, а также сочетаниями слов [Wierzbicka 1992]. «Слабому» требованию универсальности союз типа *если* вполне удовлетворяет. В дальнейшем требование универсальности нами не рассматривается.

Долгое время считалось, что в языке не существует никаких нетолкуемых лексем, кроме семантических примитивов. Иными словами, подразумевалось, что каждая нетолкуемая лексема участвует в толковании других единиц языка. Ясно, однако, что нетолкуемость и участие в толковании значения других слов – это два логически независимых требования. Поэтому можно ожидать, что найдется нетолкуемая лексема, не являющаяся семантическим примитивом.

Такие лексемы были впервые подробно описаны Ю.Д. Апресяном – это лексемы, являющиеся близкими синонимами семантического примитива. В работе [Апресян 1994] сравниваются лексемы *хотеть* (семантический примитив) и *желать*. Лексема *желать* столь мало отличается от семантического примитива *хотеть*, что, подобно ему, не мо-

[23] Заметим, что А. Вежбицкая сначала не считала союз *если* семантическим примитивом, причем толковала его через семантический компонент 'imagine' [Wierzbicka 1972]. Однако в дальнейшем А. Вежбицкая пришла к выводу, что смысл 'если' проще, нежели смысл 'imagine' [Wierzbicka 1997].

жет быть истолкована. В частности, ее невозможно толковать через значение ‘хотеть’ и значение еще какой-то лексемы. Глагол *хотеть* выбирается на роль семантического примитива только потому, что он более нейтрален и семантически менее специфичен, т. е. больше подходит для толкования других слов. Аналогичным образом отличается и, например, семантический примитив *считать, что...* от своих близких синонимов *думать, что..., полагать, что...* [Апресян 2009]. Ряд других нетолкуемых лексем, не являющихся семантическими примитивами, т.е. не участвующих в толковании других слов, описан в работах [Урысон 2000; 2004б; 2006].

В целом, граница между семантическими примитивами и «обычными» лексемами оказывается не такой четкой, как это представлялось когда-то. Ее размывают нетолкуемые лексемы, не являющиеся примитивами [Урысон 2001; Апресян 2009].

Сейчас, однако, нас интересует требование семантической неразложимости, предъявляемое к семантическим примитивам.

Семантическая неразложимость языковой единицы – это невозможность представить ее значение на предназначенном для этого семантическом метаязыке. Поскольку в современной семантической теории в качестве метаязыка используется естественный язык, то неразложимость лексемы (или другой языковой единицы) – это невозможность представить ее значение в виде выражения на естественном языке. Однако Ю.Д. Апресян продемонстрировал, что семантический примитив, т.е. лексема, неразложимая по определению, неэлементарен – он может иметь весьма богатое и сложное значение [Апресян 1979]. В работе [Апресян 1994] этому факту дается теоретическое объяснение. Оно состоит в следующем.

Возьмем глаголы *хотеть* и *желать*. Они синонимичны, и, следовательно, в их значении есть общая часть. При этом *хотеть* является семантическим примитивом, а *желать* – настолько близкий его синоним, что тоже нетолкуем. Однако *хотеть* и *желать* не абсолютные синонимы. В значении *хотеть* и *желать* есть некая «ядерная» часть, общая для данных синонимов, и какие-то более мелкие семантические компоненты, семантические «добавки», создающие специфичный семантический ореол каждого из этих слов. При этом все компоненты, выделяемые внутри семантического примитива *хотеть* и его синонима *желать* (а это их «ядерная» часть и «мелкие добавки»), не толкуемы – их нельзя представить через более простые понятия. Разумеется, их можно описать с помощью разного рода дескрипций, но эти дескрипции не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к аналитическим толкованиям. Такие «невербализуемые» семантические компоненты, более мелкие, чем значение любой лексемы естественного языка, Ю.Д. Апресян назвал «семантическими кварками». В соответствии с концепцией Ю.Д. Апресяна, семантический примитив разложим: в его составе выделяются кварки.

Сразу сделаем одно терминологическое замечание. Наш довербальный семантический элемент, выделенный в семантике «*если* гипотезы», – это кварк Ю.Д. Апресяна, как он понимается в работе [Апресян 1994]. Однако Ю.Д. Апресян относит к семантическим кваркам и полувспомогательные глаголы типа *оказывать*, т. е. обычные языковые единицы, обладающие планом выражения, а значит вполне «вербализуемые» [Апресян 2004б]. Поскольку кварк Ю.Д. Апресяна, вообще говоря, может обозначаться какой-то лексемой, а для довербального семантического элемента это исключено, мы не пользуемся термином «кварк».

Вернемся к союзу *если*. В лексеме «*если* гипотезы», наряду с довербальным семантическим компонентом, выделяются и вполне вербализуемые компоненты: ‘знать’, ‘не знать’, ‘считать’, ‘быть возможным’. Как показано в работах [Урысон 2001; 2010б], без выделения этих компонентов не удалось бы представить в системном виде структуру многозначности слова *если* – именно «игра» этих компонентов создает полисемию этого союза. Следовательно, в значении нетолкуемой лексемы могут выделяться не только «кварки», но и вполне обычные семантические компоненты.

Внимательное рассмотрение союза *если* опровергает еще одну гипотезу о семантической организации лексического значения. Эта гипотеза состоит в том, что кварки, т.е. довербальные семантические элементы, могут играть лишь весьма специфическую

роль в семантической структуре лексемы [Апресян 1994; 2009]. Кварки одного типа создают семантический «ореол» лексемы (ср. различия между *хотеть* и *желать* или между *считать, что...*, *думать, что...* и *полагать, что...*). Кварк другого типа – это так называемый нетривиальный семантический признак, например «стативность» или «акциональность» [Апресян 1980]. Подобный кварк входит в семантику целой группы слов: «стативность» – это часть значения стативов, «акциональность» – часть семантики акциональных глаголов и т.п. Благодаря этому компоненту семантики, данная группа лексем обладает «сходством реакций <...> на другие языковые единицы разных уровней (морфологического, синтаксического, семантического)» [Апресян 1994: 482].

Описание союза *если* показало, что довербальный семантический компонент в его структуре занимает такое же место, что и обычные семантические компоненты. В частности, довербальный элемент участвует в дизъюнктивно-организованном значении на равных правах с обычными семантическими компонентами.

Заметим, что мы столкнулись с подобными долексемными семантическими элементами, описывая ряд других русских союзов [Урысон 2000; 2002; 2003б]. Оказалось, что выделение довербальных семантических элементов необходимо для описания и знаменательных слов, в том числе, не являющихся семантическими примитивами; см. анализ имен действия в работах [Урысон 1996; 2003а] и описание семантики слова *взгляд* в [Урысон 1998; 2003а].

Исходя из предложенного анализа союза *если*, мы предлагаем различать два свойства лексемы: толкуемость и разложимость. Разложимость – более слабое свойство. Естественно считать, что лексема семантически разложима, если в ней выделяется хотя бы один семантический компонент. Такой семантический компонент может быть довербальным семантическим элементом, меньшим, чем любая лексема естественного языка. Однако это необязательно: такой семантический компонент может быть и вполне вербализуемым. Ср. перечисленные выше компоненты, выделяемые в семантике союза *если*.

Теоретически возможны следующие ситуации:

1) лексема толкуема (таково большинство лексем естественного языка);

2) лексема нетолкуема и неразложима, т.е. представляет собой «семантический монолит» (в настоящее время нам неизвестны такие единицы);

3) лексема нетолкуема, но разложима; при этом в значении лексемы могут выделяться только довербальные семантические элементы, ср. *желать*, или и довербальные, и вполне обычные компоненты, ср. «*если* гипотезы». (Такая лексема может быть объявлена семантическим примитивом.)

Можно предположить, что «довербальные семантические элементы», выделяемые для системного описания фактов языка, обладают психологической реальностью. Можно думать, что на каком-то этапе «довербальные семантические элементы» участвуют в формировании смысла высказывания и лишь затем этот первичный смысл превращается в вербализуемое семантическое представление высказывания.

Теперь мы можем перейти к анализу *даже если / если даже*.

3. КОМПОЗИЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ *ДАЖЕ ЕСЛИ / ЕСЛИ ДАЖЕ*

Для простоты изложения разделим контексты с союзом «*если* гипотезы» на два класса.

Первый класс – это каузальные контексты, ср.: *Если будут пробки, мы опоздаем на самолет*; *Мы пойдем купаться, если будет хорошая погода*; *Если к нам приедут гости (P), мы отведем им самую лучшую комнату (Q)*; *Если американцы первыми полетят на Марс (P), они и на Венеру полетят первыми (Q)*. В этих контекстах союз *если* указывает на каузальную зависимость между ситуациями. В них реализуются компоненты (d1)–(d3) выражения (V), т. е. каузальная модификация союза «*если* гипотезы».

Второй класс – это некаузальные контексты с «*если* гипотезы». Ср.: *Если он ее обидит, она его простит*; *Если Петя опоздает, его не оштрафуют* и т. п. В этих контек-

стах нет указания на каузальную зависимость между ситуациями. Здесь реализуется некаузальная модификация союза «*если* гипотезы», содержащая довербальный компонент значения союза, условно названный «псевдозависимость» одной ситуации от другой.

Начнем наше рассуждение с некаузальных контекстов. Будем заменять в этих контекстах союз *если* на *даже если / если даже*. Ср.:

(65) *Если Петя ее обидит, она его простит.*
(66) *Даже если <если даже> Петя ее обидит, она его простит.*

Попытаемся описать семантическую структуру полученного высказывания.

Высказывание с *даже*, как и исходное, описывает не реальное и даже не вымышленное положение дел, а гипотезу, предположение говорящего. Тем самым, в семантическую структуру этого примера входят следующие компоненты, выражаемые союзом «*если* гипотезы»:

(67) 'говорящий не знает, какая ситуация имеет место в описываемый отрезок времени; говорящий считает, что в этот отрезок времени возможна [= может иметь место] ситуация P, возможна [= может иметь место] ситуация не-P; говорящий представляет [≈ строит гипотезу]: имеет место ситуация P; говорящий представляет, что в рамках этой гипотезы имеет место следующее'.

Высказывание с *даже если* отличается от высказывания с *если* не этими компонентами, а содержанием гипотезы. Данный смысл представляется так:

(68)
(i) 'ситуация 'Петя ее обидит' могла бы повлиять на положение дел; в результате не имела бы место ситуация 'она его простит';
(ii) ситуация 'Петя ее обидит' не влияет на положение дел; в результате имеет место ситуация 'она его простит';
(iii) другие подобные ситуации не влияют на положение дел; можно было с бóльшим основанием ожидать, что другие ситуации не влияют на положение дел, чем то, что ситуация 'Петя ее обидит' не влияет на положение дел'.

В общем виде, *даже если / если даже* в некаузальном контексте выражает следующее значение:

(VI) *Даже если <если даже> P, Q* =
(VIa) 'говорящий не знает, какая ситуация имеет место в описываемый отрезок времени';
(VIb) 'говорящий считает, что в этот отрезок времени возможна [= может иметь место] ситуация P, возможна [= может иметь место] ситуация не-P';
(VIc) 'говорящий представляет [≈ строит гипотезу]: имеет место ситуация P';
(VId) 'говорящий представляет, что в рамках этой гипотезы имеет место следующее:
(VId-i) ситуация P могла бы влиять на положение дел; в результате не имела бы место ситуация Q;
(VId-ii) ситуация P не влияет на положение дел; в результате имеет место ситуация Q;
(VId-iii) другие подобные ситуации не влияют на положение дел; можно было с бóльшим основанием ожидать, что другие ситуации не влияют на положение дел, чем то, что ситуация P не влияет на положение дел'.

Ясно, что компонент (VId-iii) – это та модальная семантика, которую выражает частица *даже*. А чему обязаны своим существованием компоненты (VId-i) и (VId-ii)? В некаузальной модификации союза «*если* гипотезы» этих компонентов нет. На первый взгляд, перед нами то нестандартное наращение смысла, благодаря которому семантика сочетания *даже если* не сводима к сумме значений его составных частей *даже* и *если*. Однако это не так.

Сравним еще раз некаузальную модификацию «*если* гипотезы» с толкованием *даже если*. Обсуждаемые компоненты (VId-i) и (VId-ii) этого толкования соответствуют довербальному семантическому элементу «псевдозависимость ситуации Q от ситуации P» в разложении «*если* гипотезы». Однако мы видим, что этот компонент существенно изменился и обогатился. Попытаемся показать, что это обогащение семантики вполне системно.

Чем различаются каузальная и некаузальная модификации союза *если*? В самом общем виде, каузальная модификация указывает на влияние некоторой ситуации на положение дел, а некаузальная модификация такого указания не содержит. Иными словами, довербальный семантический элемент «псевдозависимость ситуации Q от ситуации P» естественно интерпретировать как отсутствие указания на каузальную зависимость.

Противопоставление 'утверждение A – отсутствие утверждения A' весьма распространено в системе языка: как заметил Р. Якобсон, оно лежит в основе различения маркированных и немаркированных грамматических категорий [Якобсон 1972]. При этом значение 'отсутствие утверждения A' само по себе достаточно бедно – оно не несет никакой позитивной информации. В связи с этим данное значение претерпевает системный сдвиг: 'отсутствие утверждения A' – 'отсутствие A', т.е. 'не-A'. Процитируем Р. Якобсона: «Общее значение маркированной категории состоит в утверждении наличия некоторого (положительного или отрицательного) свойства A; общее значение соответствующей немаркированной категории состоит в отсутствии утверждения относительно наличия A; она употребляется главным образом, хотя и не исключительно, для указания на отсутствие A (подчеркнуто мною. – *Е.У.*) <...> Когда речь идет об общем значении данной категории, это противопоставление может быть интерпретировано как "утверждение A – отсутствие утверждения A", тогда как на уровне более узких, специализированных (nuclear) значений мы имеем дело с противопоставлением "утверждение A – утверждение не-A"» [Якобсон 1972: 102–103].

Итак, отсутствие указания на каузальную зависимость закономерно интерпретируется как указание на отсутствие такой зависимости. Следовательно, довербальный семантический элемент «псевдозависимость ситуации Q от ситуации P» естественно переосмысляется как указание на отсутствие каузальной зависимости, ср. компонент (VId-ii) в толковании *если даже*.

Но компонент (VId-ii) содержит отрицательную пропозицию: 'ситуация P не влияет на положение дел'. Между тем хорошо известно, что отрицательное высказывание 'не-S', например, *Дождь не кончился*, уместно лишь в случае ожидания, что имеет место S (мы ожидали, что дождь кончился) – иначе нечего отрицать. Иными словами, высказывание 'не-S' имеет пресуппозицию: 'можно было ожидать, что имеет место S'. Значит, такую пресуппозицию имеет и обсуждаемый компонент (VId-ii) 'ситуация P не влияет на положение дел'. Эта пресуппозиция наиболее естественно формулируется так: 'ситуация P могла бы повлиять на положение дел; в результате не имела бы место ситуация Q'. А это и есть компонент (VId-i) толкования *даже если*.

Итак, хотя в рассмотренных нами некаузальных контекстах семантика *даже если* существенно богаче семантики составных частей 'даже' и 'если', однако это обогащение семантики вполне системно и выводимо по общим закономерностям из семантики некаузальной модификации *если*.

Действительно, в некаузальном контексте *Если P, Q* речь идет о том, что ситуация P не влияет на положение дел. Естественным образом, в соответствующем контексте с *даже если / если даже* утверждается, что не только P, но и никакая другая ситуация не влияет на положение дел – таков вклад в рассматриваемую единицу частицы *даже*.

Перейдем теперь к каузальным контекстам с *если*. Ср.: *Если будут пробки, мы опоздаем на самолет*. Что происходит в таком контексте при введении в него частицы *даже*? С логической точки зрения, можно было бы ожидать, что в подобных контекстах с *даже если / если даже* речь идет о том, что на положение дел влияет не только данная

ситуация P, но и вообще любая ситуация. Иными словами, можно было бы ожидать, что двум модификациям *если* – некаузальной и каузальной – соответствуют и два разных понимания *даже если / если даже*.

Однако язык устроен проще. *Даже если / если даже* во всех контекстах понимается одинаково и указывает на то, что и P, и никакая другая ситуация не влияют на положение дел. Это значит, что в контексте частицы *даже* всегда реализуется некаузальная модификация *если*. Эта некаузальная модификация и в данном случае обогащается по предложенной выше схеме.

Теперь ясно, почему *даже если / если даже* в каузальном контексте отрицательно поляризовано, ср.: *Даже если будут пробки, мы не опоздаем на самолет*. Ведь в таком контексте должно быть выражено отрицание пропозиции 'ситуация влияет на положение дел'. Естественное обозначение отрицания – частица *не*.

Отметим еще некоторые особенности, отличающие *даже если / если даже* от союза «*если* гипотезы», не сопровождаемого частицей *даже*.

Даже если / если даже, в отличие от *если*, тяготеет к контекстам, выражающим непосредственную каузацию, и затруднено в контекстах, обозначающих каузацию косвенную. Нормальны высказывания:

(69) *Даже если <если даже> будут пробки, мы не опоздаем* [пробки – причина опоздания].
(70) *Даже если <если даже> они будут в Париже, они по музеям ходить не будут* [пребывание в Париже – условие посещения парижских музеев].
(71) *Даже если <если даже> американцы первыми полетят на Марс, на Венере они первыми не будут* [первенство в обоих космических полетах обусловлено одним фактором – высоким уровнем развития науки и техники].

Подобные высказывания можно рассматривать как результат замены союза *если* на *даже если / если даже*.

Возьмем, однако, высказывания с *если*, в которых речь идет о некотором общем влиянии ситуации P на положение дел, одним из результатов которого является существование ситуации Q. Ср.:

(45) *Если дети пойдут в поход (P), они обязательно возьмут с собой гитару (Q).*
(46) *Если у них родится мальчик (P), они назовут его Иваном (Q)* [пример В.З. Санникова].
(47) *Если к нам приедут гости (P), мы отведем им самую лучшую комнату (Q).*

В этих контекстах замена *если* на *даже если / если даже* затруднена: она требует либо контрастного противопоставления, либо ведет к аномальному результату. Ср.:

(72) *Даже если дети пойдут в поход, а не в гости (P), они обязательно возьмут с собой гитару (Q).*
(73) ??*Даже если у них родится мальчик (P), они назовут его Иваном (Q).*
(74) ??*Даже если к нам приедут гости (P), мы отведем им самую лучшую комнату (Q).*

Отсюда, между прочим, следует необходимость различать выделенные выше типы связей между ситуациями (i)–(iv). Предложенное выше толкование (VI) не учитывает этого. Более точное толкование:

(VII) *Даже если <если даже> P, Q* =
(VIIa) 'говорящий не знает, какая ситуация имеет место в описываемый отрезок времени';
(VIIb) 'говорящий считает, что в этот отрезок времени возможна [= может иметь место] ситуация P, возможна [= может иметь место] ситуация не-P';
(VIIc) 'говорящий представляет [≈ строит гипотезу]: имеет место ситуация P';
(VIId) 'говорящий представляет, что в рамках этой гипотезы имеет место следующее:

(VIId-1) ситуация P могла бы быть причиной или условием существования ситуации Q; поэтому имела бы место ситуация Q;

или

(VIId-3) могла бы иметь место некоторая ситуация n, влияющая на имеющееся положение дел; в результате имели бы место ситуации P и Q;

(VIId-3i) ситуация P не влияет на положение дел; не имеет место никакая ситуация n, влияющая на имеющееся положение дел, в результате чего имели бы место ситуации P и Q;

(VIId-3ii) другие подобные ситуации не влияют на положение дел;

(VIId-3iii) можно было с бóльшим основанием ожидать, что другие ситуации не влияют на положение дел, чем то, что ситуация P не влияет на положение дел'.

Итак, на наш взгляд, семантика сочетания *даже если / если даже* вполне выводима из значений его составных частей 'если' и 'даже'. Специфика его состоит, прежде всего, в том, что союз *если* в контексте этого сочетания всегда выступает в своей некаузальной модификации. Этот факт должен быть отражен в описании союза *если*. Кроме того, семантика *если* в этом сочетании претерпевает системное обогащение вида: «отсутствие утверждение A» – «утверждение отсутствия A». Тем самым, сочетание *даже если / если даже* может быть описано в словаре в правилах выбора реализации того или иного дизъюнктивного компонента значения союза *если*.

Напомним, что сочетание слов может рассматриваться как лексическая единица и, тем самым, иметь отдельный словарный вход только в одном случае: если данное сочетание слов является несвободным. При этом различаются разные степени несвободы сочетания слов [Мельчук 1995]. С теоретической точки зрения, *даже если / если даже* – это составной союз in statu nascendi. Он занимает промежуточное положение между свободным сочетанием слов (ср. *кормить молоком*) и квазифраземой (ср. *кормить грудью*).

С практической точки зрения *даже если / если даже* часто рассматривают как единицу, входящую в семантическое поле языковых средств, выражающих уступительную или условно-уступительную семантику. Такой подход принят, в частности, в академической грамматике [Грамматика-80], в функциональной грамматике, в типологических исследованиях [Храковский 2004], в работе [В. Апресян 2006]. Подобный функциональный подход не отменяет, однако, теоретических проблем отграничения слова от словосочетания.

Даже если / если даже – замечательный пример союза in statu nascendi. Значение составного союза не сводимо к сумме значений слов, из которых он состоит, однако некоторые особенности поведения такого союза объясняются спецификой его компонентов, т.е. выявляются благодаря композициональному анализу. Таковы, например, союзы *а то* и *а не то* [Урысон 2010а]. Принципиально иначе устроено сочетание *даже если / если даже*: его композициональный анализ позволяет не только объяснить особенности его поведения, но и описать всю его семантику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абаев 1934 – *В.И. Абаев*. Язык как идеология и язык как техника // Язык и мышление. Л., 1934.

Апресян 1974 – *Ю.Д. Апресян*. Лексическая семантика. М., 1974.

Апресян 1979 – *Ю.Д. Апресян*. Английские синонимы и синонимический словарь // Англо-русский синонимический словарь. М., 1979.

Апресян 1980 – *Ю.Д. Апресян*. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «СМЫСЛ ↔ ТЕКСТ» [цит. по переизданию: *Ю.Д. Апресян*. Избранные труды. Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография. М. 1995.]

Апресян 1994 – *Ю.Д. Апресян*. О языке толкований и семантических примитивах // ИАН СЛЯ. 1994. № 4.

Апресян 2004а – *Ю.Д. Апресян*. Лингвистическая терминология словаря // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общ. рук. Ю.Д. Апресяна. 2-е изд., испр. и доп. М.; Вена, 2004.

Апресян 2004б – *Ю.Д. Апресян*. Акциональность и стативность как сокровенные смыслы (охота на *оказывать*) // Сокровенные смыслы. М., 2004.
Апресян 2009 – *Ю.Д. Апресян*. Исследования по семантике и лексикографии. Т. 1. Парадигматика. М., 2009.
Арутюнова 1970 – *Н.Д. Арутюнова*. Некоторые типы диалогических реакций и «почему»-реплики в русском языке // ФН. 1970. № 3 (57).
Балли 2001 – *Ш. Балли*. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 2001.
Богуславский 1985 – *И.М. Богуславский*. Исследования по синтаксической семантике. М., 1985.
В. Апресян 2006 – *В.Ю. Апресян*. Уступительность в языке // Языковая картина мира и системная лексикография / Отв. ред. Ю.Д. Апресян. М., 2006.
Вежбицкая 1996а – *А. Вежбицкая*. Язык. Культура. Познание. М., 1996.
Вежбицкая 1996б – *А. Вежбицкая*. Семантика «логических понятий» // Московский лингвистический журнал. 1996. Т. 2.
Гладкий 1982 – *А.В. Гладкий*. О значении союза «если» // Семиотика и информатика. Вып. 18. М., 1982.
Грамматика-80 – Русская грамматика. Т. I–II. М., 1980.
Евтюхин 1996 – *В.Б. Евтюхин*. Группировка полей обусловленности: причина, условие, цель, следствие, уступка // Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. СПб., 1996.
Жолковский 1964 – *А.К. Жолковский*. Лексика целесообразной деятельности // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 8. М., 1964.
Завьялов 2008 – *В.Н. Завьялов*. Морфологические и синтаксические аспекты описания структуры русских союзов. Хабаровск, 2008.
Иорданская 1988 – *Л.Н. Иорданская*. Семантика русского союза *раз* (в сравнении с некоторыми другими союзами) // RLing. 1988. V. 12. № 3.
Иорданская, Мельчук 1996 – *Л.Н. Иорданская, И.А. Мельчук*. К семантике русских причинных предлогов (*ИЗ-ЗА любви – ОТ любви – ИЗ любви – *С любви – ПО любви*) // Московский лингвистический журнал. 1996. Т. 2.
Иорданская, Мельчук 2007 – *Л.Н. Иорданская, И.А. Мельчук*. Смысл и сочетаемость в словаре. М., 2007.
Крейдлин 1975 – *Г.Е. Крейдлин*. Лексема «даже» // Семиотика и информатика. 1975. № 6.
Латышева 1982 – *А.Н. Латышева*. О семантике условных, причинных и уступительных союзов в русском языке // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1982. № 5.
Левонтина 2004 – *И.Б. Левонтина. ИЗ-ЗА 4, ИЗ 8.1, ОТ 6, ПО I.7, С I.10, ЗА II.8, БЛАГОДАРЯ, ПО ПРИЧИНЕ, ВСЛЕДСТВИЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ, ВВИДУ, В СИЛУ* // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общ. рук. Ю.Д. Апресяна. 2-е изд., испр. и доп. М.; Вена, 2004.
Ляпон 1986 – *М.В. Ляпон*. Смысловая структура сложного предложения и текст. К типологии внутритекстовых отношений. М., 1986.
Мельчук 1974 – *И.А. Мельчук*. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл ⇔ Текст». М., 1974.
Мельчук 1995 – *И.А. Мельчук*. Русский язык в модели «Смысл ⇔ Текст». М., 1995.
Падучева 1985 – *Е.В. Падучева*. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.
Падучева 2004 – *Е.В. Падучева*. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
Разлогова 1988 – *Е.Э. Разлогова*. Эксплицитные и имплицитные пропозициональные установки в причинно-следственных и условных конструкциях // Логический анализ языка: Знание и мнение. М., 1988.
Санников 2008 – *В.З. Санников*. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве. М., 2008.
Томмола 2004 – *Х. Томмола*. Даже если в масле поджарить... (Об условной уступке) // Типологические обоснования в грамматике. М., 2004.
Урысон 1996 – *Е.В. Урысон*. Синтаксическая деривация и «наивная» картина мира // ВЯ. 1996. № 4.
Урысон 1998 – *Е.В. Урысон*. Языковая картина мира vs. обиходные представления (модель восприятия в русском языке) // ВЯ. 1998. № 2.
Урысон 2000 – *Е.В. Урысон*. Русский союз и частица *И*: структура значения // ВЯ. 2000. № 3.
Урысон 2001 – *Е.В. Урысон*. Союз *если* и семантические примитивы // ВЯ. 2001. № 4.
Урысон 2002 – *Е.В. Урысон*. Союз *ХОТЯ* сквозь призму семантических примитивов // ВЯ. 2002. № 6.

Урысон 2003а – *Е.В. Урысон*. Проблемы исследования языковой картины мира: Аналогия в семантике. М. 2003.
Урысон 2003б – *Е.В. Урысон*. Семантическая и валентная структура слов с уступительным значением // Русский язык в научном освещении. 2003. № 6.
Урысон 2004а – *Е.В. Урысон. РАЗ[3]1, ЕСЛИ 2.1* // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общ. рук. Ю.Д. Апресяна. 2-е изд., испр. и доп. М.; Вена, 2004.
Урысон 2004б – *Е.В. Урысон*. Некоторые значения союза *А* в свете современной семантической теории // Русский язык в научном освещении. 2004. № 2.
Урысон 2006 – *Е.В. Урысон*. Семантика союза *НО*: данные языка о деятельности сознания // ВЯ. 2006. № 5.
Урысон 2010а – *Е.В. Урысон*. Составные союзы *А ТО* и *А НЕ ТО*: возможности семантического композиционного анализа // ВЯ. 2010. № 1.
Урысон 2010б – *Е.В. Урысон*. Союзы *если, когда* и *раз*: попытка сопоставительного семантического анализа // Русский язык в научном освещении. 2010. № 1.
ФЭС – Философский энциклопедический словарь. М. 1983.
Храковский 1998 – *В.С. Храковский*. Теоретический анализ условных конструкций (семантика, исчисление, типология) // Типология условных конструкций / Отв. ред. В.С. Храковский. М., 1998.
Храковский 2004 – *В.С. Храковский* (ред.). Типология уступительных конструкций. М., 2004.
Якобсон 1972 – *Р. Якобсон*. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972. [пер. с англ.]
Athanasiadou, Dirven 1997 – *A. Athanasiadou, R. Dirven*. Conditionality, hypotheticality, counterfactuality // A. Athanasiadou, R. Dirven R. (eds.). On conditionals again. Amsterdam; Philadelphia, 1997.
Comrie 1986 – *B. Comrie*. Conditionals: a typology // E. Traugott, A. ter Meulen, J.Sn. Reilly, A. Ferguson (eds.). On conditionals. Cambridge, 1986.
Ducrot 1972 – *O. Ducrot*. Dire et ne pas dire. Paris, 1972.
On conditionals 1986 – E. Traugott, A. ter Meulen, J.Sn. Reilly, A. Ferguson (eds.). On conditionals. Cambridge, 1986.
On conditionals again 1997 – A. Athanasiadou, R. Dirven (eds.). On conditionals again. Amsterdam; Philadelphia, 1997.
Wierzbicka 1972 – *A. Wierzbicka*. Semantic primitives. Frankfurt am Main, 1972.
Wierzbicka 1980 – *A. Wierzbicka*. Lingua mentalis: the semantics of natural language. Sydney, 1980.
Wierzbicka 1992 – *A. Wierzbicka*. Semantics, culture, and cognition. Universal human concepts in culture-specific configurations. New York; Oxford, 1992.
Wierzbicka 1997 – *A. Wierzbicka*. Conditionals and counterfactuals: conceptual primitives and linguistic universals // A. Athanasiadou, R. Dirven (eds.). On conditionals again. Amsterdam; Philadelphia, 1997.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 2010

© 2010 г. С.М. ПОЛЯКОВ

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ СЕМАНТИКИ СОЖАЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В данной статье делается попытка описания особенностей функционирования предикатива ***sorry***, а также глагола и существительного ***regret***, используемых для выражения эмоционального состояния **сожаления** в современном английском языке.

СЕМАНТИКА СОЖАЛЕНИЯ

В словаре русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой *сожаление* определяется как «1. Чувство печали, скорби, вызываемое утратой чего-л., невозвратимостью чего-л. ‖ Раскаяние, горечь, вызванные совершенной ошибкой, каким-л. поступком и т. п. ‖ Чувство огорчения по поводу чего-л. 2. Жалость, сочувствие, сострадание к кому-л.» [Евгеньева 1988: 182]. Сожаление обычно соотносится с каким-то нежелательным действием или поступком, который был совершен ошибочно и/или привел к печальным последствиям, или с какой-то утратой. Сожаление может относиться как к прошедшему, так и к настоящему и будущему реальному времени.

Семантика сожаления изучалась в работах разных лингвистов и философов, начиная с Древней Греции. В монографии Анны А. Зализняк [Зализняк 2006] семантика сожаления рассматривается довольно подробно на материале русского и французского языков. Автор ссылается на работы Аристотеля, Спинозы, Лейбница и Декарта и приходит к выводу, что необходимо выделять два вида сожаления: сожаление о плохом и сожаление о хорошем. Первое значение иллюстрируется примером «Он сожалеет о сделанной ошибке» и называется «сожалеть 1», второе значение показывается на примере «Он сожалеет о счастливых годах молодости» и называется «сожалеть 2» [Зализняк 2006: 88].

Общее значение сожаления формулируется автором как сообщение о том, что «некоторое положение дел, не существующее в действительном мире, но которое могло бы в нем существовать представляется человеку как лучшее по сравнению с тем, которое существует» [Зализняк 2006: 96].

А. ОЦЕНОЧНОСТЬ СЕМАНТИКИ СОЖАЛЕНИЯ

В русском языке значения «сожалеть 1» и «сожалеть 2» могут выражаться одним и тем же глаголом *сожалеть*. Особенностью семантики русского глагола *сожалеть* является неоднозначность его центрального семантического компонента – компонента оценки [Зализняк 2006: 87]. Пропозитивный объект сожаления может иметь отрицательную или положительную оценку. Таким образом, *сожаление* обозначает эмоциональное состояние, возникшее в связи с некоторой ситуацией в прошлом, но в одном значении оно описывает состояние, вызванное отрицательной оценкой ситуации, а в другом – ее положительной оценкой. Эти два вида сожаления и обозначаются Анной А. Зализняк как значения «сожалеть 1» и «сожалеть 2».

По мнению таких авторитетных лингвистов как А. Вежбицкая [Wierzbicka 1972: 64] и Дж.Р. Сёрль [Searle 1983: 32], в английском языке глагол *regret* имеет только значение

«сожалеть 1», т. е. выражает сожаление о некотором оцененном отрицательно действии или состоянии, которое имело место в прошлом или имеет место в настоящем, либо возможно в будущем, или вообще не имеет какого-либо определенного отношения к конкретному реальному времени.

Рассмотрим это на примере:

Lord Windermere: *I am sorry* now I did not tell my wife the whole thing at once.
Mrs. Erlynne: I *regret* my bad actions. You *regret* your good ones – that is the difference between us.

(O. Wilde)

В этом отрывке из пьесы О. Уайльда «Веер леди Уиндермир» все высказывания выражают сожаление (курсивом выделены формальные средства выражения сожаления), на данном этапе рассмотрения выберем два последних:

(1) I *regret* my bad actions.
(2) You *regret* your good ones – that is the difference between us.

На первый взгляд может показаться, что эти примеры вступают в противоречие со сказанным выше: ведь в одном случае выражается сожаление о «плохом», т. е. об объекте с отрицательной оценкой (bad actions), а в другом – о «хорошем», т. е. об объекте с положительной оценкой (good ones). Однако следует обратить внимание на то, что в этих двух высказываниях сожалеющие субъекты различны: в (1) это «я», в (2) это «вы». Номинативная оценка объектов дается с точки зрения общественной морали о том, что хорошо, а что плохо. Но субъективная оценка мира отдельными людьми может и не совпадать с общественной нормой: то, что для одного человека является «хорошим», т. е. имеет положительную оценку, для другого может оказаться «плохим», т. е. отрицательным. Имея это в виду, содержание высказываний (1) и (2) можно представить в следующем виде:

(1)′ I regret my bad (from the point of view of common moral standards) actions which I actually regard to be bad ones.
Я сожалею о своих плохих (с точки зрения общественной морали) поступках, которые и в самом деле считаю плохими.
(2)′ You regret your good (from the point of view of common moral standards) actions which you actually regard to be bad ones.
Вы сожалеете о своих хороших (с точки зрения общественной морали) поступках, которые на самом деле считаете плохими.

Субъективная оценка в первом случае совпадает с общепринятой, а во втором находится с ней в явном противоречии. Другими словами, можно сказать, что во втором случае субъект сожалеет о своих хороших поступках, которые он иногда и совершает, хотя обычно предпочитает делать людям гадости. Вполне понятно, что поступающий таким образом человек – далеко не лучший представитель рода человеческого. Таким образом, охарактеризовав себя с помощью (1), миссис Эрлин говорит, что она – хорошая (так как обычно поступает хорошо), а, употребив в отношении лорда Уиндермира высказывание (2), утверждает, что он – плохой (так как обычно поступает плохо).

В этом примере воплотилось мастерство О. Уайльда как признанного виртуоза парадокса.

Современные англоязычные психологи относят чувство сожаления, передаваемое английским существительным *regret*, к отрицательным эмоциям и определяют его следующим образом (здесь и дальше перевод наш. – *С.П.*): «Сожаление – это более или менее болезненное ментальное или эмоциональное состояние огорчения по поводу каких-либо неудач, ограничений, утрат, проступков, недостатков или ошибок» [Landman

1993: 36]. «Сожаление – это отрицательная, основанная на рациональной оценке эмоция, которую мы испытываем, когда понимаем или воображаем, что наше настоящее положение было бы лучше, если бы мы в прошлом поступили по-другому» [Zeelenberg 1999: 326].

Сравнивая чувства *вины* и *сожаления,* Берндсен и др. приходят к выводу, что общим для этих эмоций является соотношение с некоторым вредом. Отличаются они друг от друга тем, что чувство *вины* возникает в результате причинения вреда кому-то другому, а чувство *сожаления* (*regret*) – в результате причинения вреда самому себе [Berndsen et al. 2004: 56].

По утверждению М. Зеленберг, «отрицательные эмоции часто возникают тогда, когда существующее в настоящий момент состояние дел оказывается хуже, чем изначально предполагалось. … Так происходит, когда мы выбираем определенную линию поведения, считая ее наилучшей, но в итоге оказывается, что другой путь был бы гораздо выгоднее для нас. В результате таких "ошибочных решений" мы с большой степенью вероятности почувствуем *сожаление*» [Zeelenberg et al. 2000].

Выяснение причин, по которым человек испытывает *сожаление* (*regret*), является одним из центральных вопросов западных психологических исследований в данной области. Это связано с тем, что психологи пытаются определить, как человек может полностью избежать или хотя бы минимизировать вероятность появления такого отрицательного эмоционального состояния. Так, Гилович и Медвец приходят к выводу, что сожаление может быть вызвано каким-либо действием субъекта, его бездействием или какими-либо обстоятельствами, которые он контролировать не в состоянии (например, «заболевание полиомиелитом в детстве») [Gilovich, Medvec 1994: 358]. Изучение авторами цитируемой работы анкет респондентов показало, что «только 10 из 213 зарегистрированных случаев сожаления отнесены тестируемыми на счет обстоятельств, контролировать которые они были не в состоянии. Таким образом, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что чувство собственной ответственности за исход дела оказывается главной составляющей сожаления» [Ibid.: 359].

В качестве краткого обобщения можно сказать, что чувство, выражаемое английским предикативом *sorry* и словом *regret*, представляет собой отрицательную эмоцию, вызванную ощущением неудовлетворенности по поводу своих неправильных действий или плачевного положения дел, создавшегося по независящим от человека причинам. Причем осознание собственной вины или ответственности является ведущим по отношению к внешним причинам. В любом случае *сожаление* (*regret*) является «личностным» переживанием, так как сожалеющий субъект непосредственно связан с определенным неблагоприятным для него положением дел.

Б. КОНТРОЛИРУЕМОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ПОДЧИНЕННОЙ ПРОПОЗИЦИИ

Проблема ответственности за исход дела напрямую связана с категорией контролируемости действия, выраженного подчиненной пропозицией. Категория контролируемости (или контроля), отражающая отношения между субъектом и действием, рассматривается в отечественной лингвистике в целом ряде работ (см. [Булыгина 1982; Плунгян, Рахилина 1988; Зализняк 1992; 2006; Кустова 1992; Ким 1999]). Анна А. Зализняк в [Зализняк 1992] указывает на две важные стороны контроля или контролируемости, которые представляют особый интерес для исследования семантики слов, выражающих сожаление в современном английском языке: 1) контролируемость представляет собой свойство ситуации в целом, а не свойство субъекта или действия в отдельности; 2) выбор средств выражения пропозициональной установки (в нашем случае либо предикатива *sorry*, либо слова *regret*) зависит от контролируемости / неконтролируемости выраженного подчиненной пропозицией действия на концептуальном уровне (см. [Зализняк 1992: 138, 142]).

Рассматривая уровень концептов, т. е. значение языковых выражений, соотносимых с ситуациями, Анна А. Зализняк приходит к выводу, что «контролируемость предста-

ет как дискретное противопоставление двух значений: "+ контроль" и "– контроль"» [Зализняк 1992: 141].

Анализ примеров употребления предикатива *sorry* и глагола *regret* показывает, что предикатив *sorry* может употребляться для выражения пропозициональной установки как ситуаций со значением «+ контроль», так и «– контроль». Глагол *regret* соотносится только с ситуацией со значением «+ контроль».

Рассмотрим данное положение на конкретных примерах:

(3) «Yet you turned down Arthur West, the best catch in your set, to marry Peter, who was the worst», he reminded her. «Have you ever been **sorry** *for it*?» (W.M. Raine).
(4) «Two of my pickets spotted him in Copperfield, Oregon. He came out shooting, mortally wounding one of my men and killing the other outright. The wounded man killed the Judge before he himself died. I'm **sorry** *about the way it came out*» (S.King).
(5) «You move me, Gimli», said Legolas. «I have never heard you speak like this before. Almost you make me **regret** that *I have not seen these caves*» (J.R.R. Tolkien).

В примерах (3), (5) предикатив *sorry* и глагол *regret* соотносятся с явно контролируемым действием, так как связаны с оценкой выбора, предполагающего наличие определенного намерения у субъекта действия. В этом случае ситуация содержит признак «+ контроль».

В примере (4) ситуация имеет неконтролируемый характер, т. е. содержит признак «– контроль».

В следующем примере (6) одно и то же положение дел, по поводу которого высказывается сожаление в придаточных предложениях, может быть охарактеризовано как контролируемое, т. е. имеющее семантический признак «+ контроль». Употребление разных формальных средств выражения с одним и тем же значением сожаления в рамках одного предложения объясняется стилистическими соображениями – желанием избежать тавтологии:

(6) If she had felt impatience and **regret** before – if she had been **sorry** *for what she said*, and feared its too strong effect on him – she now felt and feared it all tenfold more (J. Austen).

Предикативы *regret* и *sorry* в примере (7), взятом из книги президента США Барака Обамы «Мечты моего отца: история расы и ее наследия», соотносятся с разными ситуациями:

(7) He expressed some **regret** about *trying to pass himself off as a white man*, was **sorry** about *how badly things had turned out*. But the results were irreversible (B. Obama).

В первой части сложносочиненного предложения используется существительное *regret,* чтобы подчеркнуть, что высказывается сожаление о действии, совершенном самим говорящим, о сделанной им ошибке, т. е. о контролируемом положении дел. Во второй части сложносочиненного предложения употребляется предикатив *sorry* для выражения сожаления по поводу событий, которые не могут контролироваться сожалеющим субъектом. Перемена этих лексем местами в данном примере невозможна без утраты стилистической корректности текста.

Если *sorry* и *regret* используются для выражения сожаления о собственном поступке, то оба они могут соотноситься с ситуацией с признаком «+ контроль», однако в этом случае их семантика изменяется: они начинают выражать конвенциональный речевой акт извинения. Вообще выражение сожаления при извинении характерно для западной языковой культуры (см. [Ратмайр 2003: 95]; о производности извинения от сожаления см. ниже). Подробное описание семантики и прагматики извинения выходит за рамки данной статьи.

В. О НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТАХ ЗНАЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА *REGRET* И ПРЕДИКАТИВА *SORRY*

В науке широко применяется метод характеристики более сложных явлений через описание комбинаций более простых составляющих их элементов. Такой метод получил название компонентного анализа и к настоящему времени достаточно прочно укрепился в лингвистике. Так, Дж. Сёрль [Searle 1983: 31] и А. Вежбицкая [Wierzbicka 1996: 212; 2001: 9] считают, что возможно описание сложных понятий через «семантические примитивы» (А. Вежбицкая) или «простые интенциональные состояния» (Дж. Сёрль). Правда, Дж. Сёрль замечает, что полное последовательное сведение сложных состояний к конфигурации простых возможно далеко не всегда, даже при наличии достаточно хорошо разработанного аппарата логических констант, модальных операторов, показателей времени и результирующих пропозициональных значений. Однако автор абсолютно убежден в том, что такой компонентный анализ углубляет наше понимание интенциональных состояний и условий их осуществления [Searle 1983: 31].

Дж. Сёрль справедливо отмечает, что чувство, выраженное английским предикативом *sorry*, по своей структуре проще, чем чувство, передаваемое глаголом *regret* и его производными. Автор предлагает следующую схему для выражения значения предикатива *sorry* с помощью более простых интенциональных состояний *belief* и *desire*:

Sorry (p) → Bel (p) & Des ($\sim p$)

Эта схема может быть расшифрована как:

Жаль, что какое-то положение дел существует → я считаю, что такое положение дел существует & я желаю, чтобы это положение дел не существовало.

Глагол *regret* передает более сложное чувство, которое может быть, по мнению автора, описано следующим образом:

Regret (p) → Bel (p) & Bel (p is connected to me) & Des ($\sim p$) [Searle 1983: 32]

Я сожалею о чем-то → я считаю, что такое положение дел существует & я считаю, что это положение дел связано со мной & я желаю, чтобы это положение дел не существовало.

Дж. Сёрль поясняет разницу между *sorry* и *regret* следующим образом:

Regret отличается от *sorry* тем, что в *regret* пропозициональное содержание должно быть связано с вещами, которые имеют отношение к сожалеющему субъекту. «I can, for example, regret not being able to come to your party but I can't regret that it is raining, even though I can be sorry that it is raining» [Searle 1983: 32]. Такие различия между значениями глагола *regret* и предикатива *sorry* основаны на их различном отношении к категории контролируемости / неконтролируемости действия подчиненной пропозиции, рассмотренном выше.

Кроме того, наше исследование показало, что наблюдается определенная асимметрия в выражении сожаления с помощью предикатива *sorry* или глагола *regret*, связанная с семантикой подчиненного глагола в инфинитиве. Если инфинитив выражает действие, исходящее от субъекта (т. е. контролируемое действие, типичный пример – глагол *to say*), то возможно употребление параллельных конструкций с *sorry* и *regret*. Если же инфинитив выражает действие, исходящее от другого источника и воспринимаемое субъектом (т. е. неконтролируемое действие, например, глаголы чувственного восприятия *to hear*, *to see*, *to feel*, *to witness*, *to behold*, *to learn*, *to find* и т. д.), то возможна конструкция только с предикативом *sorry*:

I am sorry to say … = I regret to say …

I am sorry to hear … ≠ *I regret to hear …

(8) «I am **sorry to say** that I am unable to answer your question» (J. Austen).

(9) «There are, I **regret to say**, many catchpenny places of entertainment, but I cannot conceive that they would entice you» (O. Henry).

(10) «I was awfully **sorry to hear** about Amy, Harold» (S. King).

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СОЖАЛЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Изучение формальных средств, используемых для выражения сожаления, будет осуществляться нами с позиций функциональной грамматики с применением понятия «функционально-семантическое поле» в трактовке А.В. Бондарко [Бондарко 1984]. Согласно такому подходу функционально-семантическое поле рассматривается как «базирующаяся на определенной семантической категории группировка грамматических и "строевых" лексических единиц, а также различных комбинированных (лексико-синтаксических и т. п.) средств данного языка, взаимодействующих на основе общности их семантических функций. Каждое поле включает систему типов, разновидностей и вариантов определенной семантической категории, соотнесенную с разнообразными формальными средствами их выражения» [Бондарко 2003: 11].

В едином пространстве функционально-семантического поля принято выделять центральную и периферийную зоны. Единицы, входящие в центральную зону, обладают данным семантическим признаком в максимальной степени и выражают данное значение в наиболее обобщенном, абстрактном и простом виде.

Значение «сожалеть 1» в современном английском языке выражается различными средствами: предикативом *sorry*, глаголом и существительным *regret*, вводными словами *unfortunately*, *unluckily*; *regrettably*, *to my regret*, *to our sorrow*, конструкцией *it's a pity*, паремией *it's no use crying over spilt milk*, сослагательным наклонением глагола в конструкциях *I wish I were…*, *I wish I had been…*, междометиями *alas*, *oh*, *ah*, интонацией и некоторыми другими.

Предикатив *sorry* и слово *regret* являются основными лексическими средствами выражения сожаления в современном английском языке в силу причин, которые будут рассмотрены ниже.

А. ПРЕДИКАТИВ *SORRY*

Поскольку предикатив *sorry* выражает наиболее простое интенциональное состояние (см. выше ссылку на работу Дж. Сёрля), начнем последовательное рассмотрение формальных средств реализации значения «сожалеть 1» именно с этой лексической единицы.

Средством выражения значения «сожалеть 1» в современном английском языке является, прежде всего, конструкция, состоящая из связочного глагола *be*, *feel* и некоторых других и предикатива *sorry*. Связочный глагол выражает грамматические глагольные категории, а предикатив передает общую семантику сожаления.

В значении «сожалеть 1» предикатив *sorry* практически всегда употребляется с дополнением. Это объясняется необходимостью номинации того положения дел, по отношению к которому данное чувство появляется, а мы знаем, что «при членах предложения – глаголах и предикативных наречиях, обозначающих чувства и восприятия, дополнение обозначает объект чувства, восприятия» [Грамматика 2, 1960: 559].

Косвенное дополнение при предикативе *sorry* может быть выражено существительным или местоимением с предлогами *about* или *for*.

(11) «I'm **sorry** *about the way* it came out. More **sorry** than you can know or understand» (S. King).
(12) Fanny was again left to her solitude, and with no increase of pleasant feelings, for she was **sorry** *for* almost *all* that she had seen and heard, astonished at Miss Bertram, and angry with Mr. Crawford (J. Austen).

В примере (11) второе предложение в своем знаменательном составе не содержит дополнения, однако это дополнение выражено имплицитно с помощью нулевой формы, тем самым демонстрируя синтаксическую зависимость второго предложения от перво-

го. Более того, в этом эллиптическом предложении нулевыми формами выражены также и подлежащее, и глагол-связка.

В (12) дополнение выражено неопределенным местоимением *all* с предлогом *for*. В качестве дополнения могут употребляться и другие местоимения – личные, указательные, относительные и т. д.:

(13) «Have you ever been **sorry** *for it*?» (W.M. Raine)
(14) «I'm **sorry** *about this*, Eve. I really am» (S. Sheldon).
(15) «Do not tell me anything now, *which* hereafter you may be **sorry** *for*» (J. Austen).

Косвенное предложное дополнение может быть выражено также и герундием, который таким образом проявляет свои именные свойства:

(16) «... I let him get the idea that maybe you weren't too **sorry** *about getting* the old man's job, God forgive me» (M. Puzo).

Специфическим для английского языка употреблением является случай, когда косвенное дополнение отсутствует, а предлог сохраняется:

(17) «But the fightin' taught me to keep down the steam an' not do things I'd be **sorry** *for* afterward» (J. London).

В примере (17) предикатив *sorry* входит в состав придаточного определительного предложения, присоединенного к главному асиндетически, т. е. без относительного местоимения, которое должно было бы выступать в функции дополнения к этому предикативу. Это так называемый парадигматический эллипсис относительного местоимения [Бархударов 1966: 180], весьма характерный для разговорного английского языка.

Предикатив *sorry* может быть распространен инфинитивом, который в этом случае входит в состав именного сказуемого. Дополнение в этом случае будет соответствовать валентностным свойствам глагола, распространяющего предикатив *sorry*:

(18) «I was real **sorry** *to see* him counted out» (J. Farnol).
(19) «What? That's terrible. I'm **sorry** *to hear* that» (S. Sheldon).

В примере (18) прямое дополнение к инфинитиву *to see* выражено специальной конструкцией *him counted out*, которая называется «objective participial construction» или «сложное дополнение». В (19) простое прямое дополнение к инфинитиву *to hear* выражается указательным местоимением.

Дополнение к предикативу *sorry* может выражаться и придаточным дополнительным предложением. Такое дополнение может быть как прямым, так и косвенным предложным:

(20) «And so – you see – I am **sorry** *that* Jan is away» (J.O. Curwood).
(21) «There's a thousand more verses like those», he said. «**Sorry** I hadn't time to teach you them» (J. London).
(22) He was, of course, immediately **sorry** *for* what he had lost (F.S. Fitzgerald).

В (20) прямое дополнение выражено придаточным предложением, присоединенным к главному с помощью союза *that*. В (21) такое же придаточное соотносится с главным асиндетически. В примере (22) косвенное дополнение, выраженное придаточным предложением, подчиняется предикативу *sorry* с помощью предлога *for*.

После предикатива *sorry*, не имеющего дополнения, может употребляться придаточное обстоятельственное времени:

(23) He only wanted to be left alone now. He had his own trouble, which was almost too much to bear. Clara only tormented him and made him tired. He was not **sorry** *when* he left her (S. Sheldon).
(24) On the whole, she would not be **sorry** *when* he was gone (S. Sheldon).

В разговорной речи конструкция *I am sorry* редуцируется до предикатива *sorry*. Это еще один пример нормативного парадигматического эллипсиса. Такая редукция возможна только в первом лице единственного и, в редких случаях, множественного числа:

(25) «There's a thousand more verses like those», he said. «**Sorry** I hadn't time to teach you them» (J. London); «That sounds like a good time», Susan said. «**Sorry** I missed it» (A. Hailey).
(26) «There's a thousand more interesting places here», he said. «**Sorry** we hadn't time to show them all to you» (Пример наш. – *С. П.*).

В примерах (25) редуцированная форма *sorry* употребляется наиболее естественно и однозначно. В (26) нулевая форма предикативной основы может быть восстановлена двояко: «*I am sorry we hadn't …*» и «*We are sorry we hadn't …*». В первом случае говорящий выступает от своего собственного лица, во втором он говорит от лица как минимум двоих людей (например, от себя лично и от имени своей жены). Другими словами, в (25) только один сожалеющий субъект, а в (26) их может быть как один, так и более.

Конструкция *I am sorry* часто используется для осуществления извинения. Исходя из состава этой конструкции, выскажем предположение, что семантика этого оборота речи связана с выражением сожаления. Данное предположение подтверждается компонентным анализом семантики извинения, приведенным в работах А. Вежбицкой и М.Я. Гловинской:

А. Вежбицкая описывает речевой жанр извинения следующим образом [Вежбицкая 1997: 105]:

«знаю, что я сделал нечто, что было для тебя плохо;
думаю, что ты можешь чувствовать ко мне нечто плохое по этой причине;
говорю: я жалею, что я это сделал;
говорю это, потому что хочу, чтобы ты не чувствовал ко мне ничего плохого».

Согласно работе М.Я. Гловинской значение глагола «извиняться / извиниться» описывается следующим образом: «*X извиняется перед Y-ом за P* = (1) X сделал P, плохое для Y-ка; (2) X сожалеет о P; (3) X хочет, чтобы Y простил его; (4) X говорит словесную формулу, принятую для этого; (5) X говорит это, потому что хочет, чтобы Y знал, что X сожалеет о P и поэтому простил его» [Гловинская 1993: 210].

Таким образом, оба автора выделяют «сожаление» в качестве некоторой составляющей величины в семантической структуре значения «извинение».

Попробуем проиллюстрировать это, выразив значение более сложного интенционального состояния «извинения» через более простые понятия «считаю» и «желаю» в соответствии с методикой, предложенной Дж. Сёрлем:

Apologize (p) → Bel (p) & Des (~ p) & Bel (I am responsible for p) & Des (I am not blamed for p)

Из данной схемы видно, что в основе семантики извинения лежит элементарное интенциональное состояние сожаления Bel (p) & Des (~ p), выражаемое предикативом *sorry* [Searle 1983: 32]. На основании этого можно заключить, что значение «извине-

ния» является результатом семантической деривации значения «сожаления». Приведем пример:

(27) «I'm **sorry,** I don't know what's the matter with me, I'm never like this, I'm so **sorry**...»
«It's all right, it's nothing». He went on soothing her automatically (S. King).

Анализ примеров с предикативом *sorry* показал, что извинение и сожаление различаются, прежде всего тем, что сожаление является повествованием, а извинение – перформативом (см. [Остин 1986: 27]). Кроме того, предикативная конструкция *to be sorry* в значении извинения употребляется только в настоящем времени, а в значении сожаления встречается во всех временных формах.

Таким образом, в английском языке отличие сожаления от извинения, выраженных предикативной конструкцией *to be sorry*, реализуется как своей целевой установкой, так и чисто грамматически: возможностью употребления в перфектном виде и во всех временах и факультативной синтаксической валентностью с темпоральным наречием, обозначающим более или менее длительный промежуток времени.

Производность значения «извинения» от «сожаления» легко проследить на следующем примере:

(28) «I am very **sorry**», said she inarticulately, through her tears, «I am very **sorry** indeed». «**Sorry**! yes, I hope you are **sorry**; and you will probably have reason to be long **sorry** for this day's transactions» (J. Austen).

Можно предположить, что исходной интенцией первого говорящего в (28) являлось извинение. Как мы уже установили, одним из основных компонентов значения извинения является сожаление. Второй участник диалога реагирует как раз на этот компонент значения. В реагирующей реплике предикатив *sorry* явно употребляется в значении «сожалеть 1», о чем дополнительно свидетельствует употребление темпорального наречия *long*.

Перевод этого отрывка, выполненный известной отечественной переводчицей Р.Е. Облонской, говорит сам за себя:

(29) – Мне так жаль, – невнятно, сквозь слезы вымолвила она. – Мне правда очень жаль.
– Жаль! Еще бы. Надеюсь, что тебе жаль. И, вероятно, у тебя будет причина еще долго сожалеть о своих сегодняшних делах.

Сожаление в извинении может быть искренним и притворным. Искренность или притворность сожаления выражается совокупностью паралингвистических средств выражения – модуляциями голоса, тембром, выражением лица и т. д. В (30) сожаление носит явно притворный характер, что и поясняется словами автора:

(30) «I'm **sorry**», he said; but he did not sound **sorry** (J. London).

Во многих случаях значение сожаления предикатива *sorry* ослабляется или даже полностью утрачивается, и выражение *Sorry* или *I am sorry* превращается в речевой штамп, употребление которого обусловлено правилами речевого этикета:

(31) «Then stop gaping at me through the bars, and open the gate!» said Merry.
«**I'm sorry**, Master Merry, but we have orders» (J.R.R. Tolkien).
(32) «...you'll have to put us up»;
«**I am sorry**, Mr. Merry», said Hob, «but it isn't allowed» (J.R.R. Tolkien).

Роль высказываний *I am sorry* в (31) и (32) сводится к смягчению категоричности отказа, который обусловлен существующими правилами, а не волей говорящего.

Искренность сожаления в значительной мере снижена в речевом штампе *I am sorry to say that* …, который переводится вводным предложным сочетанием *К сожалению*, …

(33) «**I am sorry to say** that I am unable to answer your question» (J. Austen).
(34) «Has the news been managed? **I am sorry to say** that this is the case. I have been given copy and forced to read it, almost literally with gun to my head» (S. King).

Таким образом, предикатив *sorry* выражает значение «сожалеть 1» в наиболее обобщенном и простом виде, отражает наиболее простое интенциональное состояние, и поэтому входит в центральную зону функционально-семантического поля «сожаление».

Б. ГЛАГОЛ И СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ *REGRET*

Другим широко применяемым средством выражения значения «сожалеть 1» в современном английском языке является глагол *regret*.

Глагол *regret* относится к классу объектных глаголов [Блох 2000: 97], т. е. глаголов с обязательной объектной валентностью, которые не могут употребляться без дополнения. Мы считаем, что такая особенность объясняется семантикой этого глагола, т. к. человек всегда сожалеет о чем-то, что было, есть или будет (либо чего не было, нет или не будет) в окружающем его мире. Невозможно испытывать абстрактное чувство сожаления ни о чем.

Дополнение может быть выражено либо словом субстантивного характера, либо придаточным предложением. Таким образом, дополнение может находиться либо внутри простой предикативной конструкции (главного или придаточного предложения, содержащего глагол *regret*), либо вне ее, т. е. выражаться придаточным предложением.

В простом предложении глагол *regret* в личной форме может иметь дополнение, выраженное существительным с определениями или классификаторами типа местоимений и артиклей:

(35) David **regretted** *the emotional chasm* between them, but he did not know how to bridge it (S. Sheldon).
(36) «I'm not his, I'm yours. Amory, I belong to you. For the first time I **regret** *all the other kisses*; now I know how much a kiss can mean» (F.S. Fitzgerald).
(37) Still, she did not for a moment **regret** *her decision* (A. Hailey).

Наличие определения или классификатора обязательно, так как с его помощью либо выражается отрицательная оценка объекта сожаления, либо осуществляется соотнесение объекта сожаления с ранее описанной ситуацией, в которой эта отрицательная оценка становится очевидной.

Глагол *regret* в личной форме принимает также дополнение, выраженное местоимением, главным образом личным, указательным, неопределенным или относительным:

(38) «You'll **regret** *this*, Malcolm, I promise **regret** *it* for the rest of your miserable life» (Hailey); A warrior cannot complain or **regret** anything (C. Castaneda).
(39) Mr. Price was out, *which* she **regretted** very much (J. Austen); A letter exposes to all the evil of consultation, and where the mind is anything short of perfect decision, an adviser may, in an unlucky moment, lead it to do *what* it may afterwards **regret** (J. Austen).

Глагол *regret* в личной форме способен иметь дополнение, выраженнос неличной формой глагола – герундием или инфинитивом:

(40) «I cannot but say I much **regret** your *being from home* at this distressing time, so very trying to my spirits. I trust and hope, and sincerely wish you may never be absent from home so long again», were most delightful sentences to her (J. Austen).
(41) «If I learn later that something important has been overlooked, I promise you'll **regret** ever *having told* me your men are tired. Tired! For Christ's sake!» (A. Hailey)

Наличие у английского герундия категории вида – перфектного и неперфектного – позволяет ему выражать значения одновременности и предшествования действия, в отношении которого высказывается сожаление, действию, выраженному глаголом *regret*. Так, в (35) неперфектная форма герундия *being from home* говорит о том, что это нежелательное действие происходит одновременно с действием глагола *regret*. Напротив, перфектная форма *having told* в (36) означает, что это действие предшествует действию, выраженному глаголом *regret*.

Конструкция, включающая в свой состав глагол *regret* в личной форме и прямое дополнение, выраженное инфинитивом глагола *to say*, имеет оттенок значения модальности *I regret to say… – к сожалению, должен сказать…* [Гальперин 1972: 327]:

(42) «I **regret** to say», he answered, «that Miss Carroll seems to have lost her grip on that scene» (O. Henry).

Наличие оттенка модальности в глаголе *regret* дает основания по-другому интерпретировать функцию инфинитива – а именно как части составного глагольного модального сказуемого. В этом случае главное предложение *I regret to say* будет простым нераспространенным предложением, включающим в свой состав только подлежащее *I* и составное глагольное модальное сказуемое *regret to say*.

В сложноподчиненном предложении глагол *regret* имеет дополнение, выраженное придаточным дополнительным предложением, присоединенным к главному с помощью союза *that* или бессоюзно:

(43) The hobbits **regretted** very much *that* they knew so little about them: only a rather vague report by Sam of what Gandalf had told the Council (J.R.R. Tolkien).
(44) «I appreciate your sympathy and understanding, Mr. Marlowe. And I **regret** I am unable to help you in your quest for Mr. Slade» (R. Chandler).

В страдательном залоге логический объект (т. е. объект сожаления) номинируется подлежащим предложения, выраженным существительным, местоимением или неличной формой глагола – герундием. Употребление страдательного залога может быть отнесено на счет стремления к «обезличиванию» процесса, состояния и таким образом представления его как объективно существующего явления. И действительно, деятель (т. е. сожалеющее лицо) в таких предложениях либо не называется вовсе, либо выражается местоимением неопределенной предметной отнесенности – неопределенным или отрицательным.

(45) Love such as his, in a man like himself, must with perseverance secure a return, and at no great distance; and he had so much delight in the idea of obliging her to love him in a very short time, that her *not loving* him now **was** scarcely **regretted** (J. Austen).

Глагол *regret* в форме причастия второго может выступать в роли присубстантивного определения, и в этом случае переводится как «достойный сожаления», например:

(46) …their former love-affairs seemed faintly laughable and scarcely **regretted** juvenalia (J. Austen).

Такую же функцию выполняет прилагательное *regrettable*, которое также переводится как «достойный сожаления»:

(47) «Gentlemen, a **regrettable** incident has occurred. And when a **regrettable** incident occurs which involves any branch of the United States Military, we don't question the roots of that incident but rather how the branches may best be pruned» (S. King).

Если условия коммуникации не требуют прямой номинации объекта сожаления, либо по причинам стилистического характера значение «сожалеть 1» может быть выражено с помощью существительного *regret*.

(48) If such a man fails, or suffers a defeat, he will have lost only a battle, and there will be no pitiful **regrets** over that (C. Castaneda).
(49) My one **regret** was that I hadn't brought along a chocolate bar, five or six bananas, and a quart of milk (R. Stout).
(50) «That's one of my deepest **regrets**, Jeff» (S. Sheldon).
(51) «I have no **regrets** – except possibly that I could not have found them together and killed them together. I have no **regrets** for Paul whom you have heard called Terry Lennox» (R. Chandler).
(52) In a world where death is the hunter, there is no time for **regrets** or doubts (C. Castaneda).
(53) To her he soon turned, repeating much of what he had already said, with only a softened air and stronger expressions of **regret** (J. Austen).
(54) As they rode from under the eaves of the wood, Legolas halted and looked back with **regret** (J.R.R. Tolkien).

Существительное *regret* употребляется во всех функциях, свойственных этой части речи: подлежащего (48), (49); предикатива (50); прямого (51) и косвенного (52) дополнения; определения (53); обстоятельства (54).

В английском языке семантическая структура глагола *regret* включает значение «*to feel (or express) sorrow for the loss of (a person or thing)*» [SOED 1968: 1962], которое может быть приблизительно сформулировано как «горевать об отсутствующем или умершем человеке или предмете», не свойственное русскому глаголу «сожалеть»:

(55) What chiefly surprised Edmund was, that Crawford's *sister*, the friend and companion who had been so much to her, **should not be** more visibly **regretted** (J. Austen).
(56) *She* **was regretted** by no one at Mansfield. … Not even Fanny had tears for aunt Norris, not even when she was gone for ever (J. Austen).

Действительно, вне контекста смысл этих предложений абсолютно не понятен, мы не знаем, почему в (55) о сестре Крофорда нужно сожалеть. Контекст ставит все на свои места – оказывается, сестра Крофорда уехала, а ее присутствие причиняло Фанни страдание. Поэтому сожаление, а точнее отсутствие его высказано по отношению не к самой сестре Крофорда, а к ее отъезду. На самом деле Фанни была рада тому, что сестра Крофорда уехала, а Эдмунд этого не замечал либо не понимал. В переводе этого отрывка, выполненном Р.Е. Облонской, значение «сожалеть 1» становится абсолютно понятным, так как несовпадение семантической структуры английского глагола *regret* и русского глагола *сожалеть* вызывает необходимость введения в текст перевода реального объекта сожаления «отъезд»:

(57) Эдмунда удивляло другое – он что-то не замечал, чтоб она сожалела об отъезде сестры Крофорда, своей подруги и собеседницы, которая так много для нее значила.

Еще непонятнее вне контекста становится первое предложение в примере (56) *She* **was regretted** by no one at Mansfield. Только приведенное в конце абзаца предложение

Not even Fanny had tears for aunt Norris, not even when she was gone for ever – «Фани и та не пролила по ней ни слезинки, даже когда она уехала навсегда» (перевод Р.Е. Облонской), – объясняет употребление глагола *regret* в значении «сожалеть 1».

Приведем еще два подобных примера:

(58) «What have you stewed?»
«A present from Sméagol», said Sam: «a brace o' young coneys; though I fancy Gollum's **regretting** them now» (J.R.R. Tolkien).
(59) Sam, loud and overbearing as he was, she rather **regretted** when he went… (J. Austen).

В (58) Смеагол жалеет не о самих кроликах, а о том, что отдал их. Точно так же в (59) Фанни жалеет не о Сэме, а о том, что его не стало в доме. К подобному выводу приходит и Дж. Сёрль при анализе предложения *I want your house* [Searle 1983: 30].

Все эти примеры свидетельствуют о том, что глагол *regret* в английском языке сам по себе является средством отрицательной оценки, причем не самого объекта, а того положения дел (т. е. пропозиции), в котором этот объект занимает определенное место. Рассмотрим простой пример (пример наш. – *С. П.*):

(60) He **regretted** his words. – *Он пожалел о своих словах.*

О чем же он пожалел на самом деле? Что имеет отрицательную оценку в данном случае?

Сами слова – т. е. то, что говорится – могут быть как плохими, так и хорошими. Если эти слова плохие, то слушающий может огорчиться, расстроиться, обидеться, разозлиться и т. д. Это может привести к отрицательным и даже плачевным последствиям для говорящего, в конце концов, его могут и побить.

С другой стороны, и хорошие слова могут привести к плохому положению дел, о котором можно сожалеть. Например, я похвалил студента, а он зазнался и перестал ходить на занятия. В этом случае я имею все основания пожалеть о своих хороших словах.

На самом деле в подобных случаях мы жалеем не о чем-то, а о том, что что-то сделали, о каком-то поступке, который привел к нежелательным последствиям. Например:

(61) «Because there's no rabbit in Revelation», then **regretted** the words the moment they were out (A. Hailey).
(62) «We didn't say goodbye very well. There were harsh words». She showed him her face, still harsh, but also full of a terrible, reluctant love. «For my part, I **regret** them. I only said them because I love you» (S. King).

В примерах (63) и (64) глагол *regret* также выражает значение «сожалеть 1», говорящий сожалеет в данном случае не о юности вообще, а о том, что эта юность безвозвратно утрачена.

(63) A. – Becoming really insincere – calling myself «not such a bad fellow», thinking I **regretted** *my lost youth* when I only envy the delights of losing it. Youth is like having a big plate of candy (F.S. Fitzgerald).
(64) There was no God in his heart, he knew; his ideas were still in riot; there was ever the pain of memory; the **regret** *for his lost youth* – yet the waters of disillusion had left a deposit on his soul, responsibility and a love of life, the faint stirring of old ambitions and unrealized dreams. But – oh, Rosalind! Rosalind!... (F.S. Fitzgerald).

Трансформация субстантивного словосочетания в придаточное предложение дает нам примеры, в которых выражение лексемой *regret* значения «сожалеть 1» не подвергается сомнению:

(65) I **regretted** that my youth was lost for ever.
(66) There was the pain of memory, the **regret** that his youth was lost for ever.

В придаточном предложении (65), (66) значение «утраченности» передается составным именным сказуемым, что подчеркивает результативность, в субстантивном словосочетании (63), (64) на первый план выдвигается квалитативная характеристика объекта. Другими словами, одно и то же значение представляется в первом случае как действие (точнее, как состояние), а в другом – как качество, свойство.

В английском языке абсолютно невозможны случаи употребления слова *regret* в значении «сожалеть 2», т. е. для выражения сожаления о чем-то хорошем. Русское предложение «*Он сожалеет о счастливых годах молодости*» не может быть переведено на английский язык с помощью глагола *regret* в силу ограничений, налагаемых на его употребление в соответствии с его семантикой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, как предикатив *sorry*, так и глагол или существительное *regret* в современном английском языке используются для выражения значения «сожалеть 1», т. е. огорчения по поводу неудач, ограничений, утрат, проступков, недостатков или ошибок. Это явное сожаление о плохом. Разница между ними сводится к следующему:

- предикатив *sorry* имеет более общее значение и может выражать сожаление как по поводу положения дел, непосредственно связанного с сожалеющим субъектом, так и по отношению к положению дел, не имеющему непосредственной связи с сожалеющим субъектом; семантика слова *regret* такова, что подчиненная пропозиция при нем может описывать лишь ситуацию, имеющую отношение к сожалеющему субъекту;
- предикатив *sorry* может соотноситься как с контролируемой, так и неконтролируемой ситуацией, слово *regret* употребляется для выражения сожаления по поводу положения дел, которое возникает благодаря контролируемым субъектом обстоятельствам;
- предикатив *sorry* представляет положение дел как факт, как состояние некоторого субъекта и является частью составного именного сказуемого. Как следствие этого, сказуемое с *sorry* не употребляется (или употребляется крайне редко) в формах продолженного или перфектного вида. Глагол *regret* представляет положение дел как действие или процесс и составляет простое глагольное сказуемое. В результате этого глагол *regret* регулярно употребляется в формах продолженного или перфектного вида;
- в силу того, что слово *regret* имеет более узкое значение, чем предикатив *sorry*, оно располагается на одну ступень дальше от центра функционально-семантического поля «сожаления» в современном английском языке, чем этот предикатив.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бархударов 1966 – *Л.С. Бархударов*. Структура простого предложения современного английского языка. М., 1966.

Блох 2000 – *М.Я. Блох*. Теоретическая грамматика английского языка. М., 2000.

Бондарко 1984 – *А.В. Бондарко*. О грамматике функционально-семантических полей // ИАН СЛЯ. 1984. Т. 43. № 6.

Бондарко 2003 – *А.В. Бондарко*. Теория функциональной грамматики: Введение, аспектуальность, временная локализованность, таксис. М., 2003.

Булыгина 1982 – *Т.В. Булыгина*. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982.

Вежбицкая 1997 – *А. Вежбицкая*. Речевые жанры // Жанры речи. Саратов, 1997.

Гальперин 1972 – *И.Р. Гальперин* (ред.). Большой англо-русский словарь: В 2 т. М., 1972.

Гловинская 1993 – *М.Я. Гловинская*. Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993.

Грамматика 1960 – Грамматика русского языка: В 2 т. М., 1960.
Евгеньева 1988 – *А.П. Евгеньева* (ред.). Словарь русского языка: В 4 т. М., 1988.
Зализняк 1992 – *Анна А. Зализняк*. Контролируемость ситуации в языке и жизни // Логический анализ языка: модели действия. М., 1992.
Зализняк 2006 – *Анна А. Зализняк*. Многозначность в языке и способы ее представления. М., 2006.
Ким 1999 – *И.Е. Ким*. Контролируемость действия: сущность и структура. 1999. http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0088431.pdf
Кустова 1992 – *Г.И. Кустова*. Некоторые проблемы анализа действий в терминах контроля // Логический анализ языка: модели действия. М., 1992.
Остин 1986 – *Дж.Л. Остин*. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 17. Теория речевых актов. М., 1986.
Плунгян, Рахилина 1988 – *В.А. Плунгян, Е.В. Рахилина*. Заметки о контроле // Речь: Восприятие и семантика. М., 1988.
Ратмайр 2003 – *Р. Ратмайр*. Прагматика извинения: Сравнительное исследование на материале русского языка и русской культуры. М., 2003.
Berndsen et al. 2004 – *M. Berndsen, J. van der Pligt, B. Doosje, A.S.R. Manstead*. Guilt and regret: The determining role of interpersonal and intrapersonal harm // Cognition and emotion. 2004. 18 (1).
Gilovich, Medvec 1994 – *T. Gilovich, V.H. Medvec*. The temporal pattern to the experience of regret // Journal of personality and social psychology. 1994. 67.
Landman 1993 – *J. Landman*. The persistence of the possible. New York, 1993.
Searle 1983 – *J.R. Searle*. Intentionality: An essay in the philosophy of mind. Cambridge, 1983.
SOED 1968 – *C.T. Onions* (ed.). The Shorter Oxford English Dictionary. In two volumes. Oxford, 1968.
Wierzbicka 1972 – *A. Wierzbicka*. Semantic primitives // Linguistische Forschungen. Bd. 22. Frankfurt am Main, 1972.
Wierzbicka 1996 – *A. Wierzbicka*. Semantics: primes and universals. Oxford, 1996.
Wierzbicka 2001 – *A. Wierzbicka, J. Harkins*. Emotions in cross-linguistic perspective. Berlin; New York, 2001.
Zeelenberg 1999 – *M. Zeelenberg*. The use of crying over spilled milk: A note on the rationality of regret // Philosophical psychology. 1999. V. 12. № 3.
Zeelenberg et al. 2000 – *M. Zeelenberg, W.W. van Dijk, A.S.R. Manstead, J. van der Pligt*. On bad decisions and disconfirmed expectancies: The psychology of regret and disappointment // Cognition and emotion. 2000. 14 (4).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 2010

© 2010 г. В.В. ШАПОВАЛ

КРИТЕРИИ ВЫЧЛЕНЕНИЯ НЕПОМЕЧЕННОГО СЛОЯ КОМПИЛЯЦИИ В СЛОВАРЕ

На основе анализа новых «жаргонизмов» 1992 г. выделено 17 критериев разной степени применимости для опознания непомеченных цитат, восходящих к описаниям 44 слов со знаком вопроса в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля. Предложенная модель источниковедческого анализа лексикографического описания апробирована на маргинальном лексическом материале, но может помочь и при оценке уровня филологической достоверности и самостоятельности данных других словарей.

В 1992 г. были впервые опубликованы под разным авторством два почти тождественных по составу словаря современного русского уголовного жаргона: а) Словарь Л.А. Мильяненкова и б) Словарь Д.С. Балдаева, В.К. Белко, И.М. Исупова. Во 2-м издании 1997 г. под авторством одного Д.С. Балдаева. В них был представлен объемный, но весьма разнокачественный новый материал.

Одной из задач критики таких словарей является обнаружение слоев компиляции, взятых из посторонних по отношению к русскому жаргону источников. Это, например, переводные выписки из словаря немецкого жаргона [Шаповал 2001: 26–29; 2008: 49–77], а также частично выявленные нами цитаты из «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля [Шаповал 2001: 29–33; 2003: 302–304; 2005: 225–231; 2006: 177–179]. Они «растворены» в различных словарях и не имеют регулярных помет. В этом их отличие от выписок из немецкого словаря, регулярно имеющих помету «*мн.*» [международное] или «ин.» [иноязычное]. Однако отобрать критерии для выявления скрытых цитат из словаря Даля важно как для повышения достоверности жаргонных словарей, так и для совершенствования критического инструментария общей лексикографии[1].

Опознание цитат из Даля опирается на текстологический анализ искажений, возникших при копировании [Шаповал 2002: 20–39]. Так опознаются отдельные случаи цитирования. Например, *скрин* ‘ночь’ [Мильяненков 1992: 233; Балдаев и др. 1992: 226; Балдаев 1997, II: 43], из: «**СКРИНЪ** <…> *–ночка* <…> сундукъ» [Даль 1955, IV: 209], – где сокращение после тире *–<скри>ночка* принято за толкование *ночка, затем уменьшительность снята [Шаповал 2001: 29–30][2].

[1] Недавно к общей проблеме верификации в языкознании обратился В. Маньчак, заключивший, что даже термин «критерии истины» никогда не используется языковедами, что настораживает, если учесть, что языкознание – наука об истине [Mańczak 2009: 75]. Так что неразработанность частного вопроса критики словарей смыкается с более общими методологическими пробелами.

[2] Отдельные совпадения со словарем Даля обращали на себя внимание исследователей (например, *чукавый* ‘сметливый’ [Мокиенко, Никитина 2000: 677], *ободье*, *агач*, *гирший* [Грачев 2003: 23, 26, 192] и др.). Однако для изучения типов ошибок цитирования важна полнота выборки. Например, случай *скрин*, вызванный непониманием назначения курсива и способа сокращения по более общей классификации, видимо, должен включаться в «псевдогапаксы как результат типографского брака, возникшего при наборе или вёрстке текста» [Астахина 2007: 97]. Но распространенность и прогнозируемость ошибок этого типа можно оценить, только располагая полными данными по разным словарям.

Настоящая статья посвящена анализу относительно цельного списка из 44 слов. Дело в том, что более 1190 заглавных слов у Даля были помечены знаком вопроса. Даль, не давая этимологии слов, «старался однако же указывать вездѣ на взаимную связь, а гдѣ это, по искаженію и по другимъ причинамъ, казалось сомнительнымъ, тамъ и ставилъ вопросительный знакъ» [Даль 1955, I: XXXIV]. Эти слова образовали маркированный список, что позволяет надежно проследить их судьбу в позднейших компиляциях. Их можно уподобить окольцованным птицам, по маршрутам которых судят о передвижениях остальных.

Не всякое слово, получившее знак «?» у Даля и впервые описанное как жаргонное в 1992 г., взято из словаря Даля. Важно учесть и сходство толкований. Так, слово *рым* в словарях 1992 г. не несет следов влияния Даля: «**Рым** – дом; двор» [Мильяненков 1992: 224; Балдаев и др. 1992: 213; Балдаев 1997, II: 21]. Но у Даля дано ошибочное толкование «*долгъ*» [Даль 1955, IV: 118] вместо **домъ*. Иногда вопрос о связи с Далем не имеет определенного решения: «**Алодь** (*устар.*) – объект, доступный для похищения» [Мильяненков 1992: 77]. И редкое слово у Даля: «**АЛОДЬ?** ж. *арх*[ангельское,] *мез*[енское] поляна <...>» [Даль 1955, I: 12; Аникин 2007–2009, 1: 167][3]. Слова *рым* и *алодь* далее во внимание не принимаются. Но 44 заглавных слова, приведенных у Даля со знаком «?», попадают в список для проверки, на основе которой будет произведена группировка критериев и оценка их доказательности для опознания цитат.

Список слов, вероятно, выписанных из словаря Даля

Условные знаки:
Подчеркиванием выделены дословные совпадения в толкованиях.
Двойным подчеркиванием – вероятные синонимические замены.
В рамку взяты сомнительные элементы толкования, которые (а) не имеют параллелей у Даля и (б) усугубляют криминальность толкования.

01. «**Абóдье** – день удачи, счастливое время. По народному поверью, среди воров существует примета: если в День Благовещенья вор что-либо украдет удачно, не попадется, то ему весь год будет удача» [Мильяненков 1992: 76[4]; Балдаев и др. 1992: 16; Балдаев 1997, I: 13]; «**АБОДЬЕ?** ср. *арх*[ангельское]. <...> красный день и удача на лову; <...> ***Абоднáя? пора*** <...> счастливая?» [Даль 1955, I: 2; Аникин 2007–2009, 1: 71]. «Архангельский областной словарь» не фиксирует. Толкование «счастливое время» взято из глубины словарной статьи и у Даля относится не к *абодье*, а к *абодная пора*.
02. «**Áводь** – заговор, клятва» [Мильяненков 1992: 76] (у Балдаева нет); «**ÁВОДЬ?** ж. *арх*[ангельское]. клятва, заклятіе; заговоръ» [Даль 1955, I: 3; Аникин 2007–2009, 1: 82]. «Архангельский областной словарь» слово не фиксирует. Для Даля ‘клятва’ здесь не ‘присяга, обет’, а ‘заклятие, оберег’.
03. «**Агáч** – полуторный пай при дележке краденого <...>» [Мильяненков 1992: 76; Балдаев и др. 1992: 16; Балдаев 1997, I: 14]; «**АГÁЧЪ?** м. *арх*[ангельско]-*кем*[ское] сугубый, полуторный пай при дѣлежѣ промысла <...>» [Даль 1955, I: 4; СРНГ 1965, 1: 201, Аникин 2007–2009, 1: 90]. «Архангельский областной словарь» слово не фиксирует. Расплывчатое (без уточнения ‘полуторный, двойной’) толкование может

[3] Из-за несходства толкований здесь можно лишь заподозрить, но не доказать выписку из Даля с переосмыслением толкования «поляна» в жаргонном ключе. Ср., например, тематически близкое *пасти поляну* ‘стоять на страже’ [Мокиенко, Никитина 2000: 457]. Есть и другие случаи «перепонимания»: «**Гýрий** – условный опознавательный знак» [Мильяненков 1992: 109]. Ср.: «**ГУРЕЙ**, *гурій* м. *арх.* темный маякъ» [Даль 1955, I: 408] и жарг. *маяк* ‘условный знак’ [Трахтенберг 1908: 38]. «**Лáйда** - безденежье» [Мильяненков 1992: 153; Балдаев и др. 1992: 124]. Ср. у Даля: «**ЛÁЙДА** ж. съ финск. *арх.* и *сиб.* иловатая прибрежная мель» [Даль 1955, II: 235] и разг. *быть на мели* ‘быть без денег’.

[4] Толкования Мильяненкова обычно ближе к Далю, чем более отредактированные толкования Балдаева, которые цитируются лишь в случае заметных отклонений.

говорить о забвении слова: «**Ага́ць** – пай, часть промысловой добычи, причитающаяся промышленнику при ее дележе» [Мосеев 2005: 32]. Подозрителен в СРНГ (не северновеликорусский) гапакс *агачда*: «**Ага́чда**, ы, *ж.* Полуторный пай, мера чего-либо <…> ***Пенз***. <…>» [СРНГ 1965, 1: 201], – который в свете соседнего *агач* ‘да’ кажется результатом ошибочного слияния *агач* с толкованием ‘да’ в словаре (*агач+да*).

04. «**А́рхилин** – амулет из травы, якобы приносящий удачу ворам» [Мильяненков 1992: 79]; (ин.) [Балдаев и др. 1992: 19; Балдаев 1997, I: 19]; «**АРХИЛИНЪ?** м. сказочная трава, <…> охраняющая отъ сглаза, порчи и пр.» [Даль 1955, I: 25], тульское [Опд. 1858: 2; СРНГ 1965, 1: 280]. Ср. калужское *арахиль* ‘волшебная трава’ [Аникин 2007–2009, 1: 305, 262]. Возможно, Даль сомневался в записи, ср.: «Архалин, архилин» ‘то же’ [Анненков 1878: 674].
05. «**Ата́ма** – состояние сонливости после употребления наркотика» [Мильяненков 1992: 79]; (ин.) [Балдаев и др. 1992: 20; Балдаев 1997, I: 19–20]; «**АТАМА́?** ж. *пен*[зенское] <…> сонливость, сонная истома» [Даль 1955, I: 27]. До Даля слово *сонливость* в толковании отсутствовало: «Сонная тягость, дремота» [Оп. 1852: 3]. + **Пенз**., 1961[5] [СРНГ 1965, 1: 289][6].
06. «**Бата́с** – нож большого размера» [Мильяненков 1992: 83]; (ин.) [Балдаев и др. 1992: 25; Балдаев 1997, I: 30]; «**БАТА́СЪ?** м. *камч*[атское] ножище, косарь, тесакъ» [Даль 1955, I: 54]. + **Якут**., 1901 [СРНГ 1966, 2: 142]. Но в современном колымском словаре не отмечено [Браславец, Шатунова 1977], как и в [Кузмищев 1842], ср. *батас* ‘большой нож (носимый на бедре)’ < якутск. [Аникин 2000: 122; 2008, 2: 268].
07. «**Борша́ть** – сердиться, ругать кого-либо» [Мильяненков 1992: 87; Балдаев и др. 1992: 32; Балдаев 1997, I: 43]; «**БОРША́ТЬ?** *п*[е]*рм*[ское]. <…> сердиться, журить» [Даль 1955, I: 118]. + Красноуфим. **Перм**., 1913, **Алт**. [без года] (и *боршить*) [СРНГ 1968, 3: 121].
08. «**Вздо́нжить** – сделать что-то назло» [Мильяненков 1992: 94; Балдаев и др. 1992: 43; Балдаев 1997, I: 61]; «**ВЗДО́НЖИТЬ?** кого, *пен*[зенское]. *сар*[атовское]. <…> сдѣлать что на зло» [Даль 1955, I: 195]. Толкование Даля своеобразно, ранее: «Причинять кому либо сильное безпокойство, прибить кого. С а р а т.» [Опд. 1858: 22], а также: «**Вздоньжа́ть**, *гл. д. сов.* Избить до изнеможенія. П е н з. *Наровч. Нижнелом.*» [Оп. 1852: 25]. + **Нижегор**., 1852, **Самар**. [без года] (и *здоньживать*) [СРНГ 1969, 4: 260; 1976, 11: 234].
09. «**Вы́злунь** – полоумный, шальной» [Мильяненков 1992: 99; Балдаев и др. 1992: 50; Балдаев 1997, I: 76]; «**ВЫ́ЗЛУНЬ?** об. *тв*[е]*р*[ское]. полоумный, сбалмошный, шальной» [Даль 1955, I: 290]. Толкование Даля своеобразно, ранее: «Человѣкъ полуумный, какъ бы озлуненный», от глагола *озлуни́ть* ‘ударом привести кого в беспамятство’ [Опд. 1858: 29, 158; СРНГ 1970, 5: 282; 1987, 23: 95][7].
10. «**Вынь** – пояс» [Мильяненков 1992: 99]; (ин.) [Балдаев и др. 1992: 51; Балдаев 1997, I: 78]; «**ВЫНЬ?** м. *в*[о]*л*[о]*г*[о]*д*[ское] поясъ» [Даль 1955, I: 304; Оп. 1852: 32]. + **Волог**., Иваницкий (1890) [СРНГ 1970, 5: 320].
11. «**Вы́тва** – отрава» [Мильяненков 1992: 100; Балдаев и др. 1992: 52; Балдаев 1997, I: 79]; «**ВЫТВА́?** ж. *арх*[ангельское]. (*выть*, пища) отрава на рыбу и на звѣря; прикормка <…>» [Даль 1955, I: 320]. В [АОС 1980–1996] нет. Похоже, от *выть* ‘количество пищи’ и проч. [СРНГ 1970, 6: 44].
12. «**Га́гри** -- обед, угощение» [Мильяненков 1992: 101]; (ин.) [Балдаев и др. 1992: 53; Балдаев 1997, I: 83]; «**ГА́ГРЫ?** ж. мн. *тв*[е]*р*[ское]-*бѣж*[ецое]. крестинный обѣдъ» [Даль 1955, I: 339; Оп. 1852: 34; СРНГ 1970, 6: 89].

---

[5] Если СРНГ в чем-то дополняет Даля, это указывается так: «+ **Пенз**., 1961».

[6] М.Т. Дьячок предполагает: «скорее всего, заимствовано из какого-то, возможно, несохранившегося финно-угорского языка, ср. морд. (мокша) *удома* “сон”» [Дьячок 2000: 72; Основы 1974: 141, 419], финно-угорское «*ода-* ‘schlafen, liegen’» [Rédei 1988: 334, 541].

[7] Глагол неясного происхождения *озлунить* был пропущен в словаре Даля.

13. «**Га́зить** – ломать» [Мильяненков 1992: 101; Балдаев и др. 1992: 53; Балдаев 1997, I: 83]. У Даля скорее болевое ощущение ('ломит кости, суставы'): «**ГАЗИ́ТЬ?** *тул*[ьское]. ломить» [Даль 1955, I: 340; СРНГ 1970, 6: 94].
14. «**Ги́рший** – дряхлый, худой» [Мильяненков 1992: 104]; (ин.) [Балдаев и др. 1992: 55; Балдаев 1997, I: 87]; «**ГИ́РШІЙ?** *п*[е]*рм*[ское] <…> дряхлый, <…> (*гиршій* м[а]л[о]р[о]с[сійское] худшій)» [Даль 1955, I: 351]. + **Сев.-Двин.**, **Урал**. [без годов] (ср. тверское *киршень* 'больной, слабый человек') [СРНГ 1970, 6: 175; 1977, 13: 223].
15. «**Гле́ча** – жемчуг; сало» [Мильяненков 1992: 104]; (ин.) [Балдаев и др. 1992: 56; Балдаев 1997, I: 88]; «**ГЛЕЧА́?** ж. *арх*[ангельское] <…> игра въ жемчугѣ <…> ***Гле́чикъ?*** м. *арх*[ангельское] подкожное сало, жиръ» [Даль 1955, I: 355; СРНГ 1970, 6: 195, 196]. Толкование «сало» у Даля относится к *глечик* [Шаповал 2001: 32]. В [АОС 1980–1996] нет.
16. «**Гма́ра** – дым при курении гашиша» [Мильяненков 1992: 104; Балдаев и др. 1992: 56; Балдаев 1997, I: 89]; «**ГМАРА́?** ж. *арх*[ангельское] (эти слова сомнительны) сухія травы, для подкура; ***гма́рица***, паръ и дымъ курева; ***гма́редь*** смрадъ и вонь <…>» [Даль 1955, I: 360]. *Гмара* и еще 7 однокоренных слов не были после Даля подтверждены [СРНГ 1970, 6: 233]. В [АОС 1980–1996] также нет слов на *гм-*.
17. «**Гуна́к** – теленок» [Мильяненков 1992: 109; Балдаев и др. 1992: 61; Балдаев 1997, I: 97]; «**ГУНА́КЪ,** ***гуначи́къ?*** м. *вос*[точно].-*сиб*[ирское]. монгольс. теленокъ по третьему году» [Даль 1955, I: 408; Оп. 1852: 43]. + *гунан* 'то же' [СРНГ 1972, 7: 152]. Бодуэн склонялся к чтению *гунан*[8] [Даль 1904, I: 1010].
18. «**Гури́ться** – раскаиваться» [Мильяненков 1992: 109; Балдаев и др. 1992: 61; Балдаев 1997, I: 97]; «**ГУ́РИТЬСЯ?** *пск*[овское]. виниться» [Даль 1955, I: 408; Оп. 1852: 44; СРНГ 1972, 7: 156; ПОС 1990, 8: 90]. Словари повторяют запись 1852 г., возможно, с необычным *у* на месте *о*-открытого? Ср. *го́риться* 'сокрушаться' [СРНГ 1972, 7: 36].
19. «**Гу́тин** – геморрой» [Мильяненков 1992: 109]; (ин.) [Балдаев и др. 1992: 62; Балдаев 1997, I: 98]; (без уд.) «**ГУТИНЪ?** м. *астрах*[анское]. геморой, почечуй» [Даль 1955, I: 408]. + **Сарат**. [без года] [СРНГ 1972, 7: 161]. Возможно, Даль подозревал неверное прочтение слова с тем же корнем, что в «**Гузёнка**, и, *ж.* <…> 2. Болезнь, происходящая от выпадения конца прямой кишки» [СРНГ 1972, 7: 136]. Ср. редкое смешение *з* – *т*: «**ЗУРКАТЬСЯ?** (*туркаться?*) *вят*[ское]. стучаться» [Даль 1955, I: 696; Шаповал 2009: 165].
20. «**Дадо́н** – неуклюжий человек» [Мильяненков 1992: 110; Балдаев и др. 1992: 63; Балдаев 1997, I: 101]; «**ДАДО́НЪ?** м. *вл*[а]*д*[имирское]. неуклюжій, нескладный, несуразный человѣкъ» [Даль 1955, I: 414]. + «От имени царя Дадона — героя сказок» [СРНГ 1972, 7: 170]. После Даля не фиксировалось.
21. «**Де́дер** (*мн.*) – дьявол, нечистая сила» [Мильяненков 1992: 111]; (ин.) [Балдаев и др. 1992: 65; Балдаев 1997, I: 106]; «**ДЕ́ДЕРЪ?** м. *тв*[е]*р*[ское] бранно, нечистый, діяволъ. *Дедер т'я возьми!*» [Даль 1955, I: 425]. + Еще *дедерь* [Даль 1904, I: 1054; Оп. 1852: 46], *дёдер* 'то же' [СРНГ 1972, 7: 205].
22. «**Дёма** – обманщик; плут» [Мильяненков 1992: 112; Балдаев и др. 1992: 66; Балдаев 1997, I: 107]; «**ДЁМА,** ***дёмка?*** об. *твер*[ское]. обманщикъ, плутъ» [Даль 1955, I: 497; Опд. 1858: 40]. + **Новг**. [без года] [СРНГ 1972, 7: 217].
23. «**Ерути́на** – ласкательное слово, равноценное по значению словам "любимый", "милый"» [Мильяненков 1992: 118]; «**ЕРУТИНА** – букв.: любимый, милый» [Балдаев и др. 1992: 75; Балдаев 1997, I: 124]; «**ЕРУТИ́НКА?** об. *пен*[зенское]. ласкательное слово, привѣтъ; милый, желанный, болѣзный» [Даль 1955, I: 522; СРНГ 1972, 9: 36]. Не ясно, чем вызван вопрос Даля, ср. столь же темное и экспрессивное, но негативное: «**Ерупи́тка**, и, *м.* и *ж.* Ротозей, разиня. **Ворон**. *Ух ты, ерупитка с носом!* **Тамб**., 1911» [СРНГ 1972, 9: 35]. Возможно, как-то связано с татарск. *яратан* 'люблю'?

[8] «Некоторое подобие категории рода имеется в системе монгольских словообразовательных суффиксов, обозначающих <…> возраст животных, напр. монг. *гунан* "трехгодовалый" ~ *гунжин* "трехгодовалая"» [Тодаева 1997: 151].

24. «**Завирова́ть** – задержать; подкупить» [Мильяненков 1992: 122; Балдаев и др. 1992: 82; Балдаев 1997, I: 137], понято как совершенный вид: «**ЗАВИ́РОВАТЬ?** (*вира?*) кого, задарить, подкупить» [Даль 1955, I: 560]; ср. несовершенного вида: «**ЗАВИ́РОВАТЬ**, *гл. д.* Задаривать, надѣясь чрезъ то получить что либо. Псков. Твер. *Осташ.*» [Опд. 1858: 53; СРНГ 1972, 9: 317; ПОС 1995, 11: 80]. Похоже, после Даля не фиксировалось. При цитировании «задарить» прочитано как «задержать» ('арестовать').
25. «**За́евый** – запасный; лишний» [Мильяненков 1992: 123; Балдаев и др. 1992: 84; Балдаев 1997, I: 141]; (без уд.) «**ЗАЕВЫЙ?** *вор.* лишний, запасной»; «**ЗА́ИВЫЙ, *за́евый?*** <…> залишний» [Даль 1955, I: 576, 580; Опд. 1858: 221 (надо: 321), 56]. + **Дон.**, **Терск.**, **Пенз.** [без годов] [СРНГ 1974, 10: 74, 196].
26. «**Зо́тка** – всезнайка» [Мильяненков 1992: 128]; но: «болтун, хвастун» [Балдаев и др. 1992: 93; Балдаев 1997, I: 163]; «**ЗО́ТКА?** об. у школяровъ, знатокъ, умница, всезнайка» [Даль 1955, I: 694; Анищенко 2007: 105], саратовское [Опд. 1858: 68]. + Хакасс. **Краснояр.**, 1967 [СРНГ 1976, 11: 346].
27. «**Ре́вка** – хвойный лес» [Мильяненков 1992: 221; Балдаев и др. 1992: 208; Балдаев 1997, II: 14]; «**РЕ́ВКА?** ж. *арх*[ангельское]. хвойный боръ» [Даль 1955, IV: 88; СРНГ 2001, 35: 7]. В этом значении только у Даля. Возможно, вопрос вызван колебаниями между *ревка* и *рёвка*.
28. «**Ри** – болото, покрытое мхом» [Мильяненков 1992: 221]; (ин.) [Балдаев и др. 1992: 210; Балдаев 1997, II: 16]; «**РИ?** <…> моховое болото» [Даль 1955, IV: 95]. В СРНГ нет. Это нераскрытое сокращение мн. ч. *<миша>ри* [Бурнашев 1843, I: 419; 1844, II: 172], т. е. *ри* – призрачное слово [Шаповал 2009: 177–178].
29. «**Ри́га** – беда; наказание судьбы» [Мильяненков 1992: 221; Балдаев и др. 1992: 210; Балдаев 1997, II: 16]; «**РИ́ГА?** ж. *п*[е]*рм*[ское]. бѣда, мученье, маета, наказанье или кара судьбы» [Даль 1955, IV: 96]. Толкование Даля своеобразно, ср. [Оп. 1852: 191]. + Возм., **Волог.**, 1892 [СРНГ 2001, 35: 101].
30. «**Са́кать** – <…> советоваться» [Мильяненков 1992: 225; Балдаев и др. 1992: 215; Балдаев 1997, II: 26]. У Даля совершенного вида: «**СА́КАТЬ?** *каз*[анское]. <…> посовѣтоваться <…>» [Даль 1955, IV: 129], – что неверно: «**СА́КАТЬ**, *гл. д.* (*сов.* посáкать) Переговаривать, совѣтоваться между собою. *Мы посакаемъ и скажемъ вамъ.* Каз.» [Оп. 1852: 197]. + **Влад.**, 1849, **Пенз.**, 1944 [СРНГ 2002, 36: 48]. У Мильяненкова и Балдаева вид исправлен.
31. «**Сгу́мить** – стащить, украсть» [Мильяненков 1992: 228]; «украсть» [Балдаев и др. 1992: 219; Балдаев 1997, II: 32]; «**СГУ́МИТЬ?** что, *в*[о]*л*[о]*г*[одское]. украсть, стащить <…>» [Даль 1955, IV: 165]. + волог. *сгузить* 'то же' [СРНГ 2003, 37: 47, 48]. Возможно, Даля не устраивала запись *сгумить*. Ср. *гутин*.
32. «**Серёга** – кляча, дохлятина» [Мильяненков 1992: 230]. Ср.: «**СЕРЕГА́?** одеръ, кляча, годная только на убой» [Даль 1955, IV: 176]. Ср. без указания места: «**Серега̀**. Лошадь изнуренная, кляча, годная лишь на убой для охотничьихъ собакъ» [Бурнашев 1844, 2: 203]. + Еще и «**Серёха**, *ж.* Тощая, изнуренная лошадь. <…> **Моск.**, 1968» [СРНГ 2003, 37: 198, 213].
33. «**СИКОВАТЬ** – сердиться, беситься, психовать» [Балдаев и др. 1992: 223; Балдаев 1997, II: 39] (у Мильяненкова нет); «**СИКОВА́ТЬ, *сикта́ть?*** *мск. пск.* сердиться, гнѣваться, браниться» [Даль 1955, IV: 184; Оп. 1852: 203]. + **Твер.**, 1860. **Калин.**, 1972. + и *сикотать* 'то же' [СРНГ 2003, 37: 301, 302].
34. «**Скес** – <…> сатана, дьявол» [Мильяненков 1992: 232]; (ин.) [Балдаев и др. 1992: 225; Балдаев 1997, II: 41]; «**СКЕСЪ?** м. *вл*[а]*д*[имирско]-*шу*[йское] чортъ, сатана, діяволъ <…>» [Даль 1955, IV: 196; СРНГ 2003, 37: 409].
35. «**Сно́та** – догадка; умение» [Мильяненков 1992: 235; Балдаев и др. 1992: 229; Балдаев 1997, II: 49]; «**СНО́ТА?** ж. *м*[о]*ск*[овско].-*вер*[ейское]. догадка, смѣтка, сноровка» [Даль 1955, IV: 249; Оп. 1852: 209; СРНГ 2005, 39: 129–130].
36. «**Спафе́й** – опустившийся человек БОМЖиЗ» [Мильяненков 1992: 238; Балдаев и др. 1992: 231; Балдаев 1997, II: 54]; «**СПАФЕ́Й?** м. *кал*[ужское]. разгульный

мотъ, промотавшійся человѣкъ» [Даль 1955, IV: 289; Оп. 1852: 212; СРНГ 2006, 40: 123].

37. «**Тандѝт** – торговец краденными вещами» [Мильяненков 1992: 245; Балдаев и др. 1992: 241; Балдаев 1997, II: 74]; «**ТАНДИ́ТЪ?** *каз*[анское]. переторжка старыми вещами <род занятий! – *В.Ш.*>; ***тандѝтчикъ***, торгашъ рухлядью» [Даль 1955, IV: 390], «Торгъ старыми вещами» [Оп. 1852: 226]. Толкование «торговец» возникло из «торгаш», которое взято из глубины словарной статьи и у Даля относится к производному *тандитчик* [Шаповал 2004: 31–32]. Ср. *тандита* 'толкучка' [Фасмер 1987, IV: 18].
38. «**Ту́та** – уныние, грусть, тоска» [Мильяненков 1992: 252]; «**ТУТА** – 1. Уныние, грусть, тоска. 2. Наркотики (для инъекций)» [Балдаев и др. 1992: 250; Балдаев 1997, II: 89]. Выписка повторяет неточность, оговоренную Далем: (без уд.) «**ТУТА?** ж. *кал*[ужское]. уныніе, тоска, грусть, скука (Ак[а]д[емическій] Сл[о]в[арь:] не *туга* ли?)» [Даль 1955, IV: 445]. Видимо, мнимое слово, как и считал Даль. Однако источник не определяется, ср.: «**ТУГА́**, и́, *с. ж.* Скорбь, печаль. Коринѳ. 2.4» [Сл. 1822, 4: 804]; «**ТУГА̀**, и́, *с. ж. Церк.* и *Стар.* Стѣсненіе сердца; скорбь...» [Сл. 1847, 4: 303–304]. У Бодуэна глухая отсылка Даля также не уточнена [Даль 1907, IV: 876].
39. «**Тяхта́ть** – отделывать; избивать» [Мильяненков 1992: 254]. Без *т*, но с той же курьезной криминализацией: «**ТЯХАТЬ** – бить, избивать» [Балдаев и др. 1992: 252; Балдаев 1997, II: 92]. Ср.: «**ТЯ́ХТАТЬ?** *тул*[ьское]. отдѣлывать (?) мѣдную посуду, самоваръ» [Даль 1955, IV: 456; Шаповал 2006: 178].
40. «**Фа́я** – хвойный лес» [Мильяненков 1992: 259; Балдаев и др. 1992: 259; Балдаев 1997, II: 107]; (без уд.) «**ФАЯ?** ж. торгв. хвойный лѣсъ; *хвоя*?» [Даль 1955, IV: 533; Бурнашев 1844, 2: 312].
41. «**Халя́ть** – брести, тихо идти» [Мильяненков 1992: 264; Балдаев и др. 1992: 266; Балдаев 1997, II: 119]; «**ХАЛЯ́ТЬ?** *кур*[ское]. брести, волоктись, тихо идти» [Даль 1955, IV: 542], «Тихо идти» [Оп. 1852: 245].
42. «**Ха́ратка** – завистливая женщина» [Мильяненков 1992: 265; Балдаев и др. 1992: 267; Балдаев 1997, II: 120]; «**ХАРА́ТКА?** *н*[о]*вг*[ородское]. злая баба» [Даль 1955, IV: 542; Опд. 1858: 289]. Возможно, усечение слова *лихорадка*.
43. «**Ча́ка** – мясо» [Мильяненков 1992: 272; Балдаев и др. 1992: 277; Балдаев 1997, II: 139]; «**ЧА́КА?** *ол*[онецкое]. овечье мясо» [Даль 1955, IV: 581; Опд. 1858: 297].
44. «**Чамови́тый** – гордый; спесивый» [Мильяненков 1992: 272; Балдаев и др. 1992: 277; Балдаев 1997, II: 139]; «**ЧАМОВИ́ТЫЙ?** (*сановитый?*) *вор*[онежское]. гордый, спесивый» [Даль 1955, IV: 581].

Как оценивать эти почти единодушные (кроме 02 и 33) для двух словарей 1992 г. и уже повторенные другими словарями[9] данные о 44 словах, вызвавших сомнения и вопросы Даля. Были ли они услышаны собирателями жаргона? Или это неправильно трактуемые выписки из Даля? Перейдем к рассмотрению и оценке возможных критериев для решения вопроса.

1) Дословные совпадения в толкованиях. Точные совпадения в толкованиях 42 слов между Далем и Мильяненковым составляют в сумме 70 слов. (Каждое совпадение в таблице 3 ниже условно оценивается в 1 балл.)

2) К ним примыкают еще 13 синонимических или перифрастических переформулировок в толкованиях 11 слов. (Каждая переформулировка на фоне выявленных выше дословных совпадений не может быть случайной и также оценивается в 1 балл.) Таким образом, при каждом слове списка между Далем и Мильяненковым совпали в среднем 1,7–1,9 слова толкования. Иначе говоря, имеется нетривиальная прерывистая цитата в 115–127 слов. Идентифицируемое совпадение такого объема между двумя литературными текстами было бы достаточным доказательством заимствования. Но для словарей этот критерий потенциально неоднозначен. Такая точность возможна (1) либо при неотмеченном цитировании, (2) либо при правке современного словаря по Далю.

[9] Позднейшие словари относятся к этому материалу по-разному. См. п. 17.

Правка независимо зафиксированного материала также маловероятна. Такой оригинальный материал через 150 лет не мог бы совпасть со словарем Даля почти полностью. Д.С. Лихачев отмечал: «Плодовитость воровской речи напоминает плодовитость рыб – чем больше они мечут икры, тем больше ее погибает» [Лихачев 1993: 72]. Хотя бы какие-то однокоренные жаргонизмы, не имеющие параллелей у Даля, за десятилетия употребления 44 слов в жаргоне должны были возникнуть, а другие исчезнуть. Однако слова списка проявляют словообразовательную инертность, что сомнительно для потенциально экспрессивных слов в жаргоне. При отсутствии примеров употребления[10] это подозрительно вдвойне.

Словообразовательные варианты отмечаются только у двух слов списка: (04) *архилин* > *архил*, *архила* 'амулет, приносящий удачу вору' [Грачев 1997: 144; 2003: 39]; (05) *атама* > *атаман* 'состояние заторможенности при приеме некоторых видов наркотиков' [Ломтев, Истомин 2004: 13]. Есть две причины не переоценивать эти данные: а) производные фиксируются только через 5–10 лет после 1992 г.; б) они не совпадают с отмеченными Далем производными от 5 из 44 слов: (02) *авось*, (16) *гмара*, а также (01) *абодье*, (15) *глеча*, (37) *тандит* (см. п. 8). Думается, употребительность в жаргоне как производных от *архилин* и *атама*, так и самих этих слов нуждается в дополнительном изучении.

3) Аномальное предпочтение слов со знаком вопроса у Даля. Обнаруженные 44 слова составляют 3,7 % от общего количества (≈ 1192) заглавных слов с «?» у Даля. А предварительная выборка всех слов, могущих восходить к словарю Даля в тех же словарях, дала 274 слова [Шаповал 2002: 36]. Учитывая, что в словаре всего около 200 тыс. слов, получаем лишь 0,137 %. Даже если принять, что методика полной выборки цитат из Даля «на глаз» не была совершенной, она не могла дать такого сильного отклонения для части материала.

Таким образом, выявляется обратная корреляция: знак «?» у Даля маркирует сомнительные, слабоподтвержденные и уникальные слова, но его наличие повышает вероятность попадания слова к Мильяненкову и Балдаеву в 20 раз. Самое простое объяснение – выборочное копирование источника[11].

4) Алфавитная аномалия выборки. Выявленный выше дисбаланс предпочтений в пользу слов с «?» дополняется другой аномалией. Все 44 слова взяты только из двух крайних томов Даля.

Таблица 1

Распределение слов со знаком «?» по томам в словаре Даля

Состав томов у Даля	I: *А – З*	II: *И – О*	III: *П*	IV: *Р – V*	Всего
Слов с «?» у Даля	346	290	154	402	1192
Из них в словарях 1992 г.	26	**0**	**0**	18	44

Такая аномалия является сильным доводом в пользу того, что 44 слова выписаны прямо из словаря Даля, она же подтверждает, что бралось не 3-е или 4-е издание, где том III охватывает «П – Р», а IV т. включает остаток «С – V».

Эти две аномалии весьма убедительны, но не абсолютны. Все-таки остается минимальный шанс, что в словарях 1992 г. отражен уникальный жаргонный материал, но часть картотеки (совпавшая с III и IV томами Даля) утрачена. Так что надо рассмотреть и оценить и другие особенности списка.

---

[10] Один речевой пример (20) появляется во 2-м издании: «**ВЫЗЛУНИ КОСОГЛАЗЫЕ** – лица азиатского происхождения» [Балдаев 1997, I: 76].

[11] В таком случае предпочтение слов с «?» при выборе цитат из Даля может объясняться тем, что они чаще описываются в коротких и обозримых словарных статьях, так как обычно не имеют однокоренных слов.

5) Сравнение списка с данными словарей территориальных диалектов. Из 44 слов списка 35 начальных позиций (01–27, 29–36) уже отражены в СРНГ (вып. 1–40). После Даля в тех значениях, которые им помечены знаком «?», диалектологи зафиксировали 9 слов (05, 06, 07, 10, 14, 26, 29, 30, 33; подчеркнутые номера дополнены в СРНГ иллюстративными примерами), еще 4 слова получили дополнения без точных дат фиксации (08, 19, 22, 25). Это может говорить об оправданности знаков вопроса у Даля. Действительно, им были помечены уникальные, а часто и сомнительные слова. На этом фоне жаргонные словари отличаются как лаконичностью, так и полнотой: у Мильяненкова пропущено только слово 33, у Балдаева – 02. (Слова, не отмеченные после Даля в СРНГ, но отраженные в списке 44 слов, получают в сводной таблице еще по 0,5 балла за каждый из двух словарей 1992 г.)

Хронологические рамки. По крайней мере, материал Балдаева позиционируется как «в большинстве своем активная лексика», которая «собиралась <...> с середины 1950-х годов по настоящее время» [Балдаев и др. 1992: 3, 9]. Дивная полнота данных выглядит еще резче на фоне СРНГ, где за этот период отмечены лишь 4 слова: 05 – 1961 г., 09 – 1957 г., 26 – 1967 г., 33 – 1972 г.

Территориальные пометы. Географическое распределение материала у Даля вполне ожидаемо для XIX века. Среди 44 слов лишь три не имели географических помет (у Бурнашева и Даля: 28, 32, 40). Только два (06 – камчатское, 17 – восточносибирское) отмечены за Уралом, остальные – в европейских губерниях (иногда сразу в двух). Количественное преобладание европейских фиксаций для столь редких слов сохраняется и после Даля.

Довольно странно, что жаргонная лексика, которая «собиралась почти на всей территории бывшего СССР» [Балдаев и др. 1992: 9], в той части, которая «перекликается» с сомнительными словами у Даля, диалектологам известна мало и по преимуществу из европейских областей России. В СРНГ во 2-й половине XX века за Уралом отмечено только школьное (26) *зотка* ‘всезнайка’.

Те слова, которые после Даля диалектологами не отмечались, в таком нетривиальном ансамбле, вероятнее всего, могли быть взяты лишь у Даля.

6) Пропуск вторых вариантов из Даля. Жаргонные словари 1992 г., 44 раза аккуратно повторяя заглавные слова, трижды игнорируют вторые у Даля варианты этих слов (17 – *гуначи́къ*, 22 – *дёмка*, 33 – *сикта́ть*), не говоря о производных, стоящих в глубине словарных статей (см. п. 8). Критерий сам по себе потенциально неоднозначен. 1) Такая избирательность вероятна, если при неотмеченном цитировании во внимание принимались лишь слова, поставленные Далем на первое место и напечатанные так: **АБОДЬЕ**. При такой трактовке критерий имеет смысл для характеристики стратегии компиляции списка в целом. 2) Та же избирательность может восприниматься и как подтверждение прозорливости Даля, угадавшего бесперспективность вторых вариантов. Однако это маловероятно, учитывая, например, цитирование вслед за Далем сомнительного слова *гунак* (см. п. 9) и проч.

7) Дополнительные совпадения в толкованиях. На тот же источник дополнительно указывает и сохранение в 3 толкованиях специфических слов, встречающихся у Даля, но отсутствующих в известных нам источниках Даля (Оп. 1852; Опд. 1858): 05) «сонливость», 08) «сделать что-то назло», 09) «полоумный (а не полуумный), шальной». Этот критерий усиливает версию о текстуальной зависимости толкований в словарях 1992 г. непосредственно от словаря Даля.

8) Ошибочное отнесение толкования к заглавному слову гнезда. Трижды представлена однотипная ошибка цитирования: (01) толкование «счастливое время» у Даля относится не к *абодье*, а к *абодная пора*; (15) толкование «сало» взято у *глечик* и отнесено к *глеча*; (37) толкование ‘торговец / торгаш’ взято у производного *тандитчик* и отнесено к *тандит*. Это результат непонимания гнездовой структуры словарной статьи. Ошибка могла возникнуть только при цитировании Даля, объединившего в гнездах соответственно: *абодье* и *абодная*, *глеча* и *глечик*, *тандит* и *тандитчик*. Это еще один частный критерий, усиливающий версию о текстуальной зависимости.

9) Копирование мнимых и сомнительных слов. Все 44 слова у Даля уникальны и каждое из них своим «лица необщим выражением» заслуживает отдельного разыскания, но некоторые уникальны, так сказать, вдвойне. Так, при (38) *тута* Даль усомнился: «не *тугá* ли?». Сомнения Даля по поводу (28) *ри* мы можем уточнить: это остаток записи <*миша*>*ри́*. Даже и двух таких совпадений (включающих неизменные толкования) достаточно для идентификации словаря-источника. Сомнительно, чтобы когда-либо звучало в реальности и слово (17) *гунак* 'теленок' (не *гунан*). Получается, что 3 малореальных слова носителями (собирателями) жаргона одновременно могли быть получены только письменным путем и только из словаря Даля. Этот факт не отменяет реальность остальных слов списка, но в целом снижает уровень доверия к словарям 1992 г.

10) Иногда излишняя краткость предполагаемых цитат из Даля приводит к утрате важных отличий в значении слова: (11) ***вытва*** 'отрава' < 'несмертельная отрава для рыбы/зверя'; (12) *гагри* 'обед' < *гагры* 'крестинный обед'; (17) *гунак* 'теленок' < 'теленок по третьему году'; (43) *чака* 'мясо' < 'овечье мясо, баранина', а также (15) *глеча* 'сало' < *глечик* 'подкожное сало, жир'. Непонятно, зачем нужен столь редкий «синоним», если после подобного расширения значения до полной расплывчатости он уже не выражает ничего особенного, ср. [Шаповал 2004: 29].

11) Непонимание толкования. Можно, скрепя сердце, признать пониманис толкования (39) *тяхтать* «отделать» как 'побить' не ошибкой, а метафорой, а трансформацию толкования «игра въ жемчугѣ, желтоватый блескъ» при (15) *глеча* 'жемчуг' – метонимией. Но толкование (24) *завировать* «задержать» (из «задарить») можно объяснить только списыванием. Не исключено, что и (33) *сиковать*, вероятно, лишь по внешнему сходству с *психовать*, получает толкование «беситься» (формально из «браниться»?).

12) Повторение ошибочного глагольного вида. Среди 44 слов у Даля дважды неверно указан вид глаголов: (24) *завировать* отнесено к совершенному виду вслед за Далем, а (30) *сакать* дано с правильным несовершенным видом.

Результаты оценки критериев можно суммировать в таблице: критерии расположены по убыванию применимости, а слова по убыванию суммарного «балла сомнения». 1 балл – это, условно говоря, уровень доказательности, достаточный, чтобы усомниться в данных словаря. В сумме критерии позволяют обосновать сомнения для разных слов с «запасом прочности» от 2 до 7 раз.

Еще ряд критериев характеризует стратегию компиляции в целом.

13) Расстановка ударений у Мильяненкова (у Балдаева ударений нет). Пунктуальность в совпадении записей слов между Далем и Мильяненковым вступает в заметное противоречие с своеобычной расстановкой ударений у последнего: 14 слов из 43 отличаются ударением (отмечено знаком «акута») от Даля (место ударения подчеркнуто): **Аббо́дье**, **А́рхилин**, **Ата́ма**, **Вытва**, **Га́зить**, **Гле́ча**, **Гма́ра**, **Гури́ться**, **Гу́тин** (Даль без удар.), **Завирова́ть**, **Серёга**, **Тяхта́ть**, **Фа́я** (Даль без удар.), **Ха́ратка**. Критерий потенциально неоднозначен. 1) Эти различия могут свидетельствовать об акцентологической революции, затронувшей через полтора века целую треть раритетного списка. 2) Эти же различия могут доказывать то, что ударения в 1992 г. расставлены наугад. В согласии с «духом» источника предпочтительно второе объяснение. Выписки из Даля делались с пропуском ударений. При подготовке к изданию они расставлялись наобум. Ср. похожий подход к другим словам (правильное место ударения подчеркнуто): «**Вши́варь** – мелкий вор»; «**Голо́ва** – кинотеатр», «**Кара́ндаш** – ломик»; «**Ку́пец** – опытный карманный вор»; «**Ха́ре** – хватит; достаточно; хорошо» [Мильяненков 1992: 100, 105, 134, 151, 265] и мн. др. Правомерен следующий вывод: если компилятор принял каждое третье слово списка с сомнительным ударением, то, вероятно, он не имел уверенности и в звучании остальных слов списка. Это еще одно доказательство цитирования Даля.

14) Пометы. Цитаты из Даля в словарях 1992 г. не имеют регулярных помет. Помета «ин.» встречается у Балдаева при 11 словах рассматриваемого списка: 04, 05, 06,

Таблица 2

Суммарная оценка 44 слов по критериям

Критерии	*1*	*2*	*3, 4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	Σ
01. Абодье	3	1	1	1			1					7
03. Агач	4		1	1								6
15. Глеча	1	1	1	1			1		1	?		6
24. Завировать	2		1	1						1	1	6
17. Гунак	1		1	1	1			1	1			5
08. Вздонжить	3		1	0		1						5
23. Ерутина	3		1	1								5
38. Тута	3		1					1				5
04. Архилин	1	1	1	1								4
09. Вызлунь	2		1	0		1						4
11. Вытва	1		1	1					1			4
12. Гагри	1		1	1					1			4
16. Гмара	1	1	1	1								4
20. Дадон	2		1	1								4
21. Дедер	2		1	1								4
22. Дёма	2		1	0	1							4
27. Ревка	1	1	1	1								4
28. Ри	2		1					1				4
29. Рига	3		1	0								4
31. Сгумить	1	1	1	1								4
33. Сиковать	2		1	0	1					?		4
34. Скес	2		1	1								4
35. Снота	1	1	1	1								4
36. Спафей	1	1	1	1								4
37. Тандит	2		1				1					4
41. Халять	3		1									4
02. Аводь	2		1	0,5								3,5
05. Атама	1		1	0		1						3
07. Боршать	1	1	1	0								3
13. Газить	1		1	1								3
14. Гирший	1	1	1	0								3
18. Гуриться		1	1	1								3
25. Заевый	2		1	0								3
26. Зотка	1		1	1								3
32. Серёга	1		1	1								3
40. Фая	2		1									3
42. Харатка		2	1									3
43. Чака	1		1						1			3
44. Чамовитый	2		1									3
06. Батас	1		1	0								2
10. Вынь	1		1	0								2
19. Гутин	1		1	0								2
30. Сакать	1		1	0							0	2
39. Тяхтать	1		1							?		2

10, 12, 14, 15, 19, 21, 28, 34, из них с пометой «*мн.*» у Мильяненкова дано (21) *дедер*. Видимо, пометы добавлялись спорадически, как и знаки ударения. Почти все они приходятся на первую половину списка. Несомненно, пометы «*мн.*» и «ин.» не релевантны для опознания цитат из Даля.

15) Реконструкция первоначального смысла цитирования Даля. Очевидно, выписки первоначально делались для сопоставления с жаргонизмами. Однако такие гипотетические параллели угадываются лишь к нескольким словам. Из Даля выписывались значения, ранее не отмеченные для жаргонизмов: к *агач* 'согласен, хорошо' [Мильяненков 1992: 76] добавлено (03) *агач* 'полуторный пай'; к *скес* 'скупой; трусливый' [Мильяненков 1992: 232] – (34) *скес* 'сатана, дьявол'; к *рига* 'рвота' [Ломтев, Истомин 2004: 217] – (29) 'беда'; к *сакать* 'симулировать; бездельничать' [Мильяненков 1992: 225] – (30) 'советоваться'; к *тута* 'наркотик' [Мильяненков 1992: 252] (ошибочно из *гута*, лат. *gutta* 'капля' в названии медикаментов) – (38) *тута* 'уныние, грусть, тоска'. Думается, в ходе работы компилятор подпал под обаяние Даля и стал грести материал шире, ориентируясь и на отдаленное созвучие: *газета* 'предмет для нанесения побоев' [Мильяненков 1992: 101] – (13) *газить* 'ломать'; *гунчик* 'гривенник' [Мильяненков 1992: 109] – (17) *гунак* 'теленок'; *хилять* 'бежать; идти' [Мильяненков 1992: 264] – (41) *халять* 'брести, тихо идти'. Кроме того, увлечение материалом сказалось в произвольной криминализации толкований.

16) Криминализация толкований (в 01, 04, 05, 16, 18, 24, 37, 39), отсутствующая у Даля и (для подчеркнутых слов) в СРНГ, может свидетельствовать о противоположных вещах: а) это отражение жаргонной речи; б) это имитация соответствия выписок жаргонному словарю. Второе вероятнее в свете точного цитирования несуществующих слов и ошибок Даля (см. п. 9, 12).

Отсутствие подобной криминализации в СРНГ нельзя объяснить «секретностью» жаргона. Для сравнения из словаря Балдаева было выбрано 35 случайных жаргонизмов без помет, следующих сразу вслед за словами, уже отраженными в СРНГ (01–27, 29–36). В этой контрольной группе выявлено 11 семантических совпадений с диалектизмами СРНГ[12]. Так что элементы криминализации в словарях 1992 г. возникают почему-то лишь у нескольких из 44 проверяемых слов. Это не добавляет доверия таким толкованиям.

17) Позднейшие словари относятся к этому материалу по-разному. В «Большом словаре русского жаргона» [Мокиенко, Никитина 2000] из 44 слов в тех же значениях отмечены 39 слов, а отсутствуют 5 (17, 19, 23, 27, 34). Пространный «Словарь тысячелетнего русского арго» М.А. Грачева из 44 дает лишь 12 слов [Грачев 2003]. В сокращенный «Толковый словарь русского жаргона» включено лишь 8 слов [Грачев 2006], что может подразумевать неупотребительность сокращаемого материала (впрочем, опущены 4 первых слова на *а-*). От этих словарей, составленных лингвистами, нет заметных отличий и в словаре криминологов: из 44 дано 14 слов [Ломтев, Истомин 2004]. Еще в двух словарях криминологов встретилось только одно слово списка (20): «**ДАДОН** – неповоротливый человек» [Дубягина, Смирнов 2001: 55; Дубягина и др. 2006: 43].

Таблица наглядно показывает, что три словаря заметно лучше воспроизводят первую половину списка. Вряд ли это воссоздает реальную употребительность 44 слов. Вероятно, это обусловлено обстоятельствами письменного копирования. Ср. похожее распределение помет «ин.» (п. 14).

Как видим, рассмотренные критерии обладают разным весом и степенью применимости, но суммарно они позволяют обосновать общий вывод: рассмотренные 44 слова в указанных значениях в словари 1992 г. Л.А. Мильяненова и Д.С. Балдаева с соавторами попали как непомеченные выписки из словаря Даля. Цитаты из словаря полутораве-

---

[12] (01) *абопол* (*абапал, обапол*) 'палка'; (06) *батать* 'говорить'; (07) *босота* 'бедняки'; (09) *вызудить* 'выпить'; (13) *газовать* 'пить'; (19) *гуща(ра)* 'заросли'; (26) *зрячий* 'случайный'; (29) *радик(уль)* 'ридикюль'; (31) *сдать* 'отдать / выдать (человека против воли)'; (32) *серёжка* 'замок'; (34) *скесовать* 'жадничать'.

Таблица 3

Представленность 44 слов списка в позднейших словарях

БСЖ				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		18		20
21			24	25	26		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Гр. '03 (**'06**)				01	02	03	04	**05**	**06**	**07**						13	14						
	22		**24**									**33**											
Л. и И. '04				01	02	03	04	05	06										16				
								29				33				37	38	39				43	44

Условные сокращения:
БСЖ – «Большой словарь русского жаргона» [Мокиенко, Никитина 2000].
Гр. '03 – «Словарь тысячелетнего русского арго» [Грачев 2003].
Гр. '06 – «Толковый словарь русского жаргона» [Грачев 2006] (полужирный подчеркнутый).
Л. и И. '04 – «Словник корпоративного жаргона представителей преступного мира и маргиналов» [Ломтев, Истомин 2004].

ковой давности, выдаваемые за современные жаргонизмы, не добавляют достоинств научному и справочному изданию. В перспективе возможен и желателен перенос выявленных критериев на более широкий материал для уточнения границ всего этого слоя компиляции.

В заключение уточним границы применимости полученных выводов. Текстологические приметы позволяют **доказать** факт письменного заимствования. Если сегодня вдруг обнаружится, что слово *вызлунь* употребляется носителями криминального жаргона в значении 'глупый и жестокий человек', то это не отменит того факта, что в 1992 г. в словари жаргона это же слово, но с иным значением было списано из словаря Даля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аникин 2000 – *А.Е. Аникин.* Этимологический словарь русских диалектов Сибири. 2-е изд., доп. Новосибирск, 2000.

Аникин 2007–2009, 1–3 – *А.Е. Аникин.* Русский этимологический словарь. Вып. 1–3. М., 2007–2009.

Анищенко 2007 – *О.А. Анищенко.* Словарь русского школьного жаргона XIX века. М., 2007.

Анненков 1878 – *Н.И. Анненков.* Ботанический словарь. СПб., 1878.

АОС – Архангельский областной словарь. Вып. 1, 8, 9. М., 1980, 1993, 1996.

Астахина 2007 – *Л.Ю. Астахина.* Лингвистическое источниковедение и русская историческая лексикология // Единым письмен употреблением памяти подкрепляется вечность. СПб., 2007.

Балдаев и др. 1992 – *Д.С. Балдаев, В.К. Белко, И.М. Исупов.* Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона. Одинцово, 1992.

Балдаев 1997 – *Д.С. Балдаев.* Словарь блатного воровского жаргона: В 2 т. М., 1997.

Браславец, Шатунова 1977 – *К.М. Браславец, Л.В. Шатунова.* Словарь русского камчатского наречия. Хабаровск, 1977.

Бурнашев 1843–1844, I/II – *В.Н. Бурнашев.* Опыт терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта народного. Т. I–II. СПб., 1843–1844.

Грачев 1997 – *М.А. Грачев.* Русское арго. Нижний Новгород, 1997.

Грачев 2003 – *М.А. Грачев.* Словарь тысячелетнего русского арго. М., 2003.

Грачев 2006 – *М.А. Грачев.* Толковый словарь русского жаргона. М., 2006.

Даль 1955 – *В.И. Даль.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. М., 1955.

Даль 1904–1907 – *В.И. Даль.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. СПб.; М., 1904–1907.

Дубягина, Смирнов 2001 – *О.П. Дубягина, Г.Ф. Смирнов.* Современный русский жаргон уголовного мира. Словарь-справочник. М., 2001.
Дубягина и др. 2006 – *О.П. Дубягина, Ю.П. Дубягин, А.Г. Горелов, О.И. Гречишников.* Средства коммуникации преступного мира. М., 2006.
Дьячок 2000 – *М.Т. Дьячок.* Диалектная лексика в современных русских арго // Наука. Университет. 2000. Материалы научн. конф. Новосибирск, 2000.
Кузьмищев 1842 – *П.Ф. Кузьмищев.* Собрание особенных, или имеющих другое значение слов и некоторых выражений, употребляемых на Камчатке // Москвитянин. 1842. Ч. 2. № 3.
Лихачев 1993 – *Д.С. Лихачев.* Черты первобытного примитивизма воровской речи // Д.С. Лихачев. Статьи ранних лет. Тверь, 1993.
Ломтев, Истомин 2004 – *А.Г. Ломтев, П.А. Истомин.* Словник корпоративного жаргона представителей преступного мира и маргиналов. Ставрополь, 2004.
Мильяненков 1992 – *Л.А. Мильяненков.* По ту сторону закона. СПб., 1992.
Мокиенко, Никитина 2000 – *В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина.* Большой словарь русского жаргона. СПб., 2000.
Мосеев 2005 – *И.И. Мосеев.* Поморьска говоря. Архангельск, 2005.
Оп. 1852 – Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852.
Опд. 1858 – Дополнение к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1858.
Основы 1974 – Основы финно-угорского языкознания. М., 1974.
ПОС 1990, 1995, 8, 11 – Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 8, 11. Л.; СПб., 1990, 1995.
Сл. 1847 – Словарь церковнославянского и русского языков. Т. IV. СПб., 1847.
Сл. 1822 – Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. Ч. IV. СПб., 1822.
СРНГ 1965–2007, 1–41 – Словарь русских народных говоров. Вып. 1–41. М.; Л.; СПб., 1965–2007.
Тодаева 1997 – *Б.Х. Тодаева.* Монгольские языки // Языки мира. Монгольские языки. Тунгусо-маньчжурские языки. Японский язык. Корейский язык. М., 1997.
Трахтенберг 1908 – *В.Ф. Трахтенберг.* Блатная музыка. СПб., 1908.
Фасмер 1986–1987 – *М. Фасмер.* Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. М., 1986–1987.
Шаповал 2001 – *В.В. Шаповал.* Текст источника как объект анализа для историка и филолога. М., 2001.
Шаповал 2002 – *В.В. Шаповал.* Источниковедение и лексикография жаргона. 3 // Opuscula glottologica professori Cyrillo Timofeev. M., 2002.
Шаповал 2003 – *В.В. Шаповал.* Как не нужно цитировать Даля // Русское слово. Материалы междун. научн. конф. Орехово-Зуево, 2003.
Шаповал 2004 – *В.В. Шаповал.* Классификация некорректных толкований // Гуманитарные науки. Сборник статей. Вып. 22. М., 2004.
Шаповал 2005 – *В.В. Шаповал.* Псевдоархаизмы в словарях жаргона // Известия Уральского гос. пед. ун-та. Лингвистика. Вып. 16. Екатеринбург, 2005.
Шаповал 2006 – *В.В. Шаповал.* Мнимые неологизмы в жаргонных словарях // Русская академическая неография. Материалы междунар. конф. СПб., 2006.
Шаповал 2008 – *В.В. Шаповал.* Новые «цыганизмы» в русских жаргонных словарях // ВЯ. 2008. № 6.
Шаповал 2009 – *В.В. Шаповал.* В.И. Даль и критика словарей: заглавное слово со знаком вопроса // Русский язык в научном освещении. № 1 (17). М., 2009.
Mańczak 2009 – *W. Mańczak.* O kryteriach prawdy w językoznawstwie // Prawda – prawdy – mity – fałsze w językoznawstwie. – Warszawa, 2009.
Rédei 1988 – *K. Rédei.* Uralisches Etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Wiesbaden, 1988.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2010 г. В.М. АЛПАТОВ, М.И. ИСАЕВ

ВЫДАЮЩИЙСЯ ИРАНИСТ И ТЕОРЕТИК ЯЗЫКОЗНАНИЯ В.И. АБАЕВ
(к 110-летию со дня рождения ученого)

В статье рассматриваются основные идеи и этапы деятельности выдающегося лингвиста Василия Ивановича Абаева.

Выдающийся ученый-филолог двадцатого столетия Василий Иванович Абаев родился 15 декабря 1900 г. в с. Коби Душетского уезда Тифлисской губернии (ныне Казбегского района Грузии). Начальное образование он получил в сельской Кобийской школе, а среднее – в Тифлисской 6-й классической гимназии (1910–1918). Несколько лет он работал учителем в Кобийской начальной школе, а затем (1922 г.) поступает в Петроградский государственный университет на иранский разряд этнолого-лингвистического отделения факультета общественных наук.

Еще будучи студентом, В.И. Абаев публикует свои первые научные работы, а по окончании вуза, в 1925 г., по предложению Н.Я. Марра он зачислен аспирантом Научно-исследовательского института сравнительного изучения языков и литератур Запада и Востока при ЛГУ. Его научный руководитель Н.Я. Марр обратил внимание на активную исследовательскую деятельность своего аспиранта и по окончании учебы направляет его на работу в Кавказский историко-археологический институт Академии наук СССР (в 1928 г.). Через два года, в 1930 г., он зачисляется научным сотрудником Яфетического института Академии наук, впоследствии переименованного в Институт языка и мышления АН СССР.

В 1935 г. В.И. Абаеву, автору 36 печатных трудов, присуждена степень кандидата филологических наук (без защиты диссертации). В том же году ученый был командирован в Осетию со специальным заданием Президента Академии наук для научной консультации издания осетинского нартовского эпоса. Оторванный от Ленинграда войной, он в период с 1941 по 1945 г. работает в Северо-Осетинском и Юго-Осетинском научно-исследовательских институтах, затем возвращается в Ленинград и продолжает работать в Институте языка и мышления, который после языковедческой дискуссии 1950–1952 гг. был переименован в Институт языкознания АН СССР. Основной его костяк перебазировался в Москву, куда был переведен и наш ученый. В 1962 г. ему была присуждена степень доктора филологических наук (опять без защиты диссертации), а в 1969 г. – присвоено звание профессора.

В.И. Абаев был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и рядом медалей; ему присвосно почетное звание заслуженного деятеля науки Северо-Осетин-

ской АССР (1957), заслуженного деятеля науки Грузинской ССР (1980), ему присуждена Государственная премия имени Коста Хетагурова (1966), Государственная премия СССР (1981), премия имени академика Чикобавы (1998). Кроме того, В.И. Абаев избран почетным членом Азиатского Королевского общества Великобритании и Ирландии (1966), членом-корреспондентом Финно-угорского общества (Хельсинки, 1973) и почетным членом РАЕН (секция «Российские энциклопедии», 1992).

Научное творчество – труды В.И. Абаева – поражают не только своим количеством, но и разнообразием тематики, а также основательностью. Характерной же чертой исследовательского почерка их автора является постоянное стремление к теоретическим обобщениям. Отсюда и обилие идей в работах ученого. Многие из этих идей являются концептуальными и встречаются в трудах, посвященных проблемам различных отделов языкознания, литературоведения, нартоведения.

I

Первые новые идеи В.И. Абаева опубликованы в его осетиноведческих трудах, охватывающих все стороны языка и фольклора осетин.

В области фонетики новые положения выдвинуты прежде всего по вопросам ударения и фонологии.

Дело в том, что предшественники В.И. Абаева (академики А.М. Шегрен, В.Ф. Миллер и др.) потерпели неудачу в попытках установить закономерности осетинского ударения. Они стремились решить проблему путем постановки ударения на отдельном слове. Но в потоке речи ударение на отдельном слове меняло место, а то и вовсе исчезало.

За решение проблемы взялся молодой исследователь В.И. Абаев и провел кропотливую работу. Он записал у сказителей 10 нартовских сказаний, проставил ударения и выдвинул идею о том, что «Satzakzent представляет одну из интереснейших глав осетинской грамматики, где скрещиваются вопросы фонетики, семантики, синтаксиса и, в конечном счете, языковой типологии» [Абаев 1939: 7–8].

Ученый выявил, что в потоке живой речи группа слов, находящихся в определенной синтаксической связи, может носить одно единственное основное ударение (не считая вторичных, очень слабых). Подобные группы он назвал «акцентуальными комплексами». Далее устанавливается, что всегда комплексы образуют:

1) предлог с управляемым словом;
2) определение с определяемым;
3) глагол в неопределенном наклонении с дополнением к нему;
4) сложное сказуемое, где имя предшествует вспомогательному глаголу.

Итогом реализации новой идеи ученого явилось установление «основных акцентуальных законов иронского наречия (одного из двух основных диалектов осетинского языка, одинаковые как для отдельных слов, так и для групп, как бы много слов они ни включали)» [Абаев 1949а: 530].

Из новых идей В.И. Абаева в области осетинской фонологии следует указать и на выявление так называемого «четвертого ряда смычных». Если до него иранисты-осетиноведы вели речь о трех рядах смычных (ряд звонких, ряд глухих придыхательных, ряд смычно-гортанных), то В.И. Абаев к ним добавляет «четвертый ряд», т. е. ряд глухих непридыхательных. Он устанавливает также конкретные случаи их появления: а) после глухих спирантов *с*, *х*, *ф*; б) в так называемой геминации.

Согласные четвертого ряда в осетинском довольно многочисленны. Однако, как устанавливает ученый в специальной работе [Абаев 1949а: 512 и сл.], они не могут быть названы в осетинском фонемами в полном смысле, а остаются фонетическими вариантами соответствующих смычных.

Плодотворными и концептуальными оказались идеи, сформулированные по вопросам появления в осетинском языке так называемых «смычно-гортанных согласных». Ученый подверг глубокому исследованию эту проблему, по которой опубликовал несколько работ. В этих трудах автор анализирует данную проблему и делает обоб-

щения, значение которых выходит далеко за рамки осетиноведения и даже индоевропеистики.

Опираясь на высказывания, с одной стороны, В.Ф. Миллера, с другой – Н.Я. Марра, В.И. Абаев изучил вопрос о появлении и употреблении в осетинском языке смычно-гортанных фонем *къ*, *пъ*, *тъ*, *цъ*, *чъ*. Ученый показывает на конкретном языковом материале, что смычно-гортанные не имеют в осетинском широкого распространения, и в период формирования осетинского языка они не составляли органического элемента его фонологической структуры. «Они входили в язык вместе с кавказской лексикой и лишь постепенно в некоторые некавказские слова. Так как освоение их требовало известных усилий и сопровождалось напряжением артикулирующих органов, то они стали охотно употребляться для выражения понятий физического усилия и для звукоподражаний соответствующего круга» [Абаев 1949а: 524]. С увеличением числа слов, содержащих смычно-гортанные, эти звуки стали приобретать смыслоразличительное значение, т. е. превратились в фонемы осетинского языка.

Материал, собранный и исследованный В.И. Абаевым, подтверждает и возводит в ранг прочно установленного факта положение о том, что смычно-гортанные появились в осетинском из «кавказских» языков так же, как и в армянском. Однако степень проникновения этих фонем в два языка разная: в армянский они вошли глубже, чем в осетинский.

В.И. Абаеву принадлежит и другое исследование в области консонантизма – появление в иронском диалекте новых фонем-аффрикат *ч*, *дж*, *чъ*. Он показал, что эти фонемы возникли благодаря палатализации задненебных простых смычных *к*, *г*, *къ* перед гласными *и*, *е*, *ы*. Правильность этого положения нетрудно показать на двух фактах современного осетинского языка. Во-первых, существует в современном литературном (иронском) языке фонетический закон, согласно которому переход *к*, *г*, *къ* перед гласными *и*, *е*, *ы* соответственно в *ч*, *дж*, *чъ* является живым процессом. Например:

лæ г «человек» – *лæ джы* «человека»

карк «курица» – *карчимæ* «с курицей»

дæ ркъ «козленок» – *дæ рчъы* «козленка» и т. д.

Во-вторых, простые смычные сохранились в более архаичном дигорском диалекте. Например:

диг. *кизгæ* – ир. *чызг* «девушка»

къирæ – *чъыр* «известь»

гетъре – *джитъри* «огурец»

кепена – *чепена* «хороводный танец».

Этот переход совершился в течение последних столетий.

Наконец, автор указывает еще на один фонетический процесс, происходящий в тот же период. Это замена начального *æ* в иронском гласным *ы*.

В.И. Абаеву принадлежит также идея о делении осетинских гласных на «сильные» и «слабые». Дело в том, что осетинские гласные восходят исторически к долгим или кратким, которые четко противопоставлялись друг другу в древнеиранском. Долгие от кратких отличались главным образом большей протяженностью. Подобное деление сохраняется и в среднеиранских языках (например, в среднеперсидском), а также в некоторых современных иранских языках (например, в белуджском).

Что касается большинства современных иранских языков, то в них на место чисто количественному противопоставлению в той или иной степени пришло противопоставление качественное.

В осетинском языке количество гласных (их протяженность) также претерпело большие изменения. Тем не менее иранисты и осетиноведы продолжали именовать осетинские гласные по традиционной иранской терминологии «долгими и краткими». Однако, если подобное название можно сохранить для дигорского вокализма (где противопоставление гласных по их протяженности сохранилось намного лучше), то для иронского оно уже не отражает самого существа дела. В иронском вокализме на первый план выступает не *количество* (долгота) гласных, а их *качество*. Но и старое распре-

деление гласных на долгие и краткие не исчезло бесследно. Поэтому применительно к иронским гласным весьма приемлемо название, предложенное В.И. Абаевым, – «сильные» (*а*, *о*, *и*, *у*, *е*) и «слабые» (*æ*, *ы*). Сильные восходят, как правило, к историческим долгим, а слабые – к кратким. Сильные и слабые по-разному ведут себя до сих пор в целом ряде случаев (при постановке ударения, при встрече и др.).

Будучи историком языка, В.И. Абаев в то же время неутомимо трудится над выявлением особенностей строя современного осетинского языка. Более того, нынешнее состояние элементов структуры языка становится тем плацдармом, опираясь на который ученый совершает глубокие экскурсы в историю языка. С другой стороны, зачастую историзм как лингвистический метод становится в умелых руках В.И. Абаева верным ключом для вскрытия многих тайников современного осетинского языка и выдвижения новых концептуальных идей. Так, он подверг глубокому анализу многие фундаментальные проблемы грамматики современного осетинского языка. Среди них особо следует выделить проблемы *склонения*, *спряжения* и *превербов*.

В течение многих десятилетий одной из «горячих точек» осетинской грамматики является падежная система. Эта лингвистическая проблема имеет свою историю. Ее разрабатывали все корифеи осетиноведения (А. Шегрен, Вс. Миллер и В.И. Абаев), ее касались почти все исследователи осетинского языка, о ней спорили и спорят поныне. Чаще всего осетиноведы скрещивают шпаги по вопросу о винительном падеже. Одни говорят, что в осетинском языке существует этот падеж, другие категорически отрицают его наличие. В.И. Абаев выступил со статьей «О винительном падеже в осетинском» [Абаев 1949б]. В статье с довольно скромным названием автор поднимает ряд принципиальных осетиноведческих и даже общеязыковедческих вопросов.

Дело в том, что утвердившееся еще со времен Клапрота мнение об индоевропейском характере осетинского языка нередко сковывало осетиноведов в их исследовательской практике. В то время еще не была открыта «вторая природа» осетинского языка – кавказский субстрат. Вот почему не удивляет наличие винительного падежа, для которого не существует особого грамматического показателя, в падежных системах А. Шегрена и Вс. Миллера.

Вполне естественно, что, открыв кавказский субстрат, В.И. Абаев отказался от многих установившихся догм, включая и систему падежей.

Если начинать с А. Шегрена, основоположника осетиноведения, то в его восьмипадежной системе (именительный, звательный, винительный, дательный, родительный, местный внутренний, местный внешний, отводительный) прочное место занимает винительный. К перечисленным выше падежам Вс. Миллер добавил еще два: совместный падеж с окончанием *-имæ* и адессив с окончанием *-ыл*.

Падежная система Шегрена–Миллера спустя более полувека была подвергнута глубокому анализу; в результате в нее был внесен ряд существенных изменений, включая и названия. Это касается прежде всего наименования падежей: а) падеж на *-мæ*, *-æмæ*, который назывался ранее *местным внешним*, В.И. Абаев предложил назвать *направительным*; б) падеж на *-ыл*, *-уыл*, диг. *-бæл*, называемый Миллером *адессивом*, В.И. Абаев именует *местным внешним*. Общепринятым стал и введенный В.И. Абаевым новый *уподобительный* падеж. Он предложил также исключить из падежной системы *винительный* падеж, который в осетинском не имеет специального морфологического оформления.

Если в вопросе о названиях падежей и включения в схему уподобительного падежа ученый не встретил серьезных возражений, то с исключением винительного падежа дело обстояло иначе. С этим падежом расстаются неохотно.

В.И. Абаев подчеркивает, что при установлении падежной системы не следует смешивать двух моментов: морфологической характеристики падежа и его синтаксической функции. Дело в том, что одна и та же флексия может выполнять разные функции и, наоборот, одна и та же функция может выражаться разными падежами. Поэтому при установлении морфологической системы изменения слов (т. е. склонения) нужно исходить только из морфологической характеристики, а не из функции.

Вопросы, связанные с *глаголом*, изучаются в целом ряде трудов В.И. Абаева. Специально посвящаются проблеме осетинского глагола работы «К истории осетинского спряжения» и «О залоговой недифференцированности причастий».

В первой из них автор исследует вопрос о различных формах прошедшего времени в глаголах непереходных и переходных. Он после глубокого исторического изучения вопроса приходит к заключению, что осетинский язык для различения форм непереходных и переходных глаголов в прошедшем времени использовал две формы одного и того же вспомогательного глагола «быть» (*айн*, *уаин*).

В работе «О залоговой недифференцированности причастий» В.И. Абаев исследует вопрос о залоговом делении осетинских причастий. Автор приходит к заключению, что «залоговые границы между ними весьма текучи и зыбки. Видимая залоговая четкость в причастиях настоящего и прошедшего времени рассеивается при более близком рассмотрении» [Абаев 1949а: 571].

Глубокому исследованию подверглись в трудах В.И. Абаева осетинские *превербы*, которые привлекают внимание ученых своей полифункциональностью. Они выполняют целый ряд функций: *видообразовательную*, *словообразовательную*, *словоизменительную* и др.

А. Шегрен отметил такие функции превербов, как а) локативная, б) словоизменительная, в) функция качественной характеристики действия. Вс. Миллер наряду с этимологией превербов дал более точные характеристики пространственных значений превербов. Особо отмечена видообразовательная функция преверба *фæ*. Ученый выделил также превербы, встречающиеся лишь в сращениях.

Тем не менее, функциональная сторона превербов долгое время оставалась недостаточно изученной. Почти не раскрыта их видообразовательная функция и недостаточно выявлены их пространственные значения.

В дальнейшем, в связи с раскрытием «второй (кавказской) природы» осетинского языка, стало возможным выявление новых закономерностей в функциях превербов. Стала очевидной недостаточность приведенных Вс. Миллером локативных значений, не учитывающих «точку зрения наблюдателя».

В.И. Абаев, углубляя имеющиеся представления об осетинских превербах, подчеркнул, что последние, в отличие от префиксов индоевропейских, выражают не только направление передвижения абстрактно в пространстве, но и положение наблюдающего субъекта по отношению к движущемуся предмету. Наличие аналогий в грузинском и ряде восточногорских языков позволило ученому рассматривать это явление как одно из свойств субстрата.

Превербы в осетинском, являясь по происхождению иранскими, как бы наполнились новым содержанием. Этот существенный вывод, убедительно подтверждающий субстратную теорию формирования осетинского языка, открыл новые возможности дальнейшего изучения сущности осетинских глагольных категорий.

Перечисленные идеи в области строя осетинского языка составили целостную концепцию, позволившую автору написать «Грамматический очерк осетинского языка» [Абаев 1959], послуживший по существу первой научной грамматикой, а также надежной базой для написания затем двухтомного коллективного труда «Грамматика осетинского языка» [Абаев 1963–1969].

Высказанные В.И. Абаевым идеи в области **социологии** осетинского языка также выстраиваются в стройную концепцию. Это обстоятельство во многом способствует решению такой довольно сложной проблемы, как взаимоотношение диалектов и литературного языка.

Как и у некоторых других народов нашей страны (скажем, у мордвы и марийцев), у осетин исторически сложились два основных диалекта (иронский и дигорский), на которых параллельно развивается письменность. Однако в прошлом предпринимались жесткие меры по ограничению и даже полной приостановке литературной деятельности на базе дигорского диалекта (на котором говорит меньшинство осетин, примерно четверть). В этой обстановке не раз звучал голос В.И. Абаева, призывавшего к спокой-

ному и научному подходу к проблеме. Особенно основательно остановился ученый на этом вопросе в своем капитальном труде [Абаев 1949а: 357–493].

Остужая горячие головы политизированных «специалистов», крикливо заявлявших о якобы уже свершившемся факте становления осетинского литературного языка, который «необходимо оберегать от влияния диалектов», В.И. Абаев провозглашает глубоко научный подход к данному вопросу применительно к младописьменному языку.

Проявляя острое социолингвистическое чутье, ученый четко разграничивает значение диалектологии для судеб литературного языка у младописьменных народов, с одной стороны, и наций со старой письменностью, с другой. В старописьменных языках (как, например, русский) «изучение диалектов, весьма полезное и необходимое с разных точек зрения, не может, однако, отразиться на судьбах литературного языка, ибо литературный язык уже создан, стабилизирован, он богат, крепок и его путь ясен. В осетинском же литературный язык молод, он нуждается пока в постоянной заботе, культивировании, обогащении» [Абаев 1949а: 358].

По Абаеву, положить один из диалектов в основу литературного языка – это еще не значит создать в действительности национальный литературный язык. На такую роль может претендовать только язык, который преодолевает ограниченность одного, хотя бы и крупного диалекта, который из всего многообразия диалектальных норм языка вбирает в себя все самое прогрессивное, самое жизнеспособное, самое современное и нужное, который строится с учетом истории языка в прошлом и тенденций его развития в настоящем [Там же]. В.И. Абаев подчеркивает *длительность* процесса становления общенационального литературного языка.

В то же время в Осетии власти нередко поддерживали тех, кто форсировал этот процесс. В результате постоянной дискриминации подвергались те, кто пишет по-дигорски. В школах не изучалась дигорскими детьми их родная речь.

По существу проповедовался ненаучный тезис о том, что иронский – это язык, а дигорский – это диалект, что не могло не вызвать резкий протест среди дигорской интеллигенции.

И вот в самый разгар очередной дискуссии по вопросу о литературном языке В.И. Абаев выступил со статьей, в которой ученый уже называет дигорский *языком*. Слова выдающегося осетиноведа прозвучали как гром среди ясного неба...

Некоторые коллеги в этом увидели противоречие, т. к. до сих пор В.И. Абаев не один десяток раз называл дигорский *диалектом*. Однако эти критики упустили из виду то обстоятельство, что и иронский называется в таких случаях *диалектом*.

Концептуальная идея В.И. Абаева в данном случае, по-видимому, заключается в следующем. Когда речь идет об общенародном (ненормированном) языке, обе разновидности осетинского языка – иронский и дигорский – конечно же, *диалекты*. Однако если мы рассматриваем литературную речь, то следуст говорить о *литературных языках*, базирующихся на обоих диалектах.

Как бы то ни было, новая постановка вопроса в значительной мере помогла решению данной проблемы. В результате соответствующая идея была реализована и в новой конституции Республики Северная Осетия–Алания, в специальной статье которой отмечается равноправие обоих осетинских диалектов – иронского и дигорского.

Следует подчеркнуть, что многие концептуальные идеи В.И. Абаева, хотя и высказаны в осетиноведческих трудах ученого, имеют более широкий общетеоретический характер.

С вопросами *лексикографии* В.И. Абаев столкнулся еще на заре своей научной деятельности. Будучи студентом, он принял активное участие в работе известного иранист А.А. Фреймана по изданию трехтомного «Осетинско-русско-немецкого словаря» В.Ф. Миллера.

По-видимому, именно в процессе этой работы у одаренного начинающего ученого пробуждается интерес к проблемам лексики своего родного языка. К тому же на занятиях по иранистике он начинает осознавать то особенное место, которое занимает осетинский среди других иранских и индоевропейских языков.

В процессе работы над словарем В.Ф. Миллера у В.И. Абаева зарождается идея о необходимости составления русско-осетинского словаря. Этого требовали как чисто научные интересы (осетинским начали заниматься многие зарубежные ученые), так и практические, вызванные началом интенсивного культурного строительства в Осетии.

Работа над русско-осетинским словарем была кропотливой, тем более что В.И. Абаев уже непрерывно начал заниматься составлением основного труда всей своей жизни – «Историко-этимологического словаря осетинского языка» (см. ниже). Надо заметить, что занятия над обоими словарями в известной мере дополняли друг друга, т. к. и в этимологическом труде автор постоянно сталкивался с необходимостью перевода на русский язык осетинского лингвистического материала.

Появление в 1950 г. «Русско-осетинского словаря» В.И. Абаева, уже к тому времени широко известного ученого, было большим событием в осетиноведении, т. к. в это время потребность в словаре такого типа остро ощущается в связи с огромной тягой осетин к русской литературе и культуре и все распространяющейся переводческой работой в Осетии [Абаев 1950].

Словарь В.И. Абаева сыграл большую роль в культурном строительстве в Осетии, где как раз в пятидесятые-шестидесятые годы наблюдается новое значительное расширение издательского дела. К тому же русский язык становится вторым для огромного большинства осетин, т. е. утверждается двуязычие.

Деятельность работников науки и культуры в Осетии выдвинула некоторые новые задачи к осетинской лексикографии. Их учет требовал переиздания словаря, что и было осуществлено автором и ответственным редактором (М.И. Исаевым) в 1970 г.

Сохранились принципы составления первого издания словаря. Но вместе с тем была проделана значительная работа: а) пополнен словник, б) уточнены и обогащены синонимикой осетинские переводы русских слов и словосочетаний, в) пополнен иллюстративный материал (включая фразеологию), г) орфография осетинского материала приведена в соответствие с действующими нормами и др.

«Русско-осетинский словарь» явился важнейшим итогом лексикографической работы В.И. Абаева в синхронном плане. Что касается исторической лексикологии, то она представляет собой главное направление и реализуется в многочисленных трудах ученого.

И в данном случае отправным пунктом и исследовательской базой для ученого служит его родной осетинский язык, словарный состав которого, как и другие стороны структуры языка, в прошлом изучались почти исключительно в исконной, иранской его части.

В области исторического толкования исконно осетинских лексем до В.И. Абаева была проведена (в основном В.Ф. Миллером) определенная работа. Достаточно отметить, что для 800 осетинских слов были выявлены их иранские и индоевропейские соответствия. Это примерно 20% зафиксированной лексики. Но они относятся к наиболее существенным пластам лексики: числительным, местоимениям, широкоупотребительным глаголам, терминам скотоводства, терминам родства и т. п. Помимо этого было также разъяснено почти столько же заимствований из арабского, персидского, грузинского языков. Из других категорий слов получили свои разъяснения около 200, т. е. еще 10% всей лексики.

Таким образом, В.И. Абаев приступил к фундаментальному анализу лексики осетинского языка, когда она была изучена примерно на 50%. К этому следует добавить, что почти все имевшиеся разъяснения слов впоследствии Абаевым были дополнены, уточнены, а порой и построены заново.

Дальнейшая плодотворная работа над изучением словаря осетинского языка требовала определенных предпосылок, новых идей, которые сам ученый сформулировал следующим образом:

«1) необходимо привлечь широко кавказские языки как соседящие с осетинским, так и более отдаленные;

2) необходимо при сравнительном изучении лексических фактов отрешиться от традиционной формулы: "либо родство, либо заимствование", так как нельзя теперь уже не видеть, что междуязыковые взаимоотношения гораздо сложнее этой формулы и что смешение языков ставит перед нами такие вопросы, удовлетворительное решение которых невозможно традиционными методами» [Абаев 1949а: 103–104].

Как видно, и в лексике ученый, всегда идущий по линии наибольшего сопротивления, избрал для себя не изведанное еще поле исследовательской деятельности.

Всесторонний и глубокий анализ осетинско-кавказских лингвокультурных взаимоотношений позволил ученому выдвинуть концепцию *кавказского субстрата* (см. ниже). Это дало возможность ученому сделать ряд новых обобщений и выдвинуть новые идеи, объясняющие особенности развития осетинской лексики.

В ряде работ В.И. Абаев упорно исследует проблему кавказского вклада в становление лексики современного осетинского языка. В частности, в работе «К характеристике современного осетинского языка» [Абаев 1949а: 95–109] автор анализирует «некоторые осетино-кавказские лексические схождения, относящиеся к достаточно важным в бытовом и культурно-историческом отношении областям и дающие представление о глубине и интимности осетино-кавказских культурных связей» [Там же: 105]. Автор приводит множество современных осетинских слов, этимология которых связывается с кавказским лингвокультурным миром.

Плодотворной оказалась идея В.И. Абаева о том, что диалектология может пролить новый свет на взаимоотношения иранского и кавказского элементов в эпоху становления современного осетинского языка. С этой точки зрения ученый анализирует лексические схождения и расхождения между двумя диалектами – иронским и дигорским – и приходит к важному выводу, а именно: *схождения идут преимущественно по линии иранской лексики, а расхождения – по линии неиранской* (по преимуществу кавказской).

Выявление этого факта, на первый взгляд не столь существенного, по Абаеву имеет в действительности существенное значение, т. к. дает ключ к пониманию того, что происходило на заре истории осетинского и других индоевропейских языков; вводит нас в самую лабораторию «индоевропеизации».

Будучи историком языка и лексикографом, В.И. Абаев не мог не уделить большого внимания исследованию осетинских диалектов, основными из которых считаются *иронский* и *дигорский*. Как отмечает сам ученый, «неоценимой сокровищницей для историка осетинского языка является в особенности дигорский диалект. Достаточно сказать, что в области фонетики и отчасти морфологии он отражает нормы, переходные от древнеиранских к современным иронским. Иначе говоря, в ряде явлений фонетики и морфологии дигорский и иронский диалекты могут быть рассматриваемы как два последовательных этапа развития одного и того же языка» [Абаев 1949а: 360].

В плане лексикографическом следует подчеркнуть особое значение «Словаря дигорско-иронских расхождений», составленного В.И. Абаевым [Абаев 1949а]. В словаре лексические расхождения между двумя основными осетинскими диалектами сводятся к трем категориям:

дигорские слова, совершенно различные в иронском и дигорском (954 слова);

дигорские слова, различные по *форме*, причем эти различия выходят за рамки обычных фонетических соответствий (248);

дигорские слова, различные по *употреблению*, хотя и тождественные по происхождению и по форме (140).

Анализ диалектных расхождений позволяет констатировать, что значительная их часть приходится на неиранские элементы. Часть их представляют собой относительно новые заимствования из соседних языков – тюркских, грузинского, кабардинского и др. Но многие из них в соседних языках отсутствуют или же имеются, но в слишком отличной внешней форме. Поэтому они автором причисляются к языковому субстрату.

Объясняя факт схождения диалектов в иранской части лексики и расхождения в субстратной части, В.И. Абаев приходит к существенному этнолингвистическому выводу. «*Очевидно* то, – пишет ученый, – что *субстратная среда была многоязычна,*

лингвистически раздроблена, в то время как иранская, будучи более единообразной и цельной, наложилась на первую как некое сближающее, унифицирующее начало, как lingua franca, т. е. как язык межплеменного общения» [Абаев 1949а: 121].

Ученый понимает важность своей идеи в том плане, что создается возможность проникнуть в историческую обстановку и условия образования индоевропейских языков на субстрате доиндоевропейского мира. По Абаеву, «сущность индоевропеизации, исторический ее смысл, ее прогрессивное значение заключалась в том, что *благодаря ей на базе сильно раздробленных, мелких, отсталых доисторических языковых образований Европы и Передней Азии создались более крупные языковые объединения*» [Там же].

Как уже отмечалось, после тщательного и всестороннего анализа конкретного лингвистического материала автор делает обобщения, выдвигает идеи, значение которых выходит за пределы осетиноведения, иранистики, а то и индоевропеистики. Не является исключением и работа «О взаимоотношении иранского и кавказского элементов в осетинском», заканчивающаяся важными выводами.

В них, в частности, говорится, что «в словарный состав осетинского языка кавказский элемент вторгается частично в лексический минимум, что нельзя объяснить иначе, как на почве длительного двуязычия» [Абаев 1949а: 122]. Что касается рассмотрения лексики по диалектам, то оно приводит автора к мысли, что «иранская речь играла роль межплеменного языка для тех микроплеменных групп, которые составляют кавказский субстрат осетинского народа». Это объясняет и наличие двуязычия у народов региона в определенный исторический период [Там же].

Сказанное, в свою очередь, позволяет автору прийти к более общему умозаключению, согласно которому «исторический смысл индоевропеизации заключается в том, что она обеспечила средством межплеменного общения раздробленные, мелкие и мельчайшие этноязыковые группы доисторической Евразии и тем ответила на назревшую потребность в рассмотрении и укреплении языковых объединений на новой ступени хозяйственного и социального развития древнего общества [Там же].

В процессе непрерывной работы над этимологическим словарем у В.И. Абаева накопился существенный историко-лексикологический материал, потребовавший дополнения авторской концепции становления осетинского языка. Если в предыдущие годы была выдвинута концепция «второй (кавказской) природы» осетинского языка, то теперь стало необходимым рассмотрение его исторической природы в более широком этнолингвистическом контексте. Так, в 60-е годы автор открыл еще одно – до этих пор никому не известное – более точное свойство родного языка. Многочисленные факты привели ученого к мысли об особой близости осетинского языка к языкам европейского ареала – славянским, балтийским, германским, италийским, кельтским. По ряду признаков – лексических, фонетических, грамматических – осетинский язык, порывая с другими иранскими, смыкается с перечисленными выше европейскими языками.

Изучению этого вопроса В.И. Абаев посвятил специальную книгу [Абаев 1965]. Причем под этим автор подразумевает ряд специфических черт, которые сближают осетинский («скифский») с европейскими языками (славянскими, балтийскими, германскими, италийскими, кельтскими). Подводя основные итоги проведенному глубокому изучению изоглосс, В.И. Абаев убедительно показывает, что «вакуум» в истории осетинского языка заполняется. И это очень существенное достижение самого ученого. Дело в том, что некоторые специалисты (например, Э. Бенвенист) говорили о будто бы существующем вакууме между древнеиранским и кавказским периодами развития осетинского языка. В действительности же этот период заполнен полнокровными контактами, оставившими глубокий конструктивный след в истории осетинского языка.

Исследованный Василием Ивановичем материал не является синхронным, т. е. не относится к одной определенной эпохе. Это и понятно, ибо соседство скифо-сарматов с европейцами продолжалось много столетий, и связывающие их схождения, изоглоссы, могли возникнуть в разные периоды этого соседства. Однако выявленные изоглоссы объединяются определенными характеристиками.

Они не возводимы к иранской и индоевропейской общности, а возникли на почве ареальных (территориальных) контактов в Восточной и Средней Европе между скифо-сарматами и народами указанного выше европейского круга.

В.И. Абаев показывает, что одни изоглоссы имеют более ограниченный ареал распространения, связывая скифский с одним языком или группой европейских языков: славянской, балтийской, германской, латинским. Другие – с несколькими группами или всеми языками европейского круга. Характерно, что в этих изоглоссах не участвуют греческий и армянский языки.

К лексическим изоглоссам автор относит слова, обозначающие в осетинском такие понятия, как: *лосось*, *серп*, *колос*, *ярмо*, *пиво*, *покрывать*, *трогать*, *таять*, *валяться*, *целиться*, *мерзнуть*, *ложбина*, *маленький*, *голубь*, *слепой*, *мешочек*, *голос*, *суд*, *глотка*, *лентяй*, *хворост*, *волна*, *кузнец*, *около*, *ольха*, *скиф*, *кабан*, *корзина*, *цепь*, *шашлык*, *моль*, *хижина*, *показывать*, *убивать*, *посылать*, *рука*, *почет*, *воздух*, *снег* и др., всего свыше полусотни.

Названия вышеприведенных и других понятий имеют в европейских языках специфические схождения. А что касается характера некоторых из них (*колос*, *урожай*, *серп*, *ярмо* и др.), то он дает В.И. Абаеву повод для постановки некоторых культурно-исторических вопросов, касающихся Центральной и Восточной Европы в древнюю эпоху.

Одним из наиболее важных выводов исследователя является утверждение, что североиранские племена были исконными обитателями Восточной Европы.

Венцом плодотворнейшей лексикографической и лексикологической деятельности В.И. Абаева, без сомнения, можно считать пятитомный «Историко-этимологический словарь осетинского языка» [Абаев 1958–1995], над созданием которого автор подвижнически трудился на протяжении более семидесяти (!) лет. Трудился один, без помощников и секретарей, вручную переписывая сотни тысяч карточек, выписывая «иллюстративный материал» из сотен и тысяч языковых источников... Словарь по целому ряду своих характеристик принадлежит к самым незаурядным явлениям в филологической науке. В нем реализовано множество концептуальных идей автора.

Нет сомнения, что с выходом последнего тома словарь стал третьей величайшей вершиной осетиноведения – после «Осетинской грамматики» А. Шегрена (1844 г.) и «Осетинских этюдов» В. Миллера (1881, 1882, 1887) – точно так же, как имя самого В.И. Абаева заняло прочное место в ряду имен «корифеев осетиноведения» – выдающихся русских ученых академиков А.М. Шегрена и В.Ф. Миллера.

Мы говорили до сих пор об осетиноведческих трудах В.И. Абаева, хотя следует заметить, что большинство из них носит более широкий иранистический характер (а порой и общетеоретический). Помимо этого целый ряд работ посвящен напрямую различным проблемам иранской филологии.

II

Василий Иванович Абаев широко известен как иранист. Гораздо реже его вспоминают как специалиста по теории языка. Отчасти это связано с тем, что этот ученый выступал в такой роли за свою долгую жизнь не слишком часто. Его иранистические труды многочисленны, и некоторые из них велики по объему, а в области общего языкознания у него при жизни не было книг, а статей в итоге оказалось не так много. Когда после смерти Василия Ивановича Отделение литературы и языка РАН приняло решение переиздать его теоретические работы отдельной книгой, то в нее удалось включить всего десять статей, правда, охватывающих длительный период (1933–1986). Книга «Статьи по теории и истории языкознания» вышла в 2006 г. в издательстве «Наука» (далее ссылки на это издание даются с указанием лишь номеров страниц) объемом всего лишь в 12 листов. Но и этого достаточно для того, чтобы считать Абаева одним из видных теоретиков отечественного языкознания советского периода. Недаром японский ученый К. Танака отнес его работы, особенно статью «Язык как идеология и язык как техника», к числу лучшего из того, что было создано в советской науке о языкс [Tanaka

2000: 289–290]. Издание 2006 г. вызвало интерес у наших лингвистов (к сожалению, его тираж в 500 экземпляров оказался явно недостаточен).

В.И. Абаев был своеобразным ученым. В университете (1922–1925) и в аспирантуре (1925–1928) он был учеником Н.Я. Марра, оказавшего на него большое влияние. Академик ценил своего ученика, одно из свидетельств – именно по предложению Абаева он в своих поздних работах заменил термин «*индоевропейцы*» термином «*прометеиды*». Но Василий Иванович шел своим путем и к 30-м гг. преодолел «новое учение»; уже в первых теоретических работах, появившихся еще при жизни его учителя, он достаточно от него независим. И задолго до выступления И.В. Сталина Абаев самостоятельно пришел к осознанию общепринятого в любой лингвистике, кроме марристской, тезиса о языковом родстве, в частности, о родстве между собой иранских языков.

Однако, отойдя от марризма, он так до конца и не принял ни одну из ведущих в советской лингвистике после 1950 г. научных парадигм: ни позитивистскую лингвистику в духе конца XIX – начала XX в., ни сформировавшийся позже структурализм. Ближе всего по духу ему оказалась наука 10–50-х гг. XIX в. от В. фон Гумбольдта до А. Шлейхера, совмещавшая постановку масштабных задач с историческим подходом. Эти идеи он отстаивал всю жизнь.

Первые из теоретических работ ученого появились в первой половине 30-х гг., когда он стал одним из ведущих сотрудников Института языка и мышления АН СССР в Ленинграде. Это статьи, посвященные «фонетическому закону» (1933), языку как идеологии и языку как технике (1934).

Статья о фонетическом законе во многом была историографической. В ней автор рассматривал становление и развитие понятия закона, прежде всего, фонетического закона в исторической лингвистике, давая при этом свою оценку общего развития науки о языке. Эта оценка весьма примечательна.

В.И. Абаев сравнивает «науку основоположников» – языковедов начала и середины XIX в. и младограмматизм, господствовавший в науке о языке с 1870-х по 1910-е гг., а в области исторического языкознания и к моменту написания статьи, отдавая безусловное предпочтение первой. «С точки зрения философской воззрения младограмматиков представляют бесспорный шаг назад по сравнению со взглядами “стариков” – основоположников. Наука основоположников – это наука восходящего класса со всеми свойственными такой науке качествами: смелостью мысли, широтой размаха, высоко развитой способностью обобщения. Напротив, вся последующая лингвистика, т. е. как младограмматическая, так и “социологическая” школа [Ф. де Соссюр и А. Мейе – *В.А.*], это – наука нисходящего класса со свойственной такой науке неудержимой склонностью к трусливому и бескрылому крохоборству. И когда речь идет о буржуазном наследстве, для нас В. Гумбольдт и Фр. Бопп безусловно выше и ценнее Бругманна или Мейе, так же как в философии Гегель выше Вундта, в литературе Гёте выше Метерлинка, в музыке Бетховен выше Штрауса. При всех своих заблуждениях “старики” обладали достаточной широтой и глубиной философской мысли, чтобы воспринимать язык как некое *единство*, единство формы и содержания, обладающее специфическими свойствами и закономерностями.... Они были в полном смысле мыслителями, а не цеховыми катедер-грамматиками. Они не боялись ставить “основные” вопросы, когда их приводил к этому ход исследования. Младограмматики же полностью испугались трудностей, и, чтобы избегнуть их, они заявили, что фундаментальные вопросы, над которыми вдумчиво и смело работала мысль основоположников, вовсе не существуют или, во всяком случае, не являются предметом лингвистики» (18).

Свои идеи В.И. Абаев высказывал в оболочке принятого тогда социологического подхода к истории науки, в соответствии с которым выделялись наука «восходящего класса» и «нисходящего класса». Однако само по себе противопоставление двух подходов к языку, действительно имевших философскую основу («основоположники» находились под влиянием немецкой классической философии от И. Канта до Г. Гегеля, а младограмматики были позитивистами), весьма существенно. Абаев, как мы увидим, исходил из него и в последующие годы.

Важна и содержащаяся в статье оценка основополагающего для исторической лингвистики понятия звукового закона. Хотя отмечено, что «у младограмматиков мы находим в наиболее грубой форме культ фонетических законов» (21), но само по себе это понятие необходимо, и на его основе в языкознании достигнуты «громадные результаты» (21). И В.И. Абаев дает четкую формулировку, не потерявшую значения и в наши дни: «Исследование, основанное на рабской вере в непогрешимость звуковых законов, обесценивается наполовину; исследование, вовсе игнорирующее эти законы, не имеет вообще никакой цены» (21). А игнорировал законы как раз Марр.

Понятие фонетического закона для исторической лингвистики необходимо, но не достаточно. Нужно идти дальше и вырабатывать общую теорию языковых изменений. Этой теории не было к 1933 г., и Василий Иванович мог здесь предложить лишь самые общие положения, главное из которых: «Основным *общим* условием возникновения звуковых изменений мы считаем *семантические* сдвиги» (24). Однако такая теория не существует и сейчас, а историческая семантика до сих пор разработана намного хуже исторической фонетики.

Если статья о фонетическом законе была, в первую очередь, полемической, то в статьях «Язык как идеология и язык как техника» и «Еще о языке как идеологии и как технике» (их целесообразно рассмотреть в комплексе) содержалось, прежде всего, изложение позитивных идей. Главная из них – противопоставление двух сторон языка: «идеологической» и «технической». Это различие – не то же самое, что разграничение формы и семантики: форма всегда технична, но семантика делится на «техническую» и «идеологическую» (28). В словаре представлена техническая семантика слова, но в этимологии, в связи с другими словами и между значениями слова отражается та или иная идеология. Например, техническая семантика слова *труд* выражает «понятие о производительной деятельности», но его этимологическая связь со *страданием* и *болезнью* отражает определенную идеологию (28). Техническая семантика показывает, что именно выражается данным словом, а идеологическая семантика, или идеосемантика связана с тем, каким образом это выражается: при появлении нового понятия «его наречение происходит… на определенной материальной основе *мировоззрения*, *идеологии* данной среды» (29). Поэтому в разных языках или в одном языке в разные эпохи одно и то же явление может именоваться по-разному.

У каждого «элемента речи», прежде всего, у слова, имеются «технически-эмпирическое» «ядро» и «идеологическая» «оболочка», состоящая из неустойчивых «идеологических представлений, настроений и ассоциаций» (30). Тот или иной элемент «оболочки» может со временем перейти в «ядро», этот семантический процесс именуется технизацией. Особо значима технизация в случае, если «элемент речи» попадает в чуждую социальную среду: от него остается лишь «ядро», в которое может войти и бывшая «оболочка», но «ядро» получает новую «оболочку» на основе иной идеологии. Тем самым «сужение идеологических функций языковой системы идет параллельно с расширением ее технических функций» (31). Процесс технизации сопоставляется с переходом от золотых денег к бумажным (32). Предельный случай технизации – грамматикализация. Возможно и обратное развитие, при котором прежняя идеология оживает, но ведущий процесс, «*генеральная линия* языкового развития» (33) – технизация. Именно благодаря ей «язык одной эпохи оказывается пригодным для другой…, язык одной социальной группы оказывается способным обслуживать другую» (35).

Оценка процесса технизации оказывается у В.И. Абаева двойственной. С одной стороны, этот процесс необходим и «технизация языка оказывается… истинным благодеянием: она экономит обществу силы, она избавляет общество от непосильного труда вновь и вновь переделывать сверху донизу свою речь» (35). Но, с другой стороны, «процесс технизации несет в себе… могучую *унифицирующую* тенденцию, которой живое семантическое сознание *сопротивляется*» (39). Как указывает В.И. Абаев, «если в процессе своего создавания язык сам по себе есть некая идеология, то с течением времени он все более становится техникой для выражения других идеологий, техникой

для обслуживания общественной коммуникации» (35). «Язык будущего человечества нельзя представить себе иначе как языком предельной технизации» (43).

Такой подход позволял, кроме всего прочего, разумно решить важную для советской лингвистики того времени проблему классовости языка. Если марристские идеи о полной классовости языка вели к явному абсурду, а противоположная точка зрения, которую позднее выдвинет И.В. Сталин, игнорировала влияние социальных и идеологических факторов на язык, то данный подход оставлял возможности для анализа: язык как идеология классов, язык как техника вне классов. Но и структурный подход к языку оказывается до некоторой степени совместимым с идеями Абаева: в процессе технизации «язык приобретает с формальной стороны все более стройный, *системообразный* облик. Язык не рождается системой. Он уподобляется ей в процессе технизации» (40). Во второй статье ученый сочувственно отозвался о фонологии с «яркой идеей» фонемы (49). Но «мы не знаем языков (если не считать искусственных), где система была бы выдержана до конца, сверху донизу. Во всяком языке есть известное число "злостных" элементов, которые продолжают сопротивляться обобщающим тенденциям и отстаивать свой индивидуальный облик» (40). Итак, язык одновременно системен и асистемен, «*системообразность языка пропорциональна его технизации*» (40), а структурные методы пригодны в своих рамках, но недостаточны, поскольку касаются техники, но не идеологии.

Слабым местом данной концепции, усилившимся в статье 1936 г., было отнесение «творческого периода» развития языка, когда «преобладают идеологически-созидательные процессы», к глубокой древности, тогда как современности оказываются свойственны «процессы технически-приспособительные» (36). Может быть, тут на В.И. Абаева повлияли идеи В. фон Гумбольдта о двух этапах истории языка: «развития» в древности и «тонкого совершенствования» в исторические эпохи. Но еще вероятнее влияние тогда не вполне преодоленных идей Н.Я. Марра о «лингвистической палеонтологии», выявлении в известных языках «реликтов первобытного мышления». В статье 1936 г. Абаев, возможно, под воздействием критики со стороны марристов прямо уравнивал изучение «языка как идеологии» и палеонтологию (55). В то же время, как отмечает Т.М. Николаева [Николаева 2000], идеи о языке как идеологии сходны с современными концепциями о картинах мира, отраженных в языке.

Концепция данных статей отличалась от идей современников В.И. Абаева, в том числе и его коллег по Институту языка и мышления. Зато она обнаруживает неожиданные сходства с еще более обособленной в советской науке позицией книги В.Н. Волошинова «Марксизм и философия языка» (иногда ее приписывают М.М. Бахтину, идеи которого, вероятно, в ней присутствуют). Мы ничего не знаем о том, знал ли Абаев эту книгу, но перекличка идей, как нам кажется, имела место [Алпатов 2005: 263–265].

В советской науке идеи идеосемантики развития тогда не получили. Однако сам В.И. Абаев продолжал исследования в этой области, о чем свидетельствует более поздняя статья «Понятие идеосемантики», над которой ученый работал в годы войны в Сталинири (ныне Цхинвал), где был опубликован ее первоначальный вариант. В окончательном виде статья вышла лишь в 1948 г. Здесь автор уже совсем независим от Н.Я. Марра, в частности, признавая родство языков. Гораздо в большей степени, чем в предыдущих статьях, он опирается на конкретный языковой материал, прежде всего, осетинского языка.

Статья посвящена проблемам исторической семантики. Вновь говорится о необходимости разграничивать техническую (малую) семантику и идеосемантику (большую семантику). Последняя по-прежнему понимается как «в конечном счете общественная идеология, отраженная в языке» (67), но она уже относится не только к глубокой древности, но к любым состояниям языков, включая современные. В отличие от прежних работ идеосемантика сближается с известным понятием внутренней формы, однако, не в широком смысле В. фон Гумбольдта, а в более узком смысле внутренней формы слова, восходящем к А.А. Потебне. По В.И. Абаеву, «идеосемантика начинается там, где начинаются тонкости и нюансы. Элементарное значение слова, его "малая семан-

тика", образует как бы скелет», а «истинное очарование всякого языка заключено в его идеосемантических тайнах» (65). «Скелет» более или менее един для разных языков, а «мышление и мировоззрение народа, его историческое прошлое, его быт и культура» отражены в идеосемантике (65). То есть еще яснее выражена идея об идеосемантике как языковой картине мира.

Однако при этом встает вопрос, актуальный и для современных исследований данной проблематики, В.И. Абаев четко его сформулировал, вероятно, одним из первых. Он пишет: «Является ли вскрытая анализом идеосемантика *актуальной*, *живой* или же *отжившей*, т. е. отвечает ли она нынешним действенным и в данный момент нормам познания и мышления, или она отражает нормы более или менее отдаленного прошлого и до нашего времени донесла только свою форму, тогда как питавшее эту форму содержание речевых элементов уже потускнело, выветрилось? Ответ на этот вопрос оказывается далеко не легким и требует чрезвычайно интимного знакомства с языком» (69). И в наши дни исследователи национальных, в том числе русских картин мира не всегда различают эти два случая, на что указывают лингвисты [Шайкевич 2005: 16].

В данной статье ученый вновь обратился к вопросу о системности и асистемности в языке, формулируя два противостоящих друг другу «основных закона языка»: «Все в языке держится на противопоставлениях» и «Все в языке подвержено взаимозамене и смешению» (64). Как известно, первое положение в то время было краеугольным камнем структурализма, второе же решительно отрицалось. А Василий Иванович, понимая, что эти положения исключают друг друга, считал, что на них надо «строить теорию языка», поскольку «это противоречие есть сама действительность», «и только данная конкретная ситуация решает, какой из этих двух противоположных факторов вступит в действие» (64).

Между публикацией статей «Понятие идеосемантики» (1948) и «О принципах этимологического словаря» (1952) прошло всего четыре года, но за это время ситуация в советском языкознании резко изменилась. Выступление И.В. Сталина похоронило «новое учение» Н.Я. Марра, а сам В.И. Абаев в конце 1951 – начале 1952 г. после жесткой статьи в журнале «Большевик» подвергся травле (существует не подтверждаемая документами версия о том, что речь шла об аресте, на который будто бы не дал санкцию И.В. Сталин). Эта кампания, впрочем, быстро прекратилась, а обличительное собрание в январе 1952 г. в Институте языкознания в Москве, где к тому времени уже работал Василий Иванович, кончилось для прорабатываемого неожиданно мягким решением. Ему всего лишь было предписано написать для только начавшего выходить журнала «Вопросы языкознания» статью с критикой своих ошибок. Но в статье, через несколько месяцев действительно опубликованной в журнале, нет никакого покаяния. Если отвлечься от неизбежных для 1952 г. похвал «гениальному труду» Сталина, то это серьезное изложение позитивных идей автора. В разгаре тогда была его работа над «Этимологическим словарем осетинского языка», а статья посвящена общим принципам работы над такими словарями. Период господства марризма привел к забвению или незнанию многими нашими языковедами самих принципов сравнительно-исторического исследования, и их обсуждение стало тогда актуальной проблемой.

Хотя прежние работы В.И. Абаева, как и других учеников Н.Я. Марра, перед этим подверглись критике за «злоупотребление семантикой», ученый подтвердил и в этой статье ряд их положений, обращая внимание на связь истории слов с историей мышления и подчеркивая, как «общие и отвлеченные понятия… постепенно формируются на базе, конкретных, образных представлений» (75). Но главное в статье – открытое признание верности, наконец, реабилитированного «самим» И.В. Сталиным сравнительно-исторического языкознания.

Если в 1952 г. о Н.Я. Марре можно было писать лишь резко критически, называя его четыре элемента лженаукой, то спустя несколько лет В.И. Абаев, пользуясь в качестве предлога 25-летием со дня смерти своего учителя, написал статью с более объективными его оценками. Тогда страсти уже улеглись, а проблемы, связанные с «новым учением»,

казалось, отошли в область истории науки. Тем не менее, статья проходила нелегко, большую роль в ее публикации сыграл активно ее поддержавший акад. Н.И. Конрад. Статья вышла в начале 1960 г. в том же журнале «Вопросы языкознания». До сих пор это, пожалуй, лучшая из работ, посвященных Марру.

Положение Василия Ивановича было сложным: он за многое не мог не быть благодарным своему учителю, но не мог он и одобрить явно ненаучное «новое учение о языке», к тому времени уже окончательно отвергнутое лингвистами. И из этого положения он сумел выйти с честью, дав объективный, многомерный и противоречивый образ этого незаурядного человека, принесшего много бед нашей науке. По его выражению, Марр – это, «без сомнения, если не самое знаменитое, то самое "шумное" имя в истории советской науки» (87).

С одной стороны, «Марр засиял звездой первой величины» в «своего рода "могучей кучке" русского востоковедения», которую отличали «широта научного кругозора, необъятная эрудиция, превосходное владение первоисточниками» (88). «Выполненные им исследования и издания грузинских и армянских памятников были признаны образцовыми. Н.Я. Марр создал, в сущности, новую отрасль кавказоведения: армяно-грузинскую филологию» (88–89). Даже его исследования о скрещенном характере армянского языка признаются «весьма плодотворными» (89), а «в критике Марром "индоевропеистики" было на первых порах определенное здоровое зерно, роднящее его с таким корифеем лингвистического "диссидентства", как Г. Шухардт» (93). Отмечены и личные качества Марра: «он находился в постоянном творческом горении, в неутомимых исканиях, был щедрым и неистощимым сеятелем идей» (94).

Однако его работы в области лингвистики «с самого начала были очень неровными» (89), а методы сравнительно-исторического анализа у него «никогда не были удовлетворительными и изобличали отсутствие настоящей школы в этой отрасли его интересов» (90). При этом «его научная биография – неутомимое и жадное расширение материала и проблематики исследовательской работы», «неудержимая научная экспансия» (88). Все это привело к «постепенному отходу от точных лингвистических методов» и тому, что «А. Мейе назвал "авантюризмом"» (90). Это проявилось уже на этапе выдвижения идей о яфетической семье языков: «ни объем, ни содержание понятия "яфетические языки" не получили у Марра четкого определения» (91). «С течением времени мы все меньше видим упрямых фактов и все больше – упрямого автора» (91).

«Выходом из непреодолимых трудностей, с которым столкнулось "яфетическое языкознание" предшествующего периода» (92), стало для Марра сформулированное в 1923 г. «новое учение о языке». Даже оно оценивается неоднозначно: отмечены сохранившаяся у академика и в этот период «способность всякий частный вопрос… ставить широко, комплексно, в контексте всей культурной истории народа», а также то, что он выдвигал «на первый план *значение*» (94). Последняя идея, впервые, вероятно, воспринятая Абаевым от учителя, всегда была ему свойственна, даже в годы, когда в мировой лингвистике преобладало стремление сосредоточиться на формальных вопросах. Василий Иванович справедливо отмечает, что популярность Марра нельзя рассматривать как «исключительно результат полуадминистративного давления его сподвижников» (94): проблемы, которыми он занимался, действительно многим казались интересными.

Однако «о некоторых основных положениях созданного им [Марром. – *В.А.*] "нового учения о языке", и в особенности о методах его обращения с лингвистическим материалом» можно сказать «мало отрадного» (95). Все базовые компоненты его «нового учения» (стадиальность, единство глоттогонического процесса, классовость языка) оказались ошибочными. Поставив важные вопросы, Марр не сумел их решить, а путь, на который он встал, «мог привести только к научной катастрофе» (97).

В конце статьи В.И. Абаев высказывает интересные идеи о психологии научного творчества, применимые не только к Марру. Опираясь на положения И.П. Павлова, он пишет: «Мозговую работу ученого можно представить как постоянное сосуществова-

ние, функционирование и взаимодействие двух центров: одного, в котором рождаются идеи (творческий центр), и другого, в котором эти идеи подвергаются строгой критической проверке, контролю, селекции (центр торможения). Оба они одинаково важны и необходимы для настоящего ученого… Бывает, что творческий центр пребывает в немощном состоянии и работает по преимуществу центр торможения. Тогда мы получаем тип ученого-крохобора [ср. в статье 1933 г. о «крохоборстве» младограмматиков. – *В.А.*], выпускающего труды, где не к чему придраться, но нечем и вдохновиться… Марр был ученым противоположного склада. Трагедия последнего периода его деятельности состояла в том, что творческий центр работал у него с силой постоянно действующего вулкана, а центр торможения все больше ослабевал. Чем больше возрастал напор новых идей, рождавшихся в его мозгу, тем больше он утрачивал способность подвергать эти идеи критическому разбору» (98).

В том же самом 1960 г. появилась еще одна проблемная статья В.И. Абаева «Об историзме в описательном языкознании», также в основном посвященная истории науки. В ней автор исходил из тех же представлений, что и в статье 1933 г., но с несколько иной расстановкой акцентов. Как и раньше, он выше всего оценивает науку «основоположников»: В. фон Гумбольдта, Ф. Боппа, А. Шлейхера: это «наука прогрессивного, полного жизненных сил общества, сделавшая историзм своим знаменем» (99). Потом наступил век «“модернистских” течений в зарубежной науке» (99), по-прежнему оцениваемых как вырождение. Однако в связи с изменившейся обстановкой в советском языкознании на первый план выдвинута критика не младограмматиков и А. Мейе, как это было в ранней статье, а Ф. де Соссюра.

С одной стороны, у Соссюра отмечены «удивительная цельность, логичность и последовательность всего построения» (102). Но, с другой стороны, «Соссюра надо либо целиком принять, либо целиком отвергнуть» (102), и Абаев выбирает последнее. Такая позиция была для советской науки необычной, особенно к концу 50-х гг.; обычно с Соссюром спорили, но что-то в его идеях признавали. Столь последовательно этого ученого отвергал разве что В.Н. Волошинов. То, что у Соссюра и его последователей – структуралистов – правильно, то не ново: «Что язык есть система, было ясно уже В. Гумбольдту» (103). А то, что они внесли нового, глубоко неверно. Во-первых, это «антиисторизм, который будет всегда знаменем любой деградирующей и вырождающейся науки» (99). Во-вторых, это неправомерная абсолютизация знаковости языка.

Если за недостаток историзма Ф. де Соссюра у нас критиковали и раньше, то понимание языка как системы знаков обычно относили к «приемлемым» компонентам его концепции, см., например [Шор, Чемоданов 1945/2009: 9]. Но иная точка зрения у Василия Ивановича, в несколько иных терминах продолжающая его концепцию 30-х гг.: недаром он обвиняет структуралистов в одностороннем рассмотрении языка как «чистой знаковой техники» (103). Он пишет. «В языке переплетаются две системы: познавательная и знаковая. Элементы первой соотносимы с элементами объективной действительности и отражают в конечном счете структуру последней. Вторая (знаковая) система определяется внутриязыковыми корреляциями. В первой системе элементами структуры являются значения, во второй – чистые отношения. Лексика есть преимущественная сфера первых, фонетика – вторых. Промежуточное положение между этими двумя полюсами занимают морфология и синтаксис» (103). Методы структурной лингвистики приемлемы там, «где есть только отношения», то есть в фонетике, поэтому учение о фонеме – «ценнейшее открытие» (103). Но перенесение принципов фонологии в морфологию и лексику «практически почти бесплодно» (103).

Итак, в отличие от В.Н. Волошинова В.И. Абаев (как и М.М. Бахтин в те же годы) не отрицал правомерность структурного подхода к языку, но считал его недостаточным, применимым не ко всем явлениям языка. А ведь действительно структурная фонология дала результаты, что не отрицал и Абаев, но структурную семантику создать не удалось. Наука движется по спирали, и жесткие ограничения, наложенные на лингвистику структурализмом, в наше время все более снимаются, а Абаев принадлежал к тому меньшинству, которое и в середине XX в. выступало против этих ограничений.

Однако в 1960 г. структурный этап еще не закончился, и среди советских теоретиков языкознания чаще думали иначе.

Через пять лет, в № 3 журнала «Вопросы языкознания» за 1965 г. появилась новая статья В.И. Абаева «Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке». В ней в развернутом виде он повторил идеи предыдущей статьи, но эта статья имела гораздо более значительный резонанс, хотя в основном отрицательный.

К тому времени советское языкознание довольно четко делилось на два лагеря: структуралистов и «традиционалистов». Они вели бурные и в этот период в основном свободные дискуссии по вопросу о традиционных и новых структурных методах изучения языка. Абаев относился к далеко не однородному лагерю «традиционалистов», занимая в нем, однако, совершенно особое и отдельное место. И именно он оказался «забойщиком» дискуссии, развернувшейся в «Вопросах языкознания» в 1965–1966 гг.

В этой статье В.И. Абаев мало сказал нового по сравнению с прежними публикациями о своем понимании лингвистики, хотя исторический контекст к 1965 г. изменился. Сравним приведенную выше цитату из статьи 1933 г. о том, что Гумбольдт и Бопп «безусловно выше и ценнее Бругманна или Мейе», и цитату из статьи 1965 г.: «Нет никаких объективных оснований ставить философию Хейдеггера выше философии Гегеля, историческую концепцию Шпенглера и Тойнби выше исторической концепции Маркса, лингвистические идеи Соссюра выше лингвистических идей В. Гумбольдта» (112). Имена несколько другие, а идея та же.

Идеи ученых первой половины XIX в., особенно В. фон Гумбольдта, по-прежнему оцениваются очень высоко, поскольку они связывали язык с мышлением и «говорили о неразрывной связи языка с историей и культурой народа» (114). Среди русских ученых положительно отмечены А.А. Потебня и А.А. Шахматов (130), несмотря на то, что последний уже был близок к позитивизму. Младограмматики по-прежнему характеризуются резко отрицательно: «отход от широких обобщений», «сосредоточение внимания на формальной стороне языка», «абстракционистские и формалистические тенденции» и др. (114).

В те годы и многие «традиционалисты», и все без исключения структуралисты резко противопоставляли младограмматиков Ф. де Соссюру и его последователям, но В.И. Абаев подчеркивал, наоборот, их сходство. Так он считал и в 30-е гг., но в 1965 г., как и в 1960 г., ситуация требовала сделать акцент именно на структурализме. «Структурализм – детище младограмматической школы… Ф. де Соссюр… мог родиться только в недрах младограмматической школы» (114). «Между атомистическим формализмом (младограмматики. – *В.А.*) и формализмом системным нет никакой пропасти» (114). И приговор: «Сущность структурализма – не в системном рассмотрении языка, а в *дегуманизации языкознания* путем его предельной формализации» (115). Уже младограмматики изгоняли из своей науки человека, а структуралисты довели этот процесс до конца.

В.И. Абаев кратко рассматривает разные уже известные тогда у нас направления структурализма, оценивая их несколько по-разному. Он совершенно безжалостен к Ф. де Соссюру и к датским структуралистам (Л. Ельмслев, Х.И. Ульдалль), которых считает «прямыми продолжателями Соссюра» (117); особо он негодует по поводу высказывания Х.И. Ульдалля о необходимости «устранить» человека из науки о языке (118). Несколько выше он оценивает американских дескриптивистов, у которых «можно было бы кое-чему поучиться» в «описании языков, не имеющих истории» (117), и особенно Пражскую школу. У Н.С. Трубецкого и его коллег он отмечает как «здоровое зерно» учение о фонеме (116), которое ученый всегда оценивал высоко. Но оба направления тоже оказались в русле «лингвистического модернизма», поскольку абсолютизировали полученные ими результаты, в частности, пражцы неправомерно распространили пригодные для фонологии идеи на более высокие уровни языка (116–117). Упоминает он и «трансформационную лингвистику», то есть уже развивавшийся генеративизм Н. Хомского, но не увидел в нем ничего, кроме «наукообразных экспериментов над давно известным явлением синтаксической синонимии» (117). Такая оценка была осо-

бенно неадекватной, впрочем, тогда у нас еще мало кто оценивал идеи Н. Хомского по существу.

Новым для В.И. Абаева стало включение лингвистических проблем в широкий культурный контекст. Редколлегия, публикуя статью, высказывала явное неодобрение: «Полемическая статья В.И. Абаева посвящена не только лингвистическим вопросам..., но и вопросам, выходящим за пределы языкознания... Редколлегия, однако, не сочла возможным сократить внелингвистические разделы статьи В.И. Абаева, так как это могло нанести ущерб целостности изложения взглядов автора» (108).

В статье дается определение модернизма: «Когда общество вступает в полосу духовного кризиса, оно судорожно хватается за все *новое*. Но так как это делается в условиях идейной опустошенности и оскудения, то поиски нового идут преимущественно по линии *формы*, формальных приемов, формальных ухищрений, формальных вывертов. Содержание же, если оно вообще существует, остается крайне убогим и примитивным. Вот это и есть модернизм» (110). Модернизм в любой сфере, по мнению Василия Ивановича, связан с дегуманизацией, изгнанием из этой сферы человека. Он пишет: «Один из теоретиков "нового" романа, французский писатель Ален Роб-Грийе, призывает к полному изгнанию человека из художественной ткани романа... Кто хочет знать, как выглядит дегуманизованное искусство, тому достаточно посмотреть абстракционистские картины и послушать додекафоническую музыку» (111).

«Дегуманизация» лингвистики – частный случай общего процесса, «лишь одно звено в общем процессе дегуманизации культуры. Какую бы гуманитарную область мы ни взяли, везде наблюдаются одни и те же тенденции формализма и антигуманизма: в философии, социологии, истории, литературоведении» (115).

Критика модернизма в литературе и искусстве, связанная с его отходом от гуманистических традиций XIX в., в те годы у нас часто встречалась, но на структурную лингвистику она проецировалась редко, а критика структурализма велась большей частью с позиций младограмматизма, прикрываемого поверхностным марксизмом (Ф.П. Филин и др.). Зато и здесь вспоминается книга В.Н. Волошинова. Критикуя того же Ф. де Соссюра, В.Н. Волошинов связывал его идеи с «формалистическими направлениями» других гуманитарных наук и «художественной речью» его времени, где происходит отказ от «ответственной социальной позиции» и «выступает на первый план не то, *что*..., собственно, "*мнится*", а "*как*" оно индивидуально или типически мнится» [Волошинов 1929/1995: 380].

В статье В.И. Абаева затрагивались еще две актуальные для своего времени проблемы: математизация языкознания и оценка событий 1950 г. в советском языкознании.

К 1965 г. для советских лингвистов очень важной считалась проблема использования тем или иным образом математики в исследованиях по языку. Хотя математизация лингвистики началась позже становления структурализма, лишь в послевоенные годы, но именно разные направления, отстаивавшие структурализм, особенно дескриптивизм, а затем и генеративизм (в те годы у нас не отграничивавшийся от структурализма) использовали математический аппарат, иногда сложный для понимания гуманитариями. А лингвистическая суть идей западной науки нередко оказывалась для СССР не такой уж новой, поскольку у нас и раньше развитие шло в том же направлении, но вот использование формул и графов и построение теорем для конца 50-х гг. казалось чем-то абсолютно новаторским, символом «современной науки». А поскольку как раз тогда в моду вошли настроения, сформулированные в известных стихах Б. Слуцкого: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне», и научной молодежи, в том числе гуманитарной, очень хотелось быть «физиками», а не «лириками», то данный вопрос приобрел большую остроту.

«Традиционалисты», наоборот, осуждали «ненужную» математизацию, отвергая ее вообще или признавая лишь там, где она уже была освящена традицией, как в экспериментальной фонетике. И В.И. Абаев, признав допустимым использование в лингвистике статистических методов, резко отозвался о выделении особой дисцип-

лины – математической лингвистики, видя в ней лишь «скрещение псевдолингвистики с псевдоматематикой» (119) и «способ ухода от действительности» (121). Опять-таки это «бегство от человеческого фактора» (122), столь резко осуждаемое Василием Ивановичем.

Оценки Н.Я. Марра повторяют статью о нем 1960 г. Но еще резче В.И. Абаев оценивал «сталинский период» в развитии советского языкознания. В 1965 г. во главе государства уже не стоял Н.С. Хрущев, а антисталинская тематика в печати, по инерции еще встречавшаяся, сходила на нет (журнал «Вопросы языкознания» не слишком поощрял ее и раньше). Но Василий Иванович критиковал даже не столько работы И.В. Сталина, в суждениях которого он находил «много правильного», шедшего «не из каких-то глубин марксистской теории, а из элементарного здравого смысла» (109), сколько общую ситуацию в стране. «Весь гуманитарный сектор, т. е. общественные науки, плюс литература, плюс искусство, в лице их отдельных представителей, выступал единым фронтом, под знаком культа личности» (112). В том числе и лингвисты, которые «начинали любую статью на любую тему дифирамбами по адресу Сталина» (112), «не имели сами никакой единой и цельной лингвистической концепции, которая могла бы стать основой советского теоретического языкознания» (109). Несомненно, В.И. Абаев не мог забыть собственную судьбу после сталинского выступления.

Редакция журнала с самого начала задала тон обсуждения, указав: «С постановкой и решением некоторых вопросов редколлегия не может согласиться» (108). В нескольких номерах за 1965 и 1966 гг. на статью В.И. Абаева откликнулись И.И. Ревзин, Ю.В. Рождественский (также автор итоговой редакционной статьи), Г.И. Мачавариани, В.Ю. Розенцвейг, А.В. Гладкий, Л.Р. Зиндер, П.С. Кузнецов. Отклики еще семерых участников дискуссии, в том числе Т.П. Ломтева, И.В. Мегрелидзе и единственного иностранного участника С. Абрахама из Венгрии, были лишь кратко изложены в итоговой статье.

Итого, на статью В.И. Абаева откликнулось 14 человек, из них никто не принял его основные идеи. Преобладали представители структурного лагеря, отклики которых были выдержаны в едином духе (лишь И.В. Мегрелидзе, самый верный ученик Н.Я. Марра, не согласился со слишком плохим, по его мнению, отношением В.И. Абаева к его великому учителю). Более близкие к В.И. Абаеву по взглядам языковеды вмешиваться в спор не стали. Ученый оказался один. Тон большинства статей был очень резким и личностным. Если сам В.И. Абаев, критикуя зарубежных авторов, воздержался от персоналий в современной советской науке (изредка встречаются лишь положительные упоминания, например, А.Ф. Лосева), то его оппоненты жестко оценивали не только идеи, но и их носителя, приписывая ему и то, что он не говорил. Г.И. Мачавариани счел статью марристской, хотя в ней «новое учение» оценивалось как неудовлетворительное. Математик А.В. Гладкий, много занимавшийся математической лингвистикой, сопоставил статью В.И. Абаева с разгромом кибернетики и генетики в сталинское время [Гладкий 1966: 59], что было некорректным уже потому, что Василий Иванович не имел никакой административной власти. А.В. Гладкий не без основания увидел в статье «наклеивание ярлыков и предание анафеме инакомыслящих» [Гладкий 1966: 59], но и ее оппоненты делали то же. В контексте эпохи позиция В.И. Абаева воспринималась ее противниками как официально-охранительная, хотя Василий Иванович, безусловно, выражал личную, выстраданную точку зрения (не удивительно, что официальный лагерь его не поддержал).

Самым ярким среди выступлений против В.И. Абаева, бесспорно, был отклик профессора МГУ П.С. Кузнецова. Его статья выдержана в очень резком духе, на одной стр. 68 положения В.И. Абаева названы «клеветой», «профанацией», «кривым зеркалом». Особенно ядовитым тон становится, когда речь заходит о математических методах: «Разве можно считать лженаукой всё то, что просто не понимаешь?» [Кузнецов 1966: 72]. Рассказывают, что автор первоначально назвал данную дискуссионную статью «Мракобес под маской гуманиста», но редакция изменила название на

более нейтральное. Эта статья оказалась для Кузнецова одной из последних (он умер менее чем через два года после ее публикации, в марте 1968 г.) и вскоре стала выглядеть как завещание ее автора, который охарактеризовал ее как публикацию «скорее на моральную тему, чем на собственно научную» [Кузнецов 1966: 62]. Если другие участники дискуссии были заметно моложе Василия Ивановича (который пережил их всех, за исключением А.В. Гладкого), то Кузнецов принадлежал к одному с ним поколению.

В оценках науки о языке П.С. Кузнецов ни в чем не согласен со своим оппонентом. Под защиту он взял даже младограмматиков, не пользовавшихся популярностью среди советских структуралистов, поскольку у них уже проявилось стремление к точности и строгости [Кузнецов 1966: 64]. Тем более он защищал от В.И. Абаева Ф. де Соссюра и его последователей. Говоря об истории советского языкознания, он строг к Н.Я. Марру и гораздо лучше оценивает «сталинский период», который предоставлял лингвистам «несравненно более широкое поле самостоятельной научной деятельности, чем "новое учение о языке" Н.Я. Марра» [Кузнецов 1966: 67–68]. В статье П.С. Кузнецов отстаивал гуманизм как моральный принцип, упрекая своего оппонента в том, что тот, пользуясь словом «гуманизм», понимает его в «общеидеологическом» смысле [Кузнецов 1966: 62]. Осуждая призыв В.И. Абаева идти «назад к Гумбольдту», он заявлял: «Любая наука не может топтаться на месте, а тем более идти вспять» [Кузнецов 1966: 69]. И здесь профессор, пожалуй, нащупал самое слабое место своего оппонента, отметив у него стремление ограничить задачи науки о языке: «Современный всесторонне развитый человек хочет знать всё. Ему нельзя искусственно ставить преграды» [Кузнецов 1966: 72].

В споре В.И. Абаева с П.С. Кузнецовым и другими участниками дискуссии основное содержание глубинно было связано с различием того, что когда-то В.Н. Волошинов назвал «абстрактным объективизмом» и «индивидуалистическим субъективизмом», хотя на поверхности оно затемнялось побочными обстоятельствами вроде борьбы партий в советской лингвистике или необходимости дать оценку марризму, а также использованием обоими противниками обычных для советского времени негативных эпитетов. В разных формах шла борьба стремления к строгому изучению своего объекта по образцу естественных наук, с опорой только на наблюдаемые факты, и желания рассматривать язык вместе с говорящим на нем человеком, с учетом интуиции, интроспекции и творческих способностей людей. Последний подход был сформулирован В. фон Гумбольдтом еще в начале XIX в., но его недостатком постоянно оказывались нестрогость и произвольность, тогда как противоположный подход, достигший максимума в структурализме, давал несомненные, но в то же время ограниченные результаты. «Абстрактный объективизм» в разных его формах господствовал до 50–60-х гг. XX в., хотя время от времени появлялись «диссиденты», в том числе Волошинов и Абаев, см. [Алпатов 2005: 251–273]. Лишь Н. Хомский в 1957 г. предложил программу синтеза двух подходов, попытавшись соединить формализацию с тезисом В. фон Гумбольдта о языке как творчестве.

Как часто бывает в истории науки, в споре крупных ученых, не принимавших и даже считавших не имеющими права на существование позиции друг друга, каждый из оппонентов был в чем-то прав, абсолютизируя одну сторону единого процесса. Подробнее см. [Алпатов 2009].

После 1965 г. В.И. Абаев выступал по вопросам лингвистической теории все реже. Лишь в 1986 г. он выступил с итоговой для него в этой области статьей «Языкознание описательное и объяснительное. К классификации наук». К этому времени проблема разграничения описательной и объяснительной лингвистики уже стала прочно ассоциироваться с Н. Хомским, который предложил совершенно новое ее решение. Однако Абаев, упомянув Хомского в 1965 г., на этот раз его проигнорировал, введя данную проблему в рамки, установленные еще наукой XIX в.: не всякое историческое исследование – объяснительное, но «историзм – обязательный признак объяснительной науки» (136). Так же считал еще Г. Пауль. Структурализм же (как и близкая к нему формальная

школа в литературоведении) – «тупиковое направление» (137), поскольку здесь подход не только неисторичен, но и опять-таки связан с «дегуманизацией» (137). Однако эта крайне жесткая и несправедливая оценка тут же корректируется: «тезис Соссюра "язык надо изучать в себе и для себя" применим только к описательному, но не объяснительному языкознанию» (137). Значит, хотя бы для описательного языкознания структурализм что-то дает. Далее вновь высоко оценивается фонология, обладающая «чертами объяснительной науки в отличие от фонетики, которая занимается простым описанием звуков речи» (138).

В отличие от предыдущих публикаций (кроме разве что статьи о Марре) ученый обратился здесь и к вопросам типологии. Здесь также вопрос об описательном и объяснительном языкознании решается в духе XIX в.: объяснительной может быть лишь типология, связывающая структурные модели «с определенной моделью мыслительных операций» (145), то есть стадиальная типология, дискредитированная еще к концу XIX в., а потом неудачно возрождавшаяся Н.Я. Марром. Объяснительная типология прямо отождествляется в статье со стадиальностью (140). Василий Иванович, безусловно, отвергает «скороспелые» и «бесплодные» построения Марра, но указывает на «более позитивные подходы», проявившиеся в 70–80-е гг. в работах С.Д. Кацнельсона и Г.А. Климова.

В связи с типологией В.М. Абаев вспомнил и собственные идеи, высказанные на полвека раньше: необходимо различать грамматическую типологию, рассматривающую явления, где «процесс технизации и формализации является определяющим», и лексико-семантическую типологию, имеющую дело непосредственно с мышлением (146). Круг замкнулся, снова речь идет о языке как идеологии и языке как технике, главном вкладе Абаева в теорию языка. Данная статья, написанная, когда автору уже было более восьмидесяти, совмещает некоторую архаичность с весьма актуальными идеями. Крайности могут сходиться: автор статьи призывает «реабилитировать проблему происхождения языка» (141); многим у нас тогда казавшуюся вышедшей из активного обихода науки, однако как раз в это время на Западе о ней вспомнили после многолетнего забвения. И статья вызывает интерес и сейчас: недавно мы столкнулись с ее обсуждением в Интернете.

Наследие В.И. Абаева интересно не только для иранистики, но и для общего языкознания. Думается, что интерес к нему на современном этапе науки, характеризуемом все большим интересом к проблеме «человек и язык», будет актуальным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абаев 1939 – *В.И. Абаев.* Из осетинского эпоса. М., 1939.

Абаев 1949а – *В.И. Абаев.* Осетинский язык и фольклор. Т. 1. М., 1949.

Абаев 1949б – *В.И. Абаев.* О винительном падеже в осетинском // Осетинский язык и фольклор. Т. 1. М., 1949.

Абаев 1950 – *В.И. Абаев.* Русско-осетинский словарь. М., 1950 (2-е изд. 1970; 3-е изд. 2000).

Абаев 1958–1989 – *В.И. Абаев.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1. М., 1958; Т. 2. 1973; Т. 3. 1979; Т. 4. 1989.

Абаев 1959 – *В.И. Абаев.* Грамматический строй осетинского языка. Орджоникидзе, 1959.

Абаев 1963–1969 – *В.И. Абаев.* Грамматика осетинского языка. Т. 1. Орджоникидзе, 1963; Т. 2. 1969.

Абаев 1965 – *В.И. Абаев.* Скифско-европейские изоглоссы. М., 1965.

Алпатов 2005 – *В.М. Алпатов.* Волошинов, Бахтин и лингвистика. М., 2005.

Алпатов 2009 – *В.М. Алпатов.* Эпизод идейной борьбы в советской лингвистике // Ирано-Славика. 2009. № 1–2 (20).

Волошинов 1929/1995 – *В.Н. Волошинов.* Марксизм и философия языка // В.Н. Волошинов. Философия и социология гуманитарных наук. СПб., 1995 (первое изд. книги – 1929).

Гладкий 1966 – *А.В. Гладкий.* О формальных методах в лингвистике (по поводу статьи В.И. Абаева «Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке») // ВЯ. 1966. № 3.

Кузнецов 1966 – *П.С. Кузнецов.* Еще о гуманизме и дегуманизации // ВЯ. 1966. № 4.

Николаева 2000 – *Т.М. Николаева.* Несколько слов о лингвистической теории 30-х: фантазии и прозрения // Слово в тексте и словаре. К 70-летию академика Ю.Д. Апресяна. М., 2000.
Шайкевич 2005 – *А.Я. Шайкевич.* Русская языковая картина мира в ряду других картинок // Московский лингвистический журнал. 2005. 8. № 2.
Шор, Чемоданов 1945/2009 – *Р.О. Шор, Н.С. Чемоданов.* Введение в языковедение. М., 1945 (2-е изд. 2009).
Tanaka 2000 – *Tanaka Katsuhiko.* «Sutaarin-gengogaku»-seidoku. Tokyo, 2000.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Александр Николаевич Самойлович. Научная переписка. Биография. Составитель, автор статей и биографии Г.Ф. Благова. М.: Восточная литература, 2008. 590 с.

Рецензируемое издание представляет собой продолжение серии публикаций архива выдающегося отечественного тюрколога, академика Александра Николаевича Самойловича (1880–1938). В 2005 г. был издан том [Самойлович 2005], в который вошли многие его труды, ранее не издававшиеся, и переиздан ряд работ, публиковавшихся в редких и малодоступных изданиях. Теперь публикуются сохранившаяся переписка ученого (149 писем Самойловича и Самойловичу), а также еще несколько документов, вышедших из-под пера ученого. Все они подготовлены к печати и прокомментированы Г.Ф. Благовой, подготовившей (вместе с Д.М. Насиловым) и издание 2005 г. Г.Ф. Благовой также принадлежат включенные в издание научная биография Самойловича, предисловие и четыре статьи.

Безусловно, публикация архива выдающегося ученого имеет большое научное значение. Судьба этого архива подтверждает известные слова: «Рукописи не горят». Самойлович был расстрелян как «японский шпион», и, казалось бы, из его неопубликованных рукописей и писем не должно было ничего сохраниться, кроме, может быть, случайных материалов из личных архивов. Однако их значительная часть дошла до нас (и это не единичный случай: уцелели архивы и ряда других репрессированных востоковедов, например, Н.А. Невского). Г.Ф. Благова рассказывает, как это произошло (с. 18). Основная часть материалов к моменту ареста хранилась либо дома, либо в Институте востоковедения АН СССР. Домашняя часть архива была изъята при обыске, но не уничтожена, а передана в 1938 и 1941 гг. в Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки, где составила отдельный фонд. А институтская его часть осталась в Институте востоковедения, пережила там блокаду и в 1949 г. по устному распоряжению президента Академии С.И. Вавилова была передана в Архив АН СССР, где также составила отдельный фонд. Но, разумеется, что-то и пропало. Например, из архива Н.Я. Марра, как трижды сообщает Г.Ф. Благова (с. 18, 340, 540), в 1939 г. специальным актом изъяли письма Самойловича, которые, скорее всего, затем уничтожили. А что-то, к сожалению, исчезало и позже. Письма Самойловича В.А. Гордлевскому были сохранены адресатом и после его смерти послужили основой статьи Н.А. Баскакова «А.Н. Самойлович в письмах В.А. Гордлевскому», перепечатываемой в рецензируемой книге (с. 232–243), но где эти письма сейчас, неизвестно, и о них можно судить лишь по фрагментам, цитируемым Баскаковым.

Переписка Самойловича, публикуемая в данном издании (с. 94–276), охватывает период с 1902 по 1936 гг., т. е. весь период научной деятельности Самойловича. Особенно значительна переписка ученого с одним из его учителей академиком В.В. Бартольдом (59 писем Бартольда, 28 писем Самойловича и одно письмо жены Бартольда), она составляет более половины всех публикуемых в томе писем. На втором месте по объему И.Ю. Крачковский (14 писем Самойловича и 6 писем Крачковского). В гораздо меньшем объеме (от одного до 10 писем) представлены другие видные ученые, в основном тюркологи: П.М. Мелиоранский, С.Е. Малов, В.А. Гордлевский, Н.И. Ашмарин, Е.Д. Поливанов, К.К. Юдахин, Н.К. Дмитриев, Б.Я. Владимирцов и др. Иностранная наука представлена лишь одним письмом Самойловичу польского тюрколога А. Зайончковского.

Публикуемые письма, разумеется, неравноценны по содержащейся в них информации, но во многих случаях они представляют собой несомненный интерес. Более всего, конечно,

они дают материал о жизни и деятельности самого Самойловича, и на них, прежде всего, основана содержательная его биография, выполненная Г.Ф. Благовой (с. 353–478). Ранее публиковались биографические очерки Ф.Д. Ашнина [Ашнин 1963; 1978], но данная биография намного полнее. Ее автор, учитывая, разумеется, и другие данные, в максимальной степени использует материал писем и убедительно показывает как научный путь ученого, так и его характер, особенности его личности, отличавшие его от коллег, например, от его ровесника С.Е. Малова, не менее крупного тюрколога, лишенного, однако, социального темперамента. Показана, в частности, большая общественная активность Самойловича, «человека действия» (с. 427). Еще до революции в нем проявлялись задатки лидера среди востоковедов своего поколения (с. 58), а после Октября «по складу своего характера он не счел для себя возможным остаться в стороне от налаживаемого дела просвещения и культурного развития тюркских народных масс, дела живого и нужного для страны, для тюркских народов» (с. 427). Как хорошо видно из писем разных лет, если до революции биография Самойловича – это история его научных трудов и экспедиций, то затем он вел разнообразную деятельность иного рода: научно-организационную, просветительскую, некоторое время и дипломатическую. Письма отражают и его постоянную помощь людям, многим он помог с устройством на работу, переездом в другой город и др. Но «государственный масштаб задач языкового строительства… значительно потеснил его личные научные планы» (с. 427), о чем тоже подробно пишет Г.Ф. Благова. Многие замыслы остались нереализованными, а многое осталось в рукописях и черновиках и лишь сейчас публикуется.

Но в переписке можно найти немало интересного и не только о Самойловиче. Отметим, например, свидетельство И.Ю. Крачковского о настроениях украинских крестьян в 1905 г. (с. 196) или картину имевшего, по мнению Самойловича, «жизнерадостный вид» Баку 1923 г. из его письма Крачковскому (с. 211). Много говорится о подготовке Первого (и на долгие годы единственного) всесоюзного тюркологического съезда в Баку в 1926 г., о ходе работ по латинизации письменностей тюркских народов, о научной жизни Азербайджана, Узбекистана, Татарстана в 20-е гг. и др. Иногда узнаем что-то новое о людях, казалось бы, далеких от тюркологии. Скажем, С.Е. Малов упоминает в связи с заседанием памяти Н.Ф. Катанова в Казанском университете о выступлении «студентки Нечкиной» с теплыми словами о покойном (с. 227). Речь идет о М.В. Нечкиной, впоследствии известном историке, одной из первых у нас женщин-академиков.

Кое-что новое мы узнаем и о коллегах Самойловича. Остановлюсь лишь на сведениях о Е.Д. Поливанове. Хотя сохранились лишь два его письма Самойловичу (а письма Самойловича, видимо, пропали безвозвратно, хотя Г.Ф. Благова выражает надежду на недоступные при подготовке данного издания среднеазиатские архивы), но в одном из них упомянута как в основном готовая для печати его работа «Диалектологический словарь узбекского языка», о которой ранее не было известно (с. 253). И дважды в переписке Самойловича затрагиваются сложные моменты биографии Поливанова. В письме А.Э. Шмидта Самойловичу из Ташкента от 10 декабря 1922 г. упомянуто о «психическом заболевании Поливанова», тогда жившего в Ташкенте, из-за чего Шмидт был вынужден взять на себя часть его нагрузок (с. 263). Ранее об этой болезни не было известно. А В.В. Бартольд, побывавший в Ташкенте в 1925 г., писал 22 июня этого года Самойловичу: «В университете успехам научной туркологии по-прежнему больше всего содействуют работы Поливанова, но неизвестно, надолго ли его хватит; и физически, и нравственно он все больше опускается» (с. 150). Подобные характеристики были и у других современников, но академик ошибся в прогнозе: пожалуй, самый научно насыщенный в жизни Поливанова московский период деятельности еще был впереди.

В книгу входят четыре статьи Г.Ф. Благовой: «Плеяда востоковедов-единомышленников в противостоянии новой и старой школ (первые десятилетия XX в.)» (с. 17–93), «Загадки архива А.Н. Самойловича» (с. 509–513), «Эдиционно-исследовательская методика в трудах академика А.Н. Самойловича» (с. 514–529) и «Новая тюркология и новое учение о языке: А.Н. Самойлович и Н.Я. Марр» (с. 530–545). Из них хочется специально остановиться на первой и последней.

В первой статье Г.Ф. Благова рассматривает историю отечественного востоковедения со второй половины XIX в. до 30-х гг. XX в., выделяя научные судьбы видных востоковедов – непосредственных предшественников и современников Самойловича. Среди них было много действительно выдающихся ученых, однако в нашей историографии слишком часто все сводилось к перечислению их основных трудов и стандартно высоким оценкам. Востоковеды, при жизни споривщие, а то и враждовавшие друг с другом, оказывались на одно лицо. Г.Ф. Благова вполне правомерно спорит с таким подходом и стремится не только рассмотреть классическое русское востоковедение как единое целое, но и выявить в его составе

разные школы и направления и определить не только сходства, но и различия между ними. Это отражено уже в заглавии статьи. Как пишет Г.Ф. Благова, в современных курсах «Введения в тюркологию» нет «необходимых сведений даже о самом факте существования новой и старой востоковедных научных школ» (с. 23), поэтому она хочет «хотя бы поставить задачу на будущее» (с. 23–24).

При разграничении школ автор берет за основу высказывания самого А.Н. Самойловича (с. 22, 28 и др.), в приложении к книге (с. 479–491) специально перепечатана его статья 1919 г. памяти И.Н. Березина. Самойлович относил к старой школе уже покойного к тому времени И.Н. Березина, а среди своих современников В.Д. Смирнова (с которым, как показано в книге, у Самойловича имелись постоянные разногласия). Вероятно, к ней следовало бы отнести и А.М. Позднеева, с которым Самойлович мало был лично связан. Становление новой школы Самойлович связывал, прежде всего, с именами В.Р. Розена и К.Г. Залемана. Старая школа ориентировалась на отечественные образцы середины прошлого века и игнорировала достижения современной науки, особенно западной, легко переходила от одной темы к другой и была склонна к обобщениям, не основанным на детальном анализе фактов. Но в центре внимания новой школы, как пишет Г.Ф. Благова, было «кропотливое и тщательное изучение памятников, сочетавшееся с новыми, более совершенными подходами к анализу» (с. 22). Эта школа была тесно связана с западной ориенталистикой и ориентировалась на ее достижения. Отмечено вслед за Самойловичем и свойственное ей «изучение живых наречий в духе новых требований научного языкознания» (с. 22, 491).

Все же представляется, что можно здесь пойти дальше и выделить не две, а три школы, точнее, три этапа в развитии русского востоковедения. Автор рецензии посвятил этой проблеме специальную публикацию [Алпатов 1994]. Если в разграничении старой и новой школ и в характеристике старой школы мы вполне согласны с Г.Ф. Благовой, то новая школа, по Самойловичу, требует дифференцированного к себе отношения, хотя в тюркологии дифференциация не была столь явной, как, скажем, в арабистике, индологии или китаистике. «Кропотливое и тщательное изучение памятников» и «изучение живых наречий» редко совмещались в лице одного востоковеда (хотя среди таких редких исключений был и крупнейший тюрколог В.В. Радлов). Ученые, писавшие понемногу обо всем, вроде И.Н. Березина, сменились в большинстве областей науки о Востоке узкими специалистами, занимавшимися только одним языком или несколькими родственными языками и в большинстве рассматривавшими язык лишь как вспомогательное средство для познания культуры, отраженной в памятниках. Еще одной чертой такого подхода было игнорирование современных языков и культур при преимущественном интересе к древности. С.Ф. Ольденбург писал В.Р. Розену: «Нам нечего делать в лингвистике, у нас работы и без того вдоволь» [Неизвестные 2004: 289]. А связанный с тюркологией В.В. Бартольд позднее писал: «Среди русских ориенталистов всегда было всего менее чистых лингвистов» [Бартольд 1977: 587]. Но в тюркологии была своя специфика. Самойлович переход к изучению живых наречий датировал 60-ми гг. XIX в., хотя в других областях востоковедения в это время ситуация была прямо противоположной. Играл, видимо, роль тот факт, что тюркские языки в отличие от других языковых семей были широко представлены в России, и если востоковеды иных специальностей в те же годы замкнулись в рукописных фондах, то тюркологи выезжали в лингвистические и фольклорные экспедиции. В этом ведущую роль играли два крупных ученых: В.В. Радлов и Н.И. Ильминский, второй из которых при хорошей научной подготовке все же больше ставил перед собой не академические, а практические задачи.

Активный переход к изучению современности и к отделению лингвистики от филологии стал намечаться в России лишь в предреволюционные годы, в основном силами ученых поколения Самойловича или еще моложе. Тюркология, впрочем, и здесь имела специфику: ключевую роль в этом переходе сыграл уже его первый учитель П.М. Мелиоранский, который в этом духе воспитал и своего ученика. Впрочем, как показано в рецензируемой книге, путь Самойловича не был прямым: как пишет Г.Ф. Благова, «в итоге усиленных занятий туркменскими диалектами Самойлович испытал глубокое разочарование, а его исследовательские интересы в области туркменоведения кардинально переключились с диалектологии на литературоведение, фольклористику, а также этнографию» (с. 379). Занялся он и рукописями, одной из которых (впрочем, поздней, XIX в.) была посвящена и его магистерская диссертация. Г.Ф. Благова объясняет такой переход, прежде всего, трудностями со сбором диалектного материала (с. 379). Однако, вероятно, играла роль и обстановка в петербургском востоковедении после ранней смерти Мелиоранского. Несколькими страницами выше Г.Ф. Благова отмечает: «Готовность Самойловича написать общий очерк известных ему туркменских говоров, по-видимому, в то время не нашла должного отклика» (с. 369). Чтобы

получить признание в кругу востоковедов, даже новой школы, молодой ученый должен был, как тогда полагалось, издать и прокомментировать памятник.

Все окончательно изменилось в советское время. Большинство научных публикаций Самойловича этих лет – либо лингвистические, либо чисто литературоведческие, но не филологические. Г.Ф. Благова объясняет это, в первую очередь, политической ситуацией (с. 427 и др.), но, вероятно, играли роль и процессы, происходившие в самой науке.

Важен и вопрос о взаимоотношениях Самойловича и Н.Я. Марра, которому также посвящена особая статья Г.Ф. Благовой. Как известно, Марр пришел к «марксизму в языкознании» из среды классического русского востоковедения, представители которого считали его выдающимся деятелем своего цеха и долгое время одобрительно относились к его гипотезам. Впрочем, согласно неписаному кодексу чести в этой среде, им не полагалось оценивать идеи, основанные на материале, которым они сами не владели, поэтому они не вдавались в суть его кавказоведческих публикаций и не замечали проявлявшиеся уже там тревожные симптомы. Однако «новое учение о языке» они в большинстве не приняли, часто не только по научным, но и по политическим причинам, оправдывая иногда его появление болезнью Марра. Типичен приводимый в книге отзыв А.Е. Крымского в письме И.Ю. Крачковскому после смерти Марра: «Мое отрицательное отношение к его работам последнего времени, когда он был психически болен, Вам известно, но прежнего Марра, усердно и талантливо поработавшего для ориенталистики и принесшего своею работою честь ей, я высоко ценил и ценю» (с. 540).

Но Самойлович резко выделялся среди востоковедов своего и предшествующих поколений положительными оценками марризма, сходясь лишь с некоторыми совсем молодыми тогда учеными. Это требует объяснений. Г.Ф. Благова пишет о «давней симпатии А.Н. Самойловича к Н.Я. Марру» (с. 340), восходящей еще к дореволюционным временам, когда Марр, тогда декан восточного факультета Петроградского университета, поддержал молодого тюрколога в его конфликте с В.Д. Смирновым. В дальнейшем их личные отношения были почти всегда хорошими до конца жизни Марра (свою последнюю поездку за границу он совершил за несколько месяцев до инсульта вместе с Самойловичем в Турцию). Однажды, впрочем, Самойлович испытал на себе гнев Марра, уничтожающе отозвавшегося в 1926 г. о его классификации тюркских языков, основанной на сравнительно-исторических критериях. Этот инцидент, впрочем, не стоит ставить в один ряд с травлей Е.Д. Поливанова после выступления против Марра, как это делает Г.Ф. Благова (с. 538), видя различие лишь в усилении с годами жесткости реакции Марра. Прежде всего, иной была реакция самого Самойловича, который не стал спорить с Марром и воздержался от публикации последнего варианта своей классификации. Но и для Самойловича этот эпизод не имел серьезных последствий.

Но важна и научная сторона. В письмах есть свидетельства об интересе Самойловича к идеям Марра. 20 ноября 1923 г. (за день до публичного провозглашения «нового учения о языке») он писал В.В. Бартольду из Баку, что получил там «данные… по вопросу о яфетизмах в азербайджанском языке» (с. 134). Еще существеннее письмо Н.И. Ашмарину от 5 февраля 1925 г., то есть уже в период «нового учения»: «Н.Я. Марр был в Симбирске у чувашей и сделал о поездке интереснейший доклад об этих басках Восточной Европы. Я сочувствую изучению турецких языков в яфетическом освещении, но моя статья “От туранизма к яфетидизму” пишется крайне медленно» (с. 248). Данный доклад, вскоре опубликованный, последователи Марра рассматривали как этапный в развитии его учения: впервые в число яфетических был включен (если не считать армянского языка, который все-таки считался «скрещенным яфетическо-индоевропейским») язык с ранее уже установленными родственными связями; тем самым окончательно перечеркивалась генетическая классификация языков и опровергалась прежняя идея Марра о яфетических языках как семье. Согласно Марру, и яфетические, и тюркские (турецкие) языки – не семьи, а стадии в развитии языков мира; чувашский язык – еще яфетический, как грузинский и баскский, а другие тюркские языки уже достигли следующей стадии; на определенном уровне экономического развития любой народ, в частности, будет называть воду *su*, как это делают грузины, берберы, чуваши и пережиточно другие тюркские народы [Язык 1936: 45–46]. Называть чувашей «басками Восточной Европы» можно было, лишь приняв эту идею, под влиянием которой оказался Самойлович. Указанную в письме статью он, правда, так и не опубликовал (с. 340), но письмо Ашмарину не подтверждает оценку Г.Ф. Благовой о том, что ученый выражал сочувствие яфетической теории лишь на словах (с. 463).

Сейчас очевидно, что данная идея Марра, как и «новое учение о языке» в целом, заводили в тупик. Но тогда они привлекали многих, в чем роль, кроме всего прочего, играли давно сложившийся научный авторитет Марра и яркость его выступлений, упоминаемая в книге (с. 300).

Нельзя интерес к ним объяснять только страхом репрессий, тем более что Н.И. Ашмарин не был человеком, перед которым надо было специально демонстрировать свою лояльность, а к февралю 1925 г. учение Марра ни им самим, ни его покровителями еще не было объявлено «марксизмом в языкознании» (впервые об этом заявит А.В. Луначарский двумя месяцами позже). В этот период «новое учение» казалось многим, и, прежде всего, ученым-новаторам, к которым относил себя Самойлович, новым словом в науке. И сдача позиций по вопросу классификации тюркских языков могла объясняться не только политическими причинами, но и научным авторитетом Марра.

Все это давило на Самойловича. Г.Ф. Благова упоминает, что в 1931 г. он (в письме, не вошедшем в издание) отказал крупному ученому старой школы В.А. Богородицкому в просьбе написать предисловие к его книге по тюркологии, которую в Казани, где он жил, не хотели печатать из-за ее несоответствия учению Марра. Самойлович объяснил это тем, что «не успел еще надлежащим образом перевооружиться методологически», и посоветовал обратиться к самому Марру (с. 462, 539).

Но, безусловно, чем дальше, тем больше на Самойловича влияла его официальная позиция лидера советского востоковедения (хотя и не члена партии), особенно после его назначения в 1934 г. директором Института востоковедения АН СССР. «Как директор ИВ АН СССР Самойлович был обязан "методологически перевооружиться" в этот самый тяжелый период господства марризма» (с. 463), поэтому именно в 1935 г. он опубликовал, по оценке Г.Ф. Благовой, «единственную конформистскую статью» (с. 541), где прославлялось учение уже покойного Марра, включая самые бредовые его идеи. Можно согласиться с тем, что он в ней «говорит от имени всей тюркологии страны» (с. 541); резко отрицательную оценку этой статьи дал в свое время и автор данной рецензии [Алпатов 1991: 87]. Но в этой же статье Самойлович указывал, что до того опубликовал еще пять «прояфетических статей», которые, как указывает Г.Ф. Благова (с. 544), далеко не лишены научного значения. Однако, разумеется, Самойлович, как и практически все ученые того времени, чьи взгляды и методы сложились до установления господства «нового учения о языке», не мог перечеркнуть свою научную деятельность и принять «новое учение» в целом, а мог лишь использовать отдельные его идеи и положения. Это хорошо видно из данной книги.

К сожалению, история «нового учения о языке» изложена у Г.Ф. Благовой не всегда точно. Например, на с. 534 упомянуто о «раннем увлечении» Марра лингвистикой в 1890-е гг., а затем сказано: «В начале 20-х годов... Н.Я. Марр активно возобновил свои лингвистические штудии, стремясь на этот раз приспособить их к весьма актуальному в то время учению марксизма». Но Марр впервые опубликовал свои яфетические идеи еще студентом в 1888 г., после чего его учитель В.Р. Розен уговорил его не публиковать их до защиты докторской диссертации, но после смерти Розена в 1908 г. Марр сразу возобновил лингвистические штудии, в том же году издав книгу о семитско-яфетических языковых связях, и уже не оставлял эти штудии до конца жизни. А вот их приспособление к марксизму началось у Марра (а до того у некоторых его последователей) не в начале 20-х, а во второй их половине.

Г.Ф. Благова проделала огромную комментаторскую работу по выяснению данных о лицах и событиях, упоминаемых в письмах. Но где-то ее оценки можно уточнить. Упомянутая выше книга В.А. Богородицкого в итоге была напечатана с предисловием (точнее, опубликованной вместо предисловия рецензией) П. Кузнецова. Г.Ф. Благова предполагает, что его автором был упоминаемый в одном из писем А.Э. Шмидта Самойловичу выпускник Туркестанской учительской семинарии, читавший в 20-е гг. в Ташкенте курс узбекского языка (с. 540). В книге упомянуто, что и А.Э. Шмидт, и К.К. Юдахин оценивали этого П. Кузнецова очень невысоко (по выражению К.К. Юдахина, «деятель совсем незаметненький», с. 345). Но тот ли это Кузнецов? Он сам пишет о себе: «Не являюсь специалистом по тюркским языкам» [Богородицкий 1933: IX]. С другой стороны, среди претензий к Богородицкому есть и такая, какую вряд ли мог бы высказать выпускник учительской семинарии: «Не ставится вопрос о фонеме» [Богородицкий 1933: VIII]. Наконец, П. Кузнецов назван действительным членом Научно-исследовательского института языкознания при Наркомпросе в Москве [Богородицкий 1933: VII]. Всего сказанного достаточно, чтобы считать автором этого текста известного лингвиста Петра Саввича Кузнецова, в то время работавшего именно в указанном институте.

Ряд комментариев можно было бы расширить. Например, такой комментарий к письму И.Ю. Крачковского 1905 г.: «Жданов – ректор СПб. университета в начале XX в.» (с. 318). То есть, повторена информация, уже содержащаяся в письме. Но нетрудно установить, что это астроном Александр Маркелович Жданов (1858–1914), ректор Петербургского университета с 1903 по 1905 гг. Не учтены некоторые возможные источники информации, например, книга 1994 г. «"Дело славистов": 30-е гг.»,

подготовленная Ф.Д. Ашниным вместе с автором данной рецензии, из нее можно было бы получить более полные данные об упомянутых в переписке Самойловича А.А. Миллере, Ф.А. Фиельструпе. Биографические данные о Е.Д. Поливанове (с. 71) даны почему-то со ссылкой на книгу А.А. Долининой, где о нем говорится лишь попутно, хотя специально о Поливанове написаны книги В.Г. Ларцева и А.А. Леонтьева, не отраженные у Г.Ф. Благовой.

В именном указателе спорен сам принцип: включать в него только востоковедов. На практике отделить востоковедов от ученых других специальностей всегда трудно, что проявляется и здесь. Например, включена М.В. Нечкина, которая была крупным историком, но Востоком не занималась, но нет, скажем, И.А. Бодуэна де Куртенэ, который рассматривал самые разные темы, включая и востоковедные. А кто-то не попал и среди безусловных востоковедов, например, упомянутый в переписке китаист Любимов. И есть в указателе неточности, например, фигурирует упоминаемый на пяти страницах книги «Д.И. Позднеев», хотя востоковеда с такими фамилией и инициалами не было, а были братья А.М. и Д.М. Позднеевы. Но на стр. 162 и 307 упомянут Д.М. Позднеев, на стр. 300 и 493 – А.М. Позднеев, а на стр. 39 – оба брата. Кстати, датой смерти Д.М. Позднеева на стр. 39 назван 1942 г., хотя давно установлено, что это фиктивная дата, маскировавшая в 50–80-е гг. истинный год его гибели – 1937. Аналогичная ошибка (1946 вместо 1937) допущена на стр. 297 и в отношении Б.А. Васильева.

Вообще, в книге много опечаток и/или неточностей в датах. Две из них особенно бросаются в глаза. Дважды (с. 76 и 567) годом смерти К.К. Юдахина назван 1979 г., а на стр. 541 сказано, что Н.Я. Марр умер 20 января 1934 г. Но упомянут некролог Юдахина, принадлежащий перу А.А. Реформатского, умершего, как известно, в 1978 г., а в уже упоминавшемся письме А.Е. Крымского И.Ю. Крачковскому от 3 января 1935 г. о смерти Марра говорится как о свежем событии. На самом деле Юдахин умер в 1975 г. (что указано, в том числе в БСЭ, где соответствующий том издан в 1978 г.), а Марр 20 декабря 1934 г. Неточны и даты смерти В.М. Алексеева (с. 297), А.П. Баранникова (с. 348), рождения Б.В. Миллера (с. 329), вероятно, это опечатки. Но вот на стр. 330 комментируется письмо С.Е. Малова от 1922 г., где говорится, что он только что с опозданием узнал о смерти В.Д. Смирнова, П.А. Фалёва и Н.А. Медникова. Поскольку первые двое действительно умерли в том же 1922 г., то и Медникову приписан тот же год смерти. Однако он умер еще в 1918 г., и указание точной даты сразу бы показало, насколько живший тогда в Казани Малов был оторван от всего, что происходило в других местах. Встречаются, хотя и реже, опечатки и в фамилиях и географических названиях: Лапшево вместо Лаишево (с. 220), Зитаевич вместо Затаевич (с. 265).

Последнее наше критическое замечание касается тезиса, который нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Г.Ф. Благова пишет: «"Турецкие этюды" – это, можно сказать, роковая для А.Н. Самойловича работа, из которой в 1928 г. он опубликовал только концептуальную "выжимку" о единстве среднеазиатско-турецкого литературного языка, а черная тень подозрений, не высказанных до времени укоров в пантуркизме, нависла и затем задушила академика» (с. 408). В подтверждение она ссылается на данные подготовленной с нашим участием книги, где фиксируются показания 1937 г. ряда ученых тюркских народов против Самойловича (из них в следственное дело попали лишь показания Б.В. Чобан-заде). Однако такого рода заключения можно высказывать лишь в виде гипотезы: мы ничего достоверно не знаем о причинах ареста и гибели академика А.Н. Самойловича. Полагаться на следственное дело опасно, но если на него полагаться, то оказывается, что «пантюркизм» там упоминается лишь вскользь, а главное внимание уделено совсем незначительным связям академика с Японией, которые должны были подтвердить главное обвинение – в «шпионаже в пользу Японии», которым якобы он занимался с 1907 года. Можно задавать много вопросов, но ответа на них нет.

Однако все наши замечания имеют частный характер. Главное – в научный оборот введены ценные документы, а биография и статьи Г.Ф. Благовой значительно дополняют наши знания о выдающемся лингвисте, филологе и литературоведе А.Н. Самойловиче.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алпатов 1991 – *В.М. Алпатов.* История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991.

Алпатов 1994 – *В.М. Алпатов.* Периодизация отечественного востоковедения // Восток. 1994. № 1.

Ашнин 1963 – *Ф.Д. Ашнин.* Александр Николаевич Самойлович (1880–1938) // Народы Азии и Африки. 1963. № 2.

Ашнин 1978 – *Ф.Д. Ашнин.* Александр Николаевич Самойлович. 1880–1938 // Тюркологический сборник. 1974. М., 1978.

Бартольд 1977 – *В.В. Бартольд.* Сочинения. Т. IX. М., 1977.

Богородицкий 1933 – *В.А. Богородицкий.* Этюды по татарскому и тюркскому языкознанию. Казань, 1933.

Неизвестные 2004 – Неизвестные страницы отечественного востоковедения. Вып. II. М., 2004.

Самойлович 2005 – *А.Н. Самойлович.* Тюркское языкознание. Филология. Руника. М., 2005.

Язык 1936 – Язык и история. I. М.; Л., 1936.

В.М. Алпатов

***W.D. Davies, S. Dubinsky* (eds.). New horizons in the analysis of control and raising.** Dordrecht: Springer, 2007. x + 354 p.

Рецензируемая книга – это сборник статей, большинство из которых было представлено на конференции «New horizons in the grammar of raising and control» («Новые горизонты в грамматике подъема и контроля»), состоявшейся в 2005 году в Гарвардском университете. Все статьи сборника посвящены вопросам анализа так называемых «конструкций с контролем» и «конструкций с подъемом».

Еще на ранних этапах развития порождающей грамматики было предложено различать два типа конструкций с инфинитивными дополнениями: конструкции с контролем (control constructions) и конструкции с подъемом (raising), см. [Rosenbaum 1967; Postal 1974] и множество последующих работ. Несмотря на поверхностное сходство этих типов конструкций, для них постулировались разные синтаксические структуры и разные деривации. Ср. следующие примеры из английского языка:

(1) John seemed / appeared to have won the competition.
Казалось, что Джон выиграл соревнование.
(2) John tried / wanted to win the competition.
Джон пытался / хотел выиграть соревнование.

Пример (1) иллюстрирует конструкцию с подъемом аргумента в позицию субъекта вершинной клаузы, а в предложении (2) представлена конструкция с субъектным контролем. В литературе по синтаксису был выделен ряд свойств, различающих эти два типа конструкций. Так, вершинные предикаты типа (2), но не придикаты типа (1) накладывают семантические (селективные) ограничения на субъектную именную группу:

(3) The book seemed to have fallen from the shelf.
Казалось, что книга упала с полки.
(4) #The book tried to fall from the shelf.
#Книга попыталась упасть с полки.

Как видно из примеров (3) и (4), предикат *seem* допускает неодушевленный субъект, в то время как предикат *try* накладывает на свой субъект селективное ограничение: субъект должен быть волитивным.

Далее, только предикаты подъема, но не предикаты контроля допускают эксплетивные местоимения в позиции субъекта:

(5) It seemed / appeared to rain.
Казалось, что идет дождь.
(6) *It tried / wanted to rain.

Кроме того, только в конструкциях с подъемом допускается, чтобы именная группа, занимающая позицию субъекта, получала идиоматическую интерпретацию совместно с инфинитивной клаузой:

(7) The cat seemed to be out of the bag.
Казалось, что кошка вылезла из мешка. (буквальное прочтение)
Казалось, что секрет раскрылся. (идиоматическое прочтение)
(8) The cat tried to be out of the bag.
Кошка старалась вылезти из мешка. (буквальное прочтение)
*Секрет старался раскрыться. (идиоматическое прочтение)

Существуют и другие тесты разной степени универсальности, позволяющие отличить конструкции с подъемом от конструкций с контролем: изменение / сохранение значения при пассивизации зависимой клаузы, поведение клитики *en* во французском языке (см. [Ruwet 1972]), поведение рефлексива *si* в итальянском (см. [Rizzi 1986]), сохранение / несохранение неструктурного падежа у поднятой именной группы в исландском [Zaenen et al. 1985] и др.

Эти различия между глаголами типа (1) и глаголами типа (2) получили следующее объяснение в рамках теории управления и связывания (см. [Chomsky 1981]). Этот анализ можно назвать «классическим».

В конструкциях типа (1) (т. е. в конструкциях с подъемом аргумента) исходной позицией субъектной именной группы (в данном случае это именная группа *John*) является аргументная позиция в зависимой клаузе, где эта именная группа получает семантическую роль и откуда она перемещается в позицию подлежащего инфинитивной клаузы. Однако эта именная группа не может получить падеж в рамках инфинитивной клаузы, и поэтому она поднимается в позицию субъекта вершинной клаузы, где

получает именительный падеж. Важно, что в конструкции с подъемом вершинный предикат не приписывает семантической роли поднятой именной группе. Этим объясняется отсутствие селективных ограничений со стороны вершинного предиката, а также допустимость эксплетивов и фрагментов идиоматических выражений в позиции субъекта.

В конструкциях типа (2) (т. е. в конструкциях с контролем) субъектная именная группа с самого начала занимает позицию аргумента в вершинной клаузе и получает семантическую роль от вершинного предиката. Этим объясняется наличие селективных ограничений со стороны вершинного предиката и недопустимость в позиции субъекта эксплетивных местоимений и фрагментов идиом. В позиции же субъекта инфинитивной клаузы в рамках «классического» анализа контроля постулировалась нулевая именная группа PRO, кореферентная именной группе в вершинной клаузе (т. е. именная группа в вершинной клаузе «контролировала» PRO). В следующих примерах проиллюстрирована структура предложений (1) и (2):

(1') John seemed / appeared [~~John~~ to have won the competition].
(2') John$_i$ tried / wanted [PRO$_i$ to win the competition].

Описанный анализ долгое время считался общепринятым в рамках порождающей грамматики и модифицировался лишь в отдельных деталях. Однако с приходом «минимализма» (см. [Chomsky 1995]) и отказом от многих теоретических конструктов теории управления и связывания этот анализ стал проблематичным. Особенно проблемными оказались объяснение дистрибуции PRO и сам теоретический статус этого нулевого элемента (в рамках теории управления и связывания существование этого элемента и его дистрибуция объяснялись на основе понятия «управление», отвергнутого в рамках минималистской программы). Начали появляться работы, предлагавшие новые варианты анализа конструкций с контролем. При этом одни развивали основную идею «классического анализа» в рамках новой теоретической парадигмы (см. теорию «нулевого падежа» в [Chomsky, Lasnik 1993; Martin 1996; 2001]), в то время как другие предлагали более революционные решения, сближающие анализ конструкций с контролем и конструкций с подъемом аргумента (см. [O'Neil 1997; Manzini, Roussou 2000]). Наибольший резонанс вызвала теория, выдвинутая Норбертом Хорнстайном ([Hornstein 1999], см. также [Hornstein 2001; 2003]) и получившая название «теория контроля как передвижения» (movement theory of control). Основная идея этой теории состояла в том, что контроль следует анализировать как передвижение именной группы из зависимой клаузы в вершинную, в ходе которого одной именной группе приписывается две семантические роли (отметим, что в работе [O'Neil 1997] была выдвинута очень схожая идея, однако именно теория Хорнстайна привлекла наибольшее внимание в научном сообществе). Таким образом, Хорнстайн предложил отказаться от «тета-критерия», устанавливающего взаимооднозначное соответствие между аргументными именными группами и семантическими ролями. Как показывает Хорнстайн, это стало возможным после отказа в рамках минимализма от идеи существования единого уровня «глубинной структуры», самого глубокого уровня репрезентации, на котором в рамках теории управления и связывания задавалась вся информация, касающаяся приписывания семантических ролей.

Таким образом, Хорнстайн предложил считать, что в конструкциях с контролем, как и в конструкциях с подъемом аргумента, присутствует передвижение. А различия между этими конструкциями сводятся к тому, что в конструкциях с контролем именная группа передвигается в позицию, где ей приписывается вторая семантическая роль, а в конструкциях с подъемом вершинный предикат не приписывает вторую семантическую роль поднятой именной группе. Эта теория, ставящая под сомнение глубину различий между конструкциями, которые в рамках порождающей грамматики противопоставлялись на протяжении нескольких десятилетий, вызвала множество откликов и породила жаркую дискуссию, которая продолжается по сей день (см. [Culicover, Jackendoff 2001; 2006; Landau 2003; Boeckx, Hornstein 2003; 2004; 2006a; 2006б; Jackendoff, Culicover 2003; Bobaljik, Landau 2009] и др.).

Рассматриваемая книга призвана внести свой вклад в развитие развернувшейся дискуссии вокруг феноменов подъема и контроля в языках мира.

Первая часть сборника получила название «Новые взгляды на подъем» и содержит три статьи.

Первая из них, озаглавленная «Возвращаясь к подъему в именных группах» (Raising in DP revisited), написана Айви Сичел (Ivy Sichel) и посвящена проблеме подъема аргумента в позицию генитивного зависимого вершинного имени из состава зависимого инфинитивного оборота. В исследованиях, посвященных синтаксису английского языка, уже давно был замечен следующий контраст между предикатами контроля (такими как *refuse* «отказаться» и *promise* «обещать») и предикатами подъема (такими как *appear* «казаться», *be certain* «быть

точным»): только отглагольные существительные, образованные от предикатов контроля, допускают конструкцию с зависимым инфинитивом и именной группой в родительном падеже, кореферентной нулевому подлежащему инфинитивной клаузы. Ср. примеры именных групп (9) и (10):

(9) John's refusal / promise to leave.
Отказ / обещание Джона уйти.
(10) *John's appearance / certainty to leave.

Целый ряд исследователей предлагал варианты объяснения этого контраста. Часто эти объяснения носили очень общий характер и предсказывали, что конструкции типа (10) должны быть запрещены во всех языках. В рассматриваемой статье на основе данных из иврита делается попытка показать, что такое обобщение неадекватно. Автор приводит примеры грамматичных конструкций из этого языка, внешне похожих на конструкцию типа (10) в английском, и при помощи ряда синтаксических тестов убедительно показывает, что в данных конструкциях в иврите действительно имеет место подъем аргумента из позиции субъекта инфинитивного оборота в позицию генитивного зависимого вершинного имени. Таким образом, неграмматичность примера (10) в английском языке не может быть приписана какому-либо универсальному запрету на подъем аргумента в рамках именной группы и требует иного, более частного объяснения. Вопрос о таком объяснении остается открытым.

Вторая часть статьи посвящена вопросам, лишь отдаленно связанным с проблемой подъема аргумента в составе именных групп в иврите. Сначала автор приводит аргумент, основанный на данных из иврита и направленный против анализа конструкций контроля через передвижение. Затем, уже опираясь на данные английского языка, автор излагает свою точку зрения на то, является ли контроль в составе именных групп (см. пример 11) обязательным или необязательным. При этом автор приходит к выводу, что это случай обязательного контроля, однако сам контролер может быть нулевым местоимением.

(11) John's$_i$ mother$_j$ supported the decision [to vindicate himself$_i$ / herself$_j$ / oneself].
Мать Джона поддержала решение.

Вторая статья написана Кристофером Хиршом и Кеном Векслером и озаглавлена «Позднее развитие подъема» (The late development of raising: what children seem to think about seem). Эта статья посвящена вопросу о том, как конструкция с подъемом усваивается детьми при изучении родного языка. Авторы начинают с того, что рассматривают несколько существующих гипотез о глубинных различиях в устройстве синтаксического аппарата у детей раннего возраста и взрослых, которыми можно объяснить недоступность для маленьких детей ряда конструкций, распространенных во взрослой речи. Обсуждаются предсказания этих гипотез в отношении конструкции с подъемом аргумента при глаголах типа *seem* «казаться». Затем, авторы дают обзор существующих (немногочисленных) исследований в этой области. И наконец, авторы приводят подробное описание ряда собственных экспериментов и детальное обсуждение их результатов. Основной вывод, к которому приходят авторы, это то, что конструкции с подъемом аргумента типа (13) непонятны детям до 7 лет, а в 7 лет происходит довольно резкий скачок в понимании подобных конструкций. При этом параллельные конструкции без подъема типа (12) хорошо понятны детям с гораздо более раннего возраста.

(12) It seems to Homer that Marge is pushing a cart.
Гомеру кажется, что Мардж толкает коляску.
(13) Homer seems to Maggie to be bowling a ball.
Мэгги кажется, что Гомер играет в боулинг.

Как показывают авторы, усвоение конструкции с подъемом происходит параллельно с усвоением таких конструкций, как пассив и конструкции с неаккузативными глаголами. Эти факты говорят в пользу одной из гипотез о различии между синтаксисом детей младшего возраста и взрослых, а именно в пользу гипотезы о том, что ранняя детская грамматика не допускает существование дефективных, не-фазовых вершин v. Согласно распространенному анализу, именно существование таких вершин делает возможными как пассивные конструкции и конструкции с неаккузативными глаголами, так и конструкции с подъемом аргумента в позицию субъекта, так как все эти конструкции требуют выноса аргумента напрямую из состава комплемента вершины v без промежуточной «посадки» в позиции спецификатора этой вершины.

Интересно также сравнение усвоения детьми конструкций с подъемом аргумента и конструкций с контролем. Оказывается, что при усвоении конструкций с контролем описанной задержки не наблюдается. Авторы показывают, что хотя, на первый взгляд, эти данные говорят против попыток сведения контроля и подъема к единому синтаксическому механизму – передвижению, при более тщательном анализе оказывается, что выдвинутая гипотеза о причинах

задержки в усвоении конструкций с подъемом вовсе не предсказывает аналогичной задержки в усвоении конструкции с контролем, даже если контроль также анализируется как передвижение. Дело в том, что для анализа конструкций с субъектным контролем в рамках теории контроля как передвижения нет необходимости в постулировании дефективной вершины *v*. В этом случае именная группа передвигается из состава зависимой клаузы сначала в позицию спецификатора вершины *v* в главной клаузе, где ей приписывается вторая семантическая роль. А затем уже эта именная группа передвигается в позицию спецификатора вершины *T*. Таким образом, благодаря промежуточной «посадке» в спецификаторе вершины *v* поднятая именная группа может быть вынесена из состава комплемента вершины *v*, даже если эта вершина является фазовой.

Хочется отметить, что благодаря хорошему описанию структуры и результатов проводимых экспериментов данная статья будет интересна не только исследователям, работающим в рамках генеративного синтаксиса, но и всем интересующимся усвоением синтаксиса детьми.

Последняя статья этой части, которая называется «Подъем главных аргументов в корейском (и японском)» (Raising of major arguments in Korean (and Japanese)), написана Джеймсом Юном. В этой статье автор предлагает собственный анализ конструкций с подъемом аргумента в позицию объекта в корейском языке (см. пример 14). Утверждается, что этот анализ можно распространить и на похожую конструкцию в японском языке, однако данные, на которые опирается автор в статье, взяты в основном из корейского.

(14) Cheli-nun Yenghi-lul
Чели-TOP Йенги-ACC
yenglihay-ss-ta-ko mitnun-ta
умный-PST-DECL-COMP считать-DECL
Чели считает, что Йенги был умным.

Эта конструкция обладает целым рядом свойств, которые отличают ее от конструкции с подъемом аргумента в позицию объекта (или «конструкции с исключительным приписыванием падежа», ECM-конструкции) в английском языке:

(15) John believes him to be innocent.
Джон считает его невиновным.

В частности, зависимая клауза в подобных конструкциях в корейском является финитной, и в исходной позиции поднятой именной группе может быть приписан падеж. Сам же подъем аргумента является факультативным. Автор рассматриваемой статьи указывает на ряд других существенных отличий, важнейшим из которых является то, что в корейском иногда допускается подъем несубъектной именной группы, т. е. допускается нарушение локальности передвижения. Этими отличиями от свойств подъема в английском языке объясняется тот факт, что в данный момент не существует общепризнанного анализа таких конструкций в корейском (и японском). Часть исследователей (начиная с классических работ [Kuno 1972; 1976]) придерживаются мнения, что эти конструкции следует анализировать как конструкции с подъемом аргумента. Другие же отвергают этот анализ и предлагают считать, что в данном случае мы имеем дело с явлением контроля или пролепсиса.

Дж. Юн предлагает анализ, согласно которому в данному случае подъем аргумента действительно имеет место, но поднимается не «грамматический субъект» (grammatical subject) зависимой клаузы, а так называемый «главный субъект» (major subject). «Главный субъект» – это именная группа в особой синтаксической позиции, которая располагается выше в синтаксической структуре, чем позиция «грамматического субъекта», и в которой тоже приписывается падеж (номинатив). Явно «главный субъект» присутствует в так называемой «конструкции с несколькими номинативами»:

(16) Cheli-ka meli-ka coh-ta.
Чели-NOM голова-NOM хороший-DECL
Чели умный.

С семантической точки зрения, на конструкции с «главным субъектом» накладывается следующее ограничение: вся предикация, кроме «главного субъекта», должна выражать определенное «характеризующие свойство» этого «главного субъекта». Это означает, например, что такие конструкции будут чаще всего иметь генерическую или хабитуальную интерпретацию, а предикат в таких конструкциях будет часто предикатом индивидного уровня (individual-level).

Важно, что, как показывает автор, именная группа в позиции «главного субъекта» может быть кореферентна другой (местоименной) именной группе в составе остальной клаузы (эта местоименная именная группа может быть как нулевым, так и ненулевым местоимением). При соблюдении определенных семантических ограничений эта местоименная именная группа может находиться как в позиции грамматического субъекта, так и в позиции других аргументов или даже в составе синтаксических островов. Это заставляет автора сделать вывод о том, что отношение между «главным субъектом» и

кореферентной местоименной именной группой не является отношением передвижения.

Таким образом, по мнению автора, в случаях, когда кажется, что происходит подъем несубъектной именной группы, на самом деле происходит подъем главного аргумента, кореферентного (нулевой) местоименной именной группе в несубъектной позиции. Более того, автор показывает, что даже при подъеме субъектной именной группы на самом деле поднимается «главный субъект», кореферентный «грамматическому субъекту». Напрямую «грамматический субъект» в корейском языке не поднимается. Основным свидетельством в пользу такого анализа является то, что при подъеме аргумента в корейском должны соблюдаться те же семантические ограничения, которые накладываются на конструкцию с несколькими номинативами (зависимая клауза должна выражать «характеризующее свойство» поднятой именной группы).

Данный анализ позволяет объяснить ряд парадоксальных и, казалось бы, противоречащих друг другу свойств конструкции с подъемом аргумента в позицию объекта в корейском языке. На наш взгляд, данный анализ представляет особый интерес, так как в нем делается серьезный шаг на пути к объяснению нетривиальных семантических ограничений на подъем аргумента в корейском и японском языках. Ни подходы, стремящиеся максимально приблизить анализ этих конструкций к анализу (или, точнее, к одному из вариантов анализа) похожих конструкций в английском языке, ни подходы, постулирующие в данном случае контроль или пролепсис, не могли ответить на этот вопрос.

Вторая часть книги посвящена конструкциям с подъемом и контролем в современном греческом языке. Эта часть также состоит из трех статей.

Первая статья называется «Не совсем ECM, не настоящий контроль: 'квази-ECM' конструкция в греческом языке» (Not really ECM, Not exactly control: the 'quasi-ECM' construction in Greek). Ее авторами являются Джордж Котсоглу и Димитра Папангели, которые пытаются показать, что конструкцию греческого языка, внешне напоминающую ECM-конструкцию в английском, на самом деле следует анализировать как пролепсис. Ср. следующий пример:

(17) o	petros	ithele
def	Петр-NOM	хотел-3SG
ti	maria	na
def	Мария-ACC	SUBJ
traghudhai	oli	mera.
петь-3SG	весь	день

Петр хотел, чтобы Мария пела весь день.

Авторы показывают, что зависимая клауза в данном случае, хотя и возглавляется глаголом в сослагательном наклонении, является финитной, и ее субъекту может быть приписан именительный падеж. Кроме того, приводится ряд аргументов в пользу того, что именная группа в винительном падеже в рассматриваемых конструкциях входит в состав вершинной клаузы и занимает там позицию объекта. Однако, хотя эти аргументы и приводятся авторами как доказательство того, что данную конструкцию нельзя анализировать как конструкцию с подъемом аргумента, они напрямую об этом не свидетельствуют. Этот вывод сделан скорее исходя из теоретических предпосылок, которые, надо отметить, не являются бесспорными. Так, существует целый ряд работ, в которых отстаивается существование подъема аргумента из падежных позиций и из состава финитных клауз, в том числе уже упоминавшиеся работы по подъему аргумента в японском языке (см. [Kuno 1976; Tanaka 2002] о подъеме в японском языке, [Ura 1996] о подъеме в языке игбо, [Fuji 2005; 2007] о подъеме из падежных позиций в английском и др.).

Кроме того, авторы указывают на определенные семантические свидетельства того, что именной группе в аккузативе в примерах типа (17) приписывается семантическая роль вершинным предикатом, а именно: на наличие семантических отличий примеров с «поднятой» и «неподнятой» именными группами, а также на незначительное изменение значения при пассивизации зависимой клаузы (распространенный тест на контроль). Однако эти рассуждения носят весьма нечеткий характер, никаких строгих диагностических контекстов не приводится, поэтому этот аргумент приходится признать слабым.

Единственным сильным аргументом в пользу анализа рассматриваемых примеров как конструкций с пролепсисом или контролем является то, что такому «подъему» не могут подвергаться фрагменты идиоматических выражений. Как уже указывалось выше, допустимость подъема фрагментов идиом – это один из важнейших тестов на то, что «поднятой» именной группе не приписывается семантическая роль вершинным предикатом.

В итоге авторы приходят к выводу, что рассматриваемые «квази-ECM» конструкции следует приравнять к конструкциям с пролепсисом, которые также существуют в греческом языке. Более того, авторы предполагают, что обсуждаемые конструкции и конструкции с пролепсисом, в которых «тематический» аргумент вершинного предиката не маркирован винительным падежом, а выражен предложной группой, являются различными реализациями одних и тех же тематических ограничений вершинных предикатов (т. е., иными словами,

это просто различные синтаксические реализации одного и того же набора семантических ролей). К сожалению, авторы практически не уделяют внимания важнейшему следствию из такого анализа: конструкции с пролепсисом в различных языках отличаются от конструкций с подъемом аргумента в первую очередь тем, что не накладывают никаких ограничений на то, в какой синтаксической позиции в зависимой клаузе может находиться местоимение, кореферентное предложной группе в вершинной клаузе. Ср. следующий пример, в котором кореферентное местоимение входит в состав субъектной именной группы:

(18) Я знаю о Васе$_i$, что его$_i$ любимым лакомством является мороженое.

Таким образом, предложенный авторами анализ также предсказывает отсутствие каких-либо ограничений на локальность в «квази-ECM» конструкции в греческом. Авторы приводят лишь один пример такой конструкции с «подъемом» из несубъектной позиции (как утверждается, из позиции косвенного дополнения). Однако этот пример подробно не обсуждается, и из текста статьи совершенно не ясно, насколько неограниченным является такой «подъем» из несубъектных позиций.

Следующие две статьи этой части сборника посвящены анализу контроля в греческом языке. Контроль в греческом языке представляет особый интерес для синтаксистов тем, что в этом языке контролироваться может субъект зависимых клауз, предикат в которых стоит в форме сослагательного наклонения. При этом глагол в сослагательном наклонении (как и в изъявительном) согласуется с субъектом по числу и лицу. Это отличает конструкции с контролем в греческом языке от похожих конструкций в английском или в русском, где контроль возникает только в конструкциях с зависимыми клаузами, возглавляемыми глаголом в «дефектной», несогласующейся форме (инфинитив, герундий). Более того, в современном греческом языке вообще отсутствует инфинитивная форма глагола.

В статье Констанции Капетангианни и Дэниела Сили «Контроль в современном греческом языке: это неплохое движение» (Control in Modern Greek: it's another good move) ставится следующий вопрос: в греческом языке есть конструкции с зависимыми клаузами в сослагательном наклонении, которые проявляют свойства контроля, и есть те, которые таких свойств не проявляют, – что определяет это различие в свойствах между внешне очень похожими конструкциями? Обсудив недостатки одного из предшествующих подходов к этой проблеме, авторы предлагают свое решение, которое, в каком-то смысле, сводится к тому, что на более абстрактном синтаксическом уровне греческий контроль следует анализировать ровно так же, как контроль в английском. Таким образом, авторы предполагают, что при идентичности морфологического оформления глагола клаузы в сослагательном наклонении в греческом языке на самом деле бывают двух типов: в одних вершина Agr^o является полной и согласуется с субъектом по признакам рода, числа и падежа, а в других вершина Agr^o является неполной («дефектной») и согласуется с субъектом только по признакам числа и падежа, но не рода. Однако свойства морфологии греческого языка таковы, что формальное выражение на глаголе получает только согласование по числу и падежу, поэтому различие между этими двумя типами клауз оказывается скрытым. Однако это различие приводит к существенным последствиям в области синтаксиса: неполная («дефектная») вершина Agr^o, также как вершина Agr^o в инфинитивных клаузах в английском, не может лицензировать полноценный субъект, что и приводит к возникновению контроля. В своем анализе авторы опираются на теорию контроля как передвижения, считая что в конструкциях с обязательным контролем неполная вершина Agr^o в сослагательном наклонении не может приписать именительный падеж субъекту, поэтому он перемещается в тета-позицию в вершинной клаузе (т. е. в позицию, где этой именной группе приписывается вторая семантическая роль). С другой стороны, когда полноценная вершина Agr^o приписывает падеж субъекту, передвижения не происходит и феномен контроля не возникает. При этом одни вершинные предикаты выбирают полноценную вершину Agr^o в качестве зависимого, а другие неполную, что объясняет существование обязательного контроля при одних предикатах, принимающих зависимые клаузы в сослагательном наклонении, и отсутствие контроля при других.

Хочется отметить, что, хотя авторы и опираются на теорию контроля как передвижения Хорнстайна, их анализ мог бы быть вписан в любую другую из многочисленных теорий, построенных на материале английского языка и объясняющих возникновение контроля дефективностью вершины T^o (ср. более традиционные подходы [Chomsky, Lasnik 1993; Martin 1996; 2001]).

Следует сказать, что авторы не предоставляют никаких независимых свидетельств существования двух разных вершин T^o в сослагательном наклонении в греческом языке – полной и «дефектной». Нет никаких эмпирических данных, подтверждающих эту теорию, более того,

как показано в следующей статье сборника, есть данные, ставящие ее под сомнение.

В своей статье «Финитность и контроль в греческом языке» (Finiteness and control in Greek) Вассилиос Спиропулос также рассматривает контроль в конструкциях с зависимой клаузой в сослагательном наклонении. Он приводит ряд аргументов в пользу того, что, во-первых, возникновение контроля в греческом языке зависит от временной интерпретации зависимой клаузы, а во-вторых, что даже в конструкциях с обязательным контролем вершина T^0 в зависимой клаузе не теряет способность приписывать именительный падеж субъекту этой клаузы. Эти аргументы ставят под сомнение анализ Капетангианни и Сили, представленный в предшествующей статье сборника. Спиропулос предлагает считать, что в греческом языке контролируется не PRO, а *pro* (нулевой прономинал), и описывает возможный синтаксический механизм такого контроля. И хотя финальный анализ, представленный в статье, очень краток, неэксплицитен и вызывает большое количество вопросов, работа представляет интерес благодаря разнообразию рассмотренных данных и важным промежуточным обобщениям.

Третья часть книги состоит из трех статей, посвященных контролю в романских языках.

Первая статья в этой части написана Габриэлой Албою и озаглавлена «Продвигаясь вперед с румынским обратным контролем и подъемом» (Moving forward with Romanian backward control and raising). В этой статье автор пытается доказать, что обязательный контроль (в отличие от необязательного) в румынском языке следует анализировать как передвижение в духе теории Хорнстайна. Основным аргументом в пользу этого является существование так называемых конструкций с «обратным контролем» в румынском языке, то есть конструкций, в которых полная именная группа находится в зависимой клаузе, а кореферентная ей фонетически пустая именная гуппа находится в вершинной клаузе. Более того, как утверждает автор, в конструкциях обязательного контроля в румынском языке полная именная группа может занимать одну из четырех различных синтаксических позиций. Ср. следующий пример:

(19) (Victor)	încearcă		
(Виктор.NOM)	пытаться.PRES.3SG		
(Victor)	la trombon		
(Виктор.NOM)	тромбон		
(Victor)	[să	cînte	
(Виктор.NOM)	[SBJ	петь.3SG	
(Victor)			
(Виктор.NOM)]			

Виктор пытается играть на тромбоне.

Теория контроля как передвижения позволяет анализировать конструкции с «обратным контролем» как конструкции со скрытым передвижением, то есть таким передвижением, при котором фонетически выражается нижняя копия (см. также [Polinsky, Potsdam 2002; 2003]). Для теорий, постулирующих нулевой элемент PRO в конструкциях с контролем, «обратный контроль» представляет собой труднопреодолимую проблему. Этим теориям в случаях «обратного контроля» пришлось бы постулировать PRO (или *pro*) в вершинной клаузе, что наталкивается, как минимум, на два серьезных препятствия: приходится постулировать PRO в полноценной падежной позиции в полноценной (ни в чем не «дефектной») клаузе, т. е. все существующие объяснения дистрибуции PRO теряют силу, и остро встает вопрос о том, почему PRO недопустимо вообще в любых синтаксических позициях. Вторая проблема заключается в том, что приходится постулировать «связывание наверх» (т.е. именная группа из зависимой клаузы должна связывать PRO в вершинной клаузе), что считается невозможным в подавляющем большинстве существующих синтаксических теорий.

Зависимые клаузы в конструкциях с обязательным контролем в румынском языке, как и в греческом, возглавляются глаголом в форме сослагательного наклонения, согласующимся с субъектом по лицу и числу. Автор рассматриваемой статьи приводит ряд аргументов в пользу того, что в таких клаузах субъекту не приписывается именительный падеж, несмотря на наличие полноценного согласования, и что сами клаузы не имеют полноценной проекции комплементайзера (C^0, т. е. эти клаузы не являются «фазами» в смысле [Chomsky 2001; 2008]). Эти свойства и делают возможным подъем аргумента из их состава при контроле в соответствии с теорией Хорнстайна.

Надо отметить, что, хотя большинство упомянутых аргументов очень интересны и убедительны, недостатком статьи является отсутствие последовательного сравнения конструкций с обязательным контролем и конструкций с необязательным контролем. Многие релевантные данные про конструкции с необязательным контролем в статье отсутствуют. Это означает, что автору не удалось доказать, что допустимость обратного контроля (свойства, на основании которого автор изначально выбирает теорию контроля как передвижения) возникает только тогда, когда выполняется ряд других формальных свойств (невозможность присваивания именительного падежа в зависимой клаузе, отсутствие полноценной вершины C^0), как предсказывается теорией Хорнстайна.

Вторая статья этой части сборника посвящена анализу конструкций с «частичным контролем» в романских языках и озаглавлена «Согласование и плавающие составляющие в конструкциях с частичным и инверсным частичным контролем» (Agreement and flotation in partial and inverse partial control configurations). Конструкциями с «частичным контролем» называют конструкции, в которых контролирующая именная группа интерпретируется как элемент множества, которое обозначает контролируемая именная группа (невыраженный субъект зависимой клаузы). Ср. следующий пример из русского языка:

(20) Вася$_i$ *согласился* [$\varnothing_{i+j}$ *встретиться в два* часа].

В этом примере именная группа *Вася* является контролером, но при этом она лишь частично определяет референцию невыраженного субъекта инфинитивной клаузы, который интерпретируется как обозначающий группу людей, включающую Васю. Такая интерпретация является обязательной, если в зависимой клаузе стоит предикат, требующий семантически множественного субъекта (такой как «встречаться» или «собраться»), а контролирующая именная группа обозначает единичного индивида.

Силен Родригес, автор рассматриваемой статьи, в первой части своей работы исследует ограничения на согласование причастий с субъектом зависимых клауз в конструкциях с «частичным контролем». Она показывает, что такое согласование в романских языках происходит исключительно по грамматическим признакам именной группы контролера, а не по семантическим признакам. Этот результат является неожиданным, потому что, как показывается автор, в других конструкциях семантические признаки именных групп могут контролировать согласование причастий в романских языках. Автор сравнивает «теорию контроля как согласования» И. Ландау (см. [Landau 1999; 2000]) и «теорию контроля как передвижения» Н. Хорнстайна и приходит к выводу, что только последняя может объяснить приведенные данные. Затем в статье предлагается формальный анализ «частичного контроля» как передвижения именной группы контролера из состава более сложной именной группы, включающей нулевой элемент, который и отвечает за множественную интерпретацию субъекта зависимой клаузы при частичном контроле. И наконец, в последней части статьи рассматриваются конструкции в испанском языке (автор называет их «конструкции с инверсным частичным контролем»), которые автор анализирует, наоборот, как вынос нулевой именной группы контролера из состава более сложной именной группы. При этом такие конструкции получают интерпретацию, обратную стандартному «частичному контролю»: оставшаяся в зависимой клаузе ненулевая именная группа интерпретируется как подмножество группы, которую обозначает нулевой контролер.

Следующая статья сборника озаглавлена «Нулевые субъекты в бразильском португальском и финском языках: они не возникают вследствие передвижения» (Null subjects in Brazilian Portuguese and Finnish: they are not derived by movement), ее автором является Марчелло Модесто. В этой статье рассматривается интересный феномен, отмеченный в бразильском диалекте португальского языка и в разговорном финском: в этих языках нулевые местоимения допускаются в позиции субъекта зависимой клаузы при условии кореферентности с именной группой в составе вершинной клаузы (чаще всего тоже субъектной). При других условиях нулевые местоимения не допускаются. Автор статьи анализирует предложенный ранее подход к этому феномену, согласно которому фонетически пустая именная группа в таких конструкциях возникает в результате передвижения субъекта зависимой клаузы в позицию субъекта вершинной клаузы – это нулевая копия поднятой именной группы. Таким образом, в рамках этого анализа данный феномен анализируется так же, как контроль в теории Хорнстайна – как подъем из зависимой клаузы в вершинную с приписыванием двух семантических ролей поднятой именной группе. Модесто в своей статье приводит ряд убедительных аргументов против подобного подхода и предлагает свой собственный анализ рассматриваемого явления, который не вовлекает синтаксическое передвижение.

Последняя часть книги озаглавлена «Дополнения и альтернативы к теории контроля как передвижения» и включает четыре статьи.

Первая из них написана Седриком Бёксом и Норбертом Хорнстайном, исследователями, наиболее активно отстаивающими теорию контроля как передвижения. Эта довольно короткая статья озаглавлена «О (не)обязательном контроле» (On (non)obligatory control) и посвящена рассмотрению одного узкого вопроса в рамках теории контроля как передвижения: как объяснить невозможность необязательного контроля в ряде случаев, в которых теория предсказывает допустимость как обязательного, так и необязательного контроля. Авторы предлагают оригинальный выход из этого затруднения: необязательно менять грамматическую теорию контроля, можно предположить, что недопустимость соответствующих приме-

ров объясняется ограничениями, накладываемыми на алгоритм синтаксического разбора, имеющийся у человека. Таким образом, авторы пытаются показать, что проблемные примеры недопустимы из-за того, что механизм синтаксического разбора, имеющийся у человека, не сможет их проанализировать. При этом важно отметить, что в данном случае речь идет не о недостатке ресурсов (таких, как оперативная память) для разбора сложных конструкций, а о принципиальной невозможности разбора некоторых довольно простых конструкций вследствие внутренних ограничений механизма разбора, которые постулируют авторы.

Предложенный авторами данной статьи анализ, несомненно, представляет интерес, однако следует отметить, что он вовлекает целый новый механизм объяснения недопустимости синтаксических конструкций естественного языка, отличный от ограничений грамматики, – внутренние ограничения механизма синтаксического разбора, про которые мало что известно. Авторы утверждают, что если эти ограничения таковы, что они принципиально препятствуют разбору некоторой конструкции, то эта конструкция оценивается носителями как недопустимая. Принятие такого подхода может иметь огромные последствия для всей лингвистической теории, поэтому оно, несомненно, требует гораздо более обширного и детального обоснования, чем то, которое авторы предлагают в рассматриваемой статье.

Вторая статья этой части сборника написана Майклом Бэрри и озаглавлена «Контроль и WH-инфинитивы» (Control and WH-infinitivals). В этой статье автор анализирует феномен контроля в конструкциях, где инфинитивная клауза вводится вопросительным (wh-) словом. Ср. следующие примеры:

(21) Alexis told Janice where to meet before the play.
Алексис сказала Джэнис, где им надо встретиться перед пьесой.
(22) Alex told Jack where to get good cheese.
Алекс сказал Джэку, где можно достать хороший сыр.

Автор показывает, что такие конструкции бывают двух типов: с обязательным контролем (пример 21) и с необязательным («генерическим») контролем (пример 22). Как показано в статье, эти типы конструкций различаются не только семантическими, но и синтаксическими свойствами, в частности, допустимостью выноса из инфинитивной клаузы вопросительных слов и допустимостью определенного типа эллипсиса. По мнению автора, все эти свойства хорошо объясняются в рамках теории контроля как передвижения.

Следующая статья сборника, написанная Йоханом Роориком, озаглавлена «Контроль через селекцию» (Control via selection). В ней автор выдвигает ряд аргументов против теории контроля как передвижения, основанных на существовании закономерностей в таких явлениях, как расщепленный контроль и сдвиг контроля. Так, предикаты «просить», «обещать», «предлагать» во многих языках допускают расщепленный контроль и сдвиг контроля, а предикаты «заставить», «позволить» не допускают. При этом автор основывается на данных английского, французского, немецкого и голландского языков. Как показывает Роорик, допустимость этих явлений зависит от определенных семантических свойств вершинных предикатов. Автор делает попытку формализовать описание этих свойств, представляя семантику вершинных предикатов в виде сложной событийной структуры, состоящей из ряда взаимосвязанных подсобытий. Далее, событие, выражаемое зависимой инфинитивной клаузой, должно по правилу «селекции» идентифицироваться с одним из подсобытий в лексической структуре вершинного предиката. Свойства этого подсобытия, различные у разных вершинных предикатов, и определяют допустимость при данном предикате сдвига контроля и расщепленного контроля.

Подход к объяснению ограничений на контроль через лексико-семантические свойства вершинных предикатов представляется очень плодотворным, однако способ формализации этих свойств, предложенный в рассматриваемой статье, вызываст ряд вопросов. Автор исследует семантику таких глаголов, как «обещать», «просить» и «предлагать», на примерах с именными и предложными дополнениями:

(23) Kim promised Sue an apple.
Ким обещала Сью яблоко.
(24) Kim asked Sue for an apple.
Ким попросила у Сью яблоко.
(25) Kim offered Sue an apple.
Ким предложила Сью яблоко.

На основе таких примеров Роорик предлагает считать, что в семантику этих предикатов входит указание на подсобытие, расположенное в неопределенном будущем, в ходе которого пациенс вершинного предиката (в данном случае, «яблоко») переходит от агенса к адресату (для предикатов «обещать» и «предлагать»), или наоборот – от адресата к агенсу (для предиката «просить»). Хотя такое описание приемлемо для конструкций с именными и предложными дополнениями (т. е. с дополнениями, обозначающими «перемести-

мые» предметы), не совсем ясно, как такой анализ семантики вершинных предикатов может быть распространен на случаи, когда в качестве дополнения выступает инфинитивная клауза («Ким обещала / попросила / предложила Сью сходить в магазин»). Непонятно, что именно должно перемещаться в данном случае, так как аргументом с ролью пациенса (или «темы») здесь является зависимая инфинитивная клауза, сама по себе обозначающая событие.

В работах [Минор 2004; Minor 2004] нами был предложен анализ ограничений на выбор контролера, на сдвиг контроля и на расщепленный контроль, очень близкий описанному анализу Роорика, который, однако, не предполагает, что лексическая семантика рассматриваемых предикатов всегда содержит указание на событие передачи какого-то объекта от одного участника ситуации другому. Мы предположили, что в случае, когда вершинные предикаты принимают в качестве дополнения инфинитивную клаузу, релевантным для ограничений на контроль семантическим свойством являются семантические отношения между различными аргументами, наличие которых определяется лексической семантикой вершинных предикатов. Эти отношения устанавливаются между одним из именных актантов и (потенциальным) событием, которое описывает зависимая клауза (см. также [Dowty 1985]), и бывают двух видов: отношение каузации и отношение бенефактивности. Так, предикат «просить» предполагает наличие отношения бенефактивности между агенсом («просящим») и событием, выраженным инфинитивной клаузой, и наличие отношения каузации между адресатом («тем, кого просят») и этим событием. Таким образом, говоря нестрого, предикат «просить» предполагает, что событие, выраженное инфинитивной клаузой, должно быть реализовано адресатом и его реализация благоприятна для агенса (по словам агенса). Глагол «обещать», напротив, предполагает наличие отношения каузации между агенсом и событием, выраженным зависимой клаузой, и наличие отношения бенефактивности между адресатом и этим событием. Такие ограничения в рамках формальной композициональной семантики можно формализовать в виде постулатов значения (см. [Dowty 1985; Chierchia 1984], а также [Минор 2007], где приводится формальная запись постулата значения о наличии отношения каузации между аргументами вершинного предиката).

Обобщение относительно допустимости расщепленного контроля и сдвига контроля сводится к тому, что в качестве контролера (или одного из контролеров в случае расщепленного контроля) может выступать только аргумент, для которого в лексической семантике вершинного предиката задано одно из двух описанных отношений. Именно поэтому предикаты «просить» и «обещать», которые предполагают наличие одного из семантических отношений для каждого из своих именных аргументов, во многих языках допускают сдвиг контроля и расщепленный контроль. С другой стороны, такие предикаты как «приказать» и «посоветовать» никогда не допускают этих явлений. В рамках данного анализа это объясняется тем, что предикат «приказать», устанавливая отношение каузации между адресатом и событием, выраженным зависимой клаузой, не устанавливает никакого отношения для своего агенса. Предикат же «посоветовать» предполагает наличие обоих отношений (и каузации, и бенефактивности) между событием, выраженным зависимой клаузой, и адресатом. Таким образом, при этих вершинных предикатах адресат является единственным аргументом, для которого зафиксировано одно из указанных отношений, и, следовательно, является единственным претендентом на роль контролера невыраженного субъекта инфинитивной клаузы.

Конечно, описанный анализ сталкивается с проблемой, на которую мы указали в связи с анализом, предложенным в статье Йохана Роорика, правда, в перевернутом виде: как предложенную семантику вершинных предикатов распространить на случаи, когда эти предикаты принимают в качестве дополнения не инфинитивную клаузу, а именную или предложную группу (см. примеры выше)? Однако в данном случае ответ, как нам представляется, предложить легче. В семантике конструкций типа 23–25 действительно, как отмечает Роорик, присутствует указание на потенциальное событие передачи пациенса от одного участника ситуации другому. Отметим, во-первых, что это событие вписывается в те семантические отношения, которые, на наш взгляд, задаются между аргументами в семантике вершинного предиката (отношения каузации и бенефактивности). Так, в подобных конструкциях с предикатом «просить» предполагается, что каузатором (и даже агенсом) события передачи должен быть адресат, а бенефициантом этого события – агенс, а в конструкциях с предикатом «обещать» – наоборот. Единственный вопрос в данном случае состоит в следующем: что в таких конструкциях определяет интерпретацию потенциального события именно как события передачи пациенса? Существуют разные варианты ответа на этот вопрос: можно утверждать, что в данном случае мы вообще имеем дело с

другими глагольными лексемами, обладающими (наряду с другой моделью управления) более «специфицированной» лексической семантикой, чем их корреляты, принимающие в качестве дополнения инфинитивную клаузу. Это самый простой (но одновременно и самый неинтересный) ответ, который делает сам поставленный вопрос нерелевантным для анализа конструкций с контролем. С другой стороны, можно настаивать на том, что в данных конструкциях присутствуют те же лексемы, что и в конструкциях с контролем, и постулировать в таких случаях фонетически невыраженный лексический материал (нулевой глагол), несущий семантику передачи объекта. И наконец, можно пытаться объяснить возникновение семантики «передачи объекта» действием прагматических механизмов, «достраивающих» семантику события, неспецифицированного лексически. Выбор из этих вариантов выходит далеко за рамки настоящей рецензии.

Так или иначе, в этом направлении необходимы дальнейшие исследования, охватывающие большее количество различных семантических классов вершинных предикатов в большем количестве различных языков. Однако, как уже было сказано, само это направление представляется нам чрезвычайно перспективным.

Заключительная статья рассматриваемого сборника, написанная Иданом Ландау и озаглавленная «Свойства контроля, не объяснимые через передвижение» (Movement-resistant aspects of control), является продолжением давно длящейся дискуссии вокруг теории контроля как передвижения. Эта статья фактически является ответом на статьи [Hornstein 2003] и [Boeckx, Hornstein 2004], которые, в свою очередь, являются ответом на более раннюю критику Ландау. В рассматриваемой статье Ландау перечисляет аргументы против теории контроля как передвижения, которые он приводил в более ранних работах, и по пунктам опровергает ответы на эти аргументы, выдвинутые сторонниками данной теории. В число таких аргументов входит, в частности, наблюдение, что свойства контроля зависят от лексической семантики вершинных предикатов, о котором мы говорили выше в связи с обсуждением статьи Й. Роорика. Такая зависимость совершенно необъяснима с точки зрения теории контроля как передвижения, в рамках которой выбор контролера определяется исключительно условием на локальность передвижения.

Итак, очевидно, что рассматриваемая книга будет интересна в первую очередь лингвистам, работающим в рамках формальных синтаксических теорий (главным образом, в рамках порождающей грамматики). При этом особый интерес она будет представлять для исследователей, занимающихся синтаксисом конструкций с сентенциальными актантами. И хотя некоторые из статей, представленных в данном сборнике, являются, по нашему мнению, довольно слабыми, в общем и целом эта книга, несомненно, заслуживает внимания как в отношении предлагаемых аналитических решений, так и в отношении разнообразия языковых данных.

Более того, хочется отметить, что дискуссия, которая вот уже около 10 лет разворачивается вокруг теории контроля как передвижения и которой так или иначе касается почти каждая статья данного сборника, на наш взгляд, является одним из самых жарких противостояний в истории порождающей грамматики последних нескольких десятилетий. Рассматриваемая книга вносит существенный вклад в развитие этой дискуссии, а присутствие в ней работ как основных сторонников теории контроля как передвижение (Хорнстайна и Бёкса), так и основного ее критика (Ландау), привлекает к ней особое внимание.

И наконец, некоторые работы, представленные в рассматриваемом сборнике (в первую очередь, статья Кристофера Хирша и Кена Векслера, а также статья Йохана Роорика), могут быть интересны более широкому кругу исследователей, так как их тематика и результаты выходят за теоретические рамки порождающей грамматики (в частности, статья Хирша и Векслера может быть полезна всем, кто интересуется усвоением синтаксиса детьми, а статья Роорика – всем, кого интересует взаимодействие лексической семантики и синтаксиса).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Минор 2004 – *С.А. Минор*. Семантические ограничения на выбор контролера (на материале русского и немецкого языков). Рукопись. М., 2004.

Минор 2007 – *С.А. Минор*. Объектный контроль и подъем аргумента в русском языке // Ф.И. Дудчук, А.В. Подобряев, Н.В. Ивлиева (ред.). Структуры и интерпретации. М., 2007.

Bobaljik, Landau 2009 – *J. Bobaljik, I. Landau.* Icelandic control is not a-movement: The case from case // Linguistic inquiry. 40. 2009.

Boeckx, Hornstein 2003 – *C. Boeckx, N. Hornstein.* Reply to 'Control is not movement' // Linguistic inquiry. 34. 2003.

Boeckx, Hornstein 2004 – *C. Boeckx, N. Hornstein.* Movement under control // Linguistic inquiry. 35. 2004.

Boeckx, Hornstein 2006a – *C. Boeckx, N. Hornstein.* Control in Icelandic and theories of control // Linguistic inquiry. 37. 2006.

Boeckx, Hornstein 2006б – *C. Boeckx, N. Hornstein.* Virtues of control as movement // Syntax. 9. 2006.

Chierchia 1984 – *G. Chierchia.* Topics in the syntax and semantics of infinitives and gerunds. PhD dissertation. Amherst (Mass.), 1984.

Chomsky 1981 – *N. Chomsky.* Lectures on government and binding. Dordrecht, 1981.

Chomsky 1995 – *N. Chomsky.* The minimalist program. Cambridge (Mass.), 1995.

Chomsky 2001 – *N. Chomsky.* Derivation by phase // M. Kenstowicz (ed.). Ken Hale: A life in language. Cambridge (Mass.), 2001.

Chomsky 2008 – *N. Chomsky.* On phases // R. Freidin, C. Otero, M.-L. Zubzarreta (eds.). Essays in honor of Jean-Roger Vergnaud. Cambridge (Mass.), 2008.

Chomsky, Lasnik 1993 – *N. Chomsky, H. Lasnik.* The theory of principles and parameters // The minimalist parameter. Cambridge (Mass.), 1993.

Culicover, Jackendoff 2001 – *P.W. Culicover, R. Jackendoff.* Control is not movement // Linguistic inquiry. 32. 2001.

Culicover, Jackendoff 2006 – *P.W. Culicover, R. Jackendoff.* Turn over control to the semantics! // Syntax. 9. 2006.

Dowty 1985 – *D. Dowty.* On recent analyses of the semantics of control // Linguistics and philosophy. 8. 1985.

Fujii 2005 – *T. Fujii.* Cycle, linearization of chains, and multiple case checking // S. Blaho, L. Vicente, E. Schoorlemmer (eds.). Proceedings of Console XIII. 2005.

Fujii 2007 – *T. Fujii.* Cyclic chain reduction // N. Corver, J. Nunes (eds.). The copy theory of movement. Amsterdam, 2007.

Hornstein 1999 – *N. Hornstein.* Movement and control // Linguistic inquiry. 30. 1999.

Hornstein 2001 – *N. Hornstein.* Move! A minimalist theory of construal. Oxford, 2001.

Hornstein 2003 – *N. Hornstein.* On control // R. Hendrick (ed.). Minimalist syntax. Oxford, 2003.

Jackendoff, Culicover 2003 – *R. Jackendoff, P.W. Culicover.* The semantic basis of control in English // Language. 79. 2003.

Kuno 1972 – *S. Kuno.* On subject-raising in Japanese // Papers in Japanese linguistics. 1(1). 1972.

Kuno 1976 – *S. Kuno.* Subject raising // M. Shibatani (ed.). Syntax and semantics 5: Japanese generative grammar. New York, 1976.

Landau 1999 – *I. Landau.* Elements of control. MIT dissertation. 1999.

Landau 2000 – *I. Landau.* Elements of control: Structure and meaning in infinitival constructions. Dordrecht, 2000.

Landau 2003 – *I. Landau.* Movement out of control // Linguistic inquiry. 34. 2003.

Manzini, Roussou 2000 – *R. Manzini, A. Roussou.* A minimalist theory of a-movement and control // Lingua. 110. 2000.

Martin 1996 – *R.A. Martin.* A minimalist theory of PRO and control. University of Connecticut dissertation. 1996.

Martin 2001 – *R.A. Martin.* Null case and the distribution of PRO // Linguistic inquiry. 32. 2001.

Minor 2004 – *S.A. Minor.* Lexical semantics and choice of controller // Первая российская конференция по когнитивной науке. Материалы. Казань, 2004.

O'Neil 1997 – *J. O'Neil.* Means of control: Deriving the properties of PRO in the minimalist program. Harvard University dissertation. 1997.

Polinsky, Potsdam 2002 – *M. Polinsky, E. Potsdam.* Backward control // Linguistic inquiry. 33. 2002.

Polinsky, Potsdam. 2002 – *M. Polinsky, E. Potsdam.* Backward control: Evidence from Malagasy // Cornell working papers in linguistics. 19. 2003.

Postal 1974 – *P. Postal.* On raising. Cambridge (Mass.), 1974.

Rizzi 1986 – *L. Rizzi.* On chain formation // H. Borer (ed.). Syntax and semantics 19: The grammar of pronominal clitics. New York, 1986.

Rosenbaum 1967 – *P.S. Rosenbaum.* The grammar of English predicate complement constructions. Cambridge (Mass.), 1967.

Ruwet 1972 – *N. Ruwet.* Théorie syntaxique et sentaxe de français. Paris, 1972.

Tanaka 2002 – *H. Tanaka.* Raising to object out of CP // Linguistic inquiry. 33. 2002.

Ura 1996 – *H. Ura.* Multiple feature-checking: A theory of grammatical function splitting. MIT Doctoral dissertation. 1996.

Zaenen et al. 1985 – *A. Zaenen, J. Maling, H. Thráinsson.* Case and grammatical functions: The Icelandic passive // Natural language and linguistic theory. 3. 1985.

С.А. Минор

***B. Wiemer, V.A. Plungian* (Hrsg.). Lexikalische Evidenzialitäts-Marker in slavischen Sprachen** (Wiener slawistischer Almanach, Sonderband 72). München; Wien, 2008. 400 S.

Как известно, в славянских языках грамматической эвиденциальности нет. Исключение составляют болгарский и реже упоминаемый в этой связи македонский языки – правда, исключение, которое благодаря классической статье Р. О. Якобсона [Jakobson 1957] и многочисленным другим работам прославило свою языковую группу. Прочие славянские языки в типологии эвиденциальности обычно не упоминаются.

Однако ссылка на источник информации может выражаться не только грамматическими, но и лексическими средствами (а также «полуграмматическими» – такими, как частицы), и с этой точки зрения славянские языки оказываются благодатным полем для изучения. Здесь есть, правда, терминологическая проблема: следует ли ограничивать само понятие эвиденциальности только грамматикой или можно говорить о лексических маркерах эвиденциальности тоже? Первой точки зрения категорически придерживается А.Ю. Айхенвальд (см., в частности [Aikhenvald 2007]), с ней полемизирует во вступительной статье один из редакторов рецензируемого сборника (см. ниже). Как бы то ни было, изучение лексических средств указания на источник информации способно принести очень интересные результаты, что сборник и демонстрирует в полной мере.

Хотя книга называется «Лексические показатели эвиденциальности в славянских языках», абсолютное большинство статей посвящены не только эвиденциальным, но и эпистемическим значениям и их взаимодействию между собой, а некоторые – даже чисто эпистемическим маркерам, и в этом отношении очень напоминает другой недавно вышедший сборник – [Guentchéva, Landaburu (éds.) 2007].

Книга включает в себя 13 статей на немецком, русском, английском, польском и чешском языках, теоретическое вступление и немецкоязычный обзор работ, включенных в сборник. Последний будет полезен тем, кто не читает по-польски или по-чешски; впрочем, каждая статья снабжена также резюме на русском, немецком или английском языке.

Как было сказано, сборник открывается вступлением – статьей Б. Вимера «Лексическое выражение эвиденциальных значений: К построению теории и эмпирическому исследованию славянских языков». В ней лаконично, но вполне содержательно рассматриваются две теоретические проблемы. Во-первых, как следует и следует ли разграничивать эвиденциальные и эпистемические значения: считать ли их независимыми или эвиденциальность является подклассом эпистемической модальности. Автор вкратце описывает историю вопроса и излагает разные ответы на него, не принимая, насколько можно понять, ни одну из сторон. Вторая проблема, уже упомянутая нами выше, – это можно ли говорить о лексической эвиденциальности или эвиденциальность может быть только грамматической категорией. Здесь Б. Вимер, продолжая линию своих предыдущих работ, более категоричен и отстаивает возможность лексических («непарадигматических») маркеров эвиденциальности.

Во-второй части статьи дается обзор исследований по лексическим маркерам эвиденциальности в славянских языках (и вкратце в языках вообще), работ по дискурсивным словам и эпистемическим маркерам в той степени, в какой они затрагивают проблемы эвиденциальности, по происхождению этих маркеров и т.д.

За вступлением следует обзор статей сборника, написанный также Б. Вимером. Далее статьи упорядочены по алфавиту фамилий авторов, однако мы здесь объединим их по близости тематики, тем более, что во многих из них рассматриваются одни и те же или близкие явления.

Общетеоретическое значение имеет статья В.С. Храковского «Эвиденциальность и эпистемическая модальность», в которой автор сопоставляет болгарский язык (имеющий грамматическую категорию эвиденциальности) и русский (не имеющий таковой) с точки зрения того, как выражается в них указание на источник информации. В тех случаях, когда в болгарском языке (обязательно) используется соответствующая глагольная форма, русский (факультативно) использует те или иные лексические средства (*видно*, *говорят* и т.д.). На болгарском материале также показывается различие категорий эвиденциальности и эпистемической модальности – таким образом, В.С. Храковский дает вполне определенный ответ на вопрос, поставленный во вступительной статье, о том, следует ли объединять или разделять эти две семантических области (ср. ниже о противоположном мнении М. Жабовской).

Целый ряд статей посвящен лексемам типа русских *очевидно*, *по-видимому*, *похоже*, *говорят* и т.д., их польским и одному чешскому аналогу.

Так, в статье М. Гроховского рассматриваются польские частицы *widać 1, 2*, *widocznie 1, 2* и *najwidoczniej*. В отношении эвиденциальности интересны синонимичные *widać 2*, *widocznie 1* и *najwidoczniej*, к которым в русском языке,

по-видимому, ближе всего *очевидно* и *по-видимому*; это показатели инферентивности, то есть умозаключения говорящего на основании наблюдаемых фактов (ср. *Zdymisjonowano go z dnia na dzień, widocznie / widać / najwidocznie oskarżenia wobec niego byli poważne* 'Его отправили в отставку за один день; видимо, обвинения против него были серьезные'). Отметим, что, как и их русские аналоги, рассматриваемые польские лексемы оторвались по значению от глагола 'видеть', от которого они произошли, и могут употребляться не только тогда, когда основания для умозаключения в прямом смысле видны (ср. приведенный пример).

Работа Б. Вимера посвящена сдвигу значения от инферентивного к цитативному значению на примере русских частиц *кажется*, *(как) будто (бы)*, *вроде*, *похоже*, *видимо*, *по-видимому*, *видно*, *очевидно* и польских *zdaje się*, *wydaje się*, *widać*, *widocznie*. Все они, по мнению автора, в современном русском и польском языках имеют инферентивное значение[1] и на его основе приобретают вторичное цитативное. Основой для этого перехода предлагается считать наличие в обоих случаях лишь косвенных данных о ситуации S, и конкретная природа этих косвенных данных определяется слушающим по контексту: «если в ходе такого анализа исключаются данные, косвенно связанные с S, за которыми говорящий мог проследить непосредственно, кооперативному адресату остается только заключить, что говорящий опирается на высказывания чужих лиц». Собственно, косвенные, а не прямые данные об описываемой ситуации – это и есть то, что отличает «косвенную эвиденциальность» от «прямой» и позволяет, в частности, многим языкам объединять инферентив и цитатив в одной граммеме (широко распространенный тип A1 по [Aikhenvald 2004: 26–29]). Интересно, что инферентивное значение развивается в цитативное, но, насколько известно, не наоборот (см. об этом в конце нашей рецензии).

Не согласимся с автором лишь в интерпретации некоторых примеров как инферентивных. С нашей точки зрения, они выражают лишь неполную уверенность говорящего, но не указывают ни на какие косвенные признаки ситуации или на умозаключение о ней. Таков, в частности, пример (7) *Леон провел ладонью по холодной трубе распределителя – не подтекает ли. Кажется, сухо*, в котором очевидно, что персонаж воспринимает сухость трубы непосредственно (ладонью; то же пишет об этом примере и Е.С. Яковлева [1994: 221], из работы которой он позаимствован). Нет оснований видеть инферентивное значение и в некоторых других примерах, в частности, (10) *Но это безобразие не самое страшное, когда я уезжал⟨а⟩, оно вроде уже утряслось* – инферентивное прочтение здесь в принципе возможно, но из приведенного предложения никак не следует, да и из более широкого контекста, по меньшей мере, не очевидно[2].

Статья М. Жабовской также посвящена польским эвиденциальным частицам – *rzekomo*, *jakoby*, *widać*, *widocznie* и другим, – однако здесь они анализируются по-другому. В работе рассматриваются примеры типа польск. **Wiem, że Jacek wyjechał do Krakowa, bo – zdaniem Adama – tak jest* '*Я знаю, что Яцек уехал в Краков, потому что, по мнению Адама, это так'. Их невозможность показывает, что эпистемический компонент – сомнения говорящего в истинности ситуации или даже прямого утверждения ее ложности – является обязательной частью семантики этих частиц и даже, по мнению автора, рематической ее частью (при этом в теме находится само сообщение о ситуации). На этом основании делается вывод, что эти лексемы следует считать подклассом эпистемической лексики («wyrażenia ewidencjalne należy opisywać jako podklasę wyrażeń epistemicznych»[3]), а не разделять, как это обычно делается, эвиденциальность и эпистемическую модальность.

Можно спорить, следует ли так жестко разделять на эвиденциальные и эпистемические лексемы, в семантике которых есть и тот, и другой компонент; возможно, это и имеет смысл, например, на основании того, какой компонент находится в реме. Во всяком случае, здесь нет противоречия с позицией других исследователей и, в частности, с работой [Wiemer 2006], с которой полемизирует М. Жабовска: Б. Вимер в указанной статье настаивает на разделении эвиденциальности и эпистемической модальности как значений, вполне допуская их совмещение в конкретных лексемах (впрочем, некоторые лексемы, в частности польск. *zdaniem* 'по мнению', он, в отличие от М. Жабовской, действительно считает чисто эвиденциальными). На то, что чисто эвиденциальные выражения, не содержащие эпистемического

[1] Это не означает, разумеется, что инферентивное значение у всех из них – единственное или даже первичное по отношению к другим употреблениям.

[2] А кроме того, это цитата не из «Письма юноши другу», как указывается при примере, а из «Письма девушки подруге» – что, конечно, никак не влияет на ее инферентивную или эпистемическую интерпретацию.

[3] Или, в формулировке английского резюме: «lexical markers of evidentiality constitute a subdomain of epistemic expressions».

оттенка, в польском языке существуют, указывается и в данной статье: это *X powiedział, że* 'X сказал, что', *w telewizji podali, że* 'по телевизору сообщили, что' и др. Если бы любая эвиденциальность с необходимостью включала в себя эпистемический компонент, такие выражения не могли бы существовать.

В работе Я. Хофманновой исследуются употребления чешской частицы *prý* (и ее разговорного аналога *prej* и диалектного *pré*). Частица, восходящая к 3-му лицу единственного числа глагола *praviti* 'говорить', употребляется как маркер цитатива, причем при ссылке как на чужие слова без указания авторства, так и на слова конкретного человека (reported vs. quotative по терминологии [Aikhenvald 2004: 177–178]). В статье подробно иллюстрируются разные типы ее употребления. Оказывается, что если в устной речи эта частица используется в основном как цитативный маркер, в письменной для нее очень характерны эпистемические употребления.

В некоторой степени исключением на фоне других работ выглядит статья В.А. Плунгяна, посвященная семантике русских частиц *мол*, *де* и *дескать*: у них, как кажется, не обнаруживается эпистемических значений, по крайней мере, в классическом их виде. Эти частицы традиционно считаются показателями цитативности, возможно, с некоторыми дополнительными компонентами значения. В работе показывается, что для современного русского языка это мнение не вполне верно. Рассматриваемые частицы анализируются как показатели не цитирования самого по себе, но различных способов цитирования: *мол* – нейтрального пересказа (при этом именно пересказа, а не точного цитирования), *дескать* – интерпретации и *де* – «(иронического) комментирования».

Попутно в статье делается интересное наблюдение о том, что эти частицы могут передавать не только чужую речь в узком смысле, но и жесты, взгляды, любое коммуникативное поведение. Впрочем, как раз в этом не стоит, на наш взгляд, видеть отличие рассматриваемых показателей от обычных маркеров цитатива: те также могут употребляться и при передаче той информации, которая была выражена невербально. Простейший пример – утвердительный кивок или отрицательное покачивание головой; вряд ли (хотя, разумеется, это тоже нужно проверить) в языке с грамматическим цитативом полученная таким образом информация не будет при пересказе оформлена цитативным показателем.

Большинство примеров в этой статье, как и в других статьях сборника, взято из корпуса (здесь – из Национального корпуса русского языка). Использование корпусов очень помогает в исследовании того, что есть в языке. К сожалению, они не снимают проблему того, чего в языке нет: неприемлемость сконструированных примеров «со звездочкой» остается предметом интуиции автора и не всегда очевидна для читателя.

В двух статьях рассматривается взаимодействие грамматических эвиденциальных форм с лексическими показателями эвиденциальности (М. Макарцев) и эпистемической модальности (П. Кехайов).

В работе М. Макарцева «К вопросу о связи лексических и грамматических показателей в болгарском языке» исследуется вопрос об употреблении эвиденциальных форм при глаголе *(раз)казвам/(раз)кажа* 'говорить' / 'сказать', при цитативной частице *кай* и при частице *май (че)* 'может быть, наверное и т. п.' (точный перевод ее дать сложно). Статья предварена обширным вступлением о структуре эвиденциальных и не-эвиденциальных форм болгарского глагола. Употребление тех или иных форм в указанных контекстах оказывается совершенно неоднозначно и сложно предсказуемо; на их выбор, по мнению автора, влияет а) факт засвидетельствованности самим говорящим пересказываемого факта и б) оценка его достоверности (что, безусловно, говорит о близости эвиденциальности и эпистемической модальности, по крайней мере, в болгарском языке), а также временной план повествования. При этом оказывается возможным, в частности, сочетание «видел, но не верю» (не вполне ясно, к сожалению, что оно может значить). В статье рассматриваются также интересные случаи «двойного пересказа» типа «X сказал, что Y сказал, что P», которые также демонстрируют не всегда ожидаемое употребление эвиденциальных и не-эвиденциальных форм.

В обширной статье П. Кехайова на примере болгарского и эстонского языков рассматриваются возможные способы взаимодействия (грамматического) показателя эвиденциальности с (лексическим) маркером эпистемической модальности. Воспользуемся примером автора: болгарская фраза *Стефан май бил от Бургас* (где *май* значит приблизительно 'может быть', а *бил* – эвиденциальная форма от глагола 'быть'[4]) может, по мнению автора статьи, иметь четыре интерпретации: а) 'Говорящий слышал, что Стефан, вероятно, из Бургаса'; б) 'Говорящий полагает / ему помнится, что он слышал, что Стефан из Бургаса'; в) 'Говоря-

[4] Мы не вдаемся здесь в тонкости болгарских эвиденциальных форм, о которых написана обширная литература, – обзор их см., в частности, в упомянутой выше статье М. Макарцева.

щий слышал, что Стефан из Бургаса, и полагает, что он (вероятно) из Бургаса'; г) 'Стефан, кажется (по мнению говорящего), из Бургаса (и так говорят)'.

Первые две интерпретации различаются тем, входит ли эпистемический маркер в сферу действия эвиденциального или наоборот; П. Кехайов объединяет эти две интерпретации под термином «scopal» (от *scope* 'сфера действия'). Третью интерпретацию автор называет «аналитической» (analytic): ни один маркер не входит в сферу действия другого, и они «независимо модифицируют пропозицию». Наконец, четвертая называется «холистической», или «согласованной» (holistic, или concord), и именно ей в основном посвящена статья. В статье показывается, что, по крайней мере, в эстонском и болгарском языках – а, по-видимому, и в языках вообще – холистической интерпретации способствуют лексемы средней (по классификации автора) степени уверенности, т.е. выражения типа *вероятно*, *может быть* и т.п., а также, в случае цитатива, ссылка на неопределенный источник информации вместо определенного[5].

Надо признать, что различие между третьей и четвертой интерпретациями, которые (особенно четвертая) и составляют главный сюжет статьи, остается не вполне ясным. Сам Кехайов говорит, что неоднозначность приведенного болгарского примера происходит из «различных возможностей анализа структуры предложения, т. е. из неоднозначности между свободным сочетанием (free-collocation) и более идиоматическим прочтением (more idiomatic reading) последовательности грамматического и лексического маркеров». Насколько можно понять из статьи (в частности, из анализа эстонских примеров), реально «аналитическая» интерпретация возникает тогда, когда эпистемический маркер выражает высокую или, наоборот, низкую степень уверенности; когда же выражаемая им степень уверенности средняя, более вероятно «холистическое» понимание – по-видимому, за счет того, что он фактически ничего не добавляет к присутствующим по умолчанию эпистемическим коннотациям эвиденциального показателя. Вероятно, этим же объясняется тенденция к идиоматизации рассмотренной выше болгарской конструкции.

Один из возможных источников эвиденциальных показателей исследуется в статье А.Б. Летучего «Сравнительные конструкции, ирреалис и эвиденциальность», в которой автор обращается к русским сравнительным (по крайней мере, по своему основному употреблению) конструкциям с *как будто (бы)*, *будто (бы)*, *словно*, *как бы*, рассматривая и объясняя их употребление в эвиденциальных значениях – цитативном (*Перед смертью он будто бы принял ислам* '...как говорят, принял...') и инференциальном (в терминологии автора – имперцептивном: *Входи. – Ты как будто работал, можешь работать дальше*)[6]. Во второй части статьи подобная полисемия демонстрируется на материале ряда других языков. Объясняется эта полисемия тем, что и сравнительные конструкции, и эвиденциальность принадлежат к области ирреальности[7]. Что есть ирреальность, в статье не определяется, но, насколько можно судить, имеется в виду распространенное понимание ирреальности как общей семантической зоны, объединяющей все глагольные значения, которые не утверждают, что ситуация имела место, т. е. будущее время, различные косвенные наклонения, условные конструкции, контрфактивность, или ирреальность в узком смысле (русское условное наклонение), и т. д. – в сущности, все, кроме прошедшего и настоящего времени.

Нельзя не сказать, что объяснение полисемии только «соседством» внутри большой семантической зоны (вообще говоря, довольно распространенный путь для таких объяснений) опасно тем, что немедленно возникает вопрос: а почему рассматриваемые показатели не используются для выражения других значений из той же зоны? В нашем случае – почему русские сравнительные показатели не используются, к примеру, для вопросов (в статье отмечается, что «вопросительные конструкции, по данным многих языков, могу принадлежать к зоне ирреалиса») или для будущего времени? Вероятно, должны быть какие-то более нетривиаль-

[5] Т.е. «reported», а не «quotative», в терминах [Aikhenvald 2004: 177–178].

[6] Заметим, что в ряду рассматриваемых русских союзов отсутствует, казалось бы, наиболее очевидный кандидат – *якобы*, который прошел полный путь от сравнительного союза до маркера цитатива (с дополнительным компонентом – ложности пересказываемой пропозиции). Вероятно, это объясняется именно тем, что в современном языке *якобы* уже никак нельзя отнести к показателям сравнения – впрочем, еще недавно оно употреблялось шире, чем сегодня (см. [Перфильева 1992; Rakhilina 1996]).

[7] По-видимому, эвиденциальность, по мысли автора, – через принадлежность к эпистемической модальности. Очень характерна следующая цитата (разрядка наша): «[приводимый пример] в естественной ситуации обозначает имперцептив [инференциальность. – *В.Г.*] (и, шире, неуверенность в наличии ситуации)...»

ные общие компоненты двух рассматриваемых значений. Кроме того, сама универсальность категории ирреализа вызывает большие сомнения. В ряде языков категория реализа / ирреализа, без сомнения, существует, однако она объединяет разные наборы граммем (см. [Урманчисва 2004]).

Кажется, что есть другой путь объяснения использования показателей сравнения для выражения инференциальности и ссылки на чужие слова. Инференциальность впрямую основана на сравнении наблюдаемой ситуации с той, которая должна была бы быть, если бы было *P*: *Ночью как будто был дождь* и значит 'все выглядит так, как будто ночью был дождь; следовательно, ночью был дождь'. Переход же от инференциальности к цитативности засвидетельствован независимо (см. выше о работе Б. Вимера в рецензируемом сборнике).

Особый случай цитативности рассматривается в статье А. Богуславского «Об одном случае локутивной эквивалентности». Она посвящена польским «вводным» конструкциям с предикатами мнения или суждения, вводимыми союзом *jak*, типа *Lepszy byłby, jak on sądzi, inny tytul* 'Лучше было бы, как он считает, другое название' или *Jak twierdzi burmistrz, wczoraj odśnieżono 10 ulic* 'Вчера, по словам мэра, от снега было очищено 10 улиц'. В авторской нотации эти конструкции представлены как «jak *E*'(α), *F*(*b*)», где *jak E*'(α) – это суждение, на которое ссылается говорящий (например, *как он считает*), а *F*(*b*) – сама пропозиция (*другое название было бы лучше*). Значение этой конструкции, по мнению автора, состоит в следующем: если суждение *E*'(α) истинно, то истинна и пропозиция *F*(*b*), и наоборот – если истинно *F*(*b*), то истинно и суждение *E*'(α)[8].

Среди всех свойств этой конструкции, часть из которых обсуждается в статье, а часть оставлена автором для дальнейшего исследования, для нас здесь важно ее истинностное значение. С одной стороны, говорящий не утверждает, что *F*(*b*) истинно, и этим она отличается от фраз типа *Jak // Tak jak się spodziewaliśmy, zebranie było odłożone* 'Как мы и ожидали, собрание было отложено' (в польском формальным отличием этого последнего типа от рассматриваемого в статье является возможность замены *jak* на *tak jak*), в которой истинность *F*(*b*) утверждается (а вводная часть лишь сообщает, что предварительное суждение было правильным); с другой стороны, говорящий не дистанцируется от истинности *F*(*b*), как в предложениях типа *Мэр утверждает, что вчера было убрано 10 улиц*. В рассматриваемых конструкциях говорящий не утверждает истинность пропозиции, но лишь допускает ее (А. Богуславский предлагает называть этот тип ассерции «возможным»); поэтому, в частности, невозможно указание на ложность суждения *E*'(α) (**Вчера, как солгал мэр, было убрано 10 улиц* в отличие от *Мэр солгал, что вчера было убрано 10 улиц*).

Легко видеть, что эта конструкция представляет собой своего рода цитатив, но цитатив особого рода, в котором пересказывается не сама пропозиция, а суждение о ее истинности; вероятно, можно называть это значение «эпистемическим цитативом», и его существование подтверждает точку зрения о том, что эвиденциальность и эпистемическая модальность – это отдельные области значений, хотя иногда и взаимодействующие друг с другом. Во многих случаях, разумеется, цитирование самой пропозиции и суждения о ее истинности эквивалентны, как в приводившемся выше примере про уборку улиц, который в языке с грамматическим цитативом был бы, по-видимому, оформлен соответствующим показателем. Но это не всегда так: ср. такие вводные обороты, как *по его мнению*, *как он считает*, *как ты хорошо знаешь* и др. Возможно, следовало бы выделять это значение как отдельную разновидность цитатива, если, конечно, не считать, что эвиденциальность должна обязательно иметь грамматическое выражение.

Наконец, две работы почти не затрагивают эвиденциальной семантики и посвящены чисто эпистемическим маркерам.

В статье М. Данелевичовой рассматриваются принципы описания класса польских слов, которые она называет «эпистемическими наречиями», – а именно *przypuszczalnie* 'предположительно; вероятно', *niewątpliwie* 'несомненно', *oczywiście* 'очевидно' и т.п. Эти слова, внешне сходные с наречиями, отличаются от них рядом важных свойств. В статье перечисляется несколько (а именно, двенадцать) типичных ошибок, возникающих при описании такого рода единиц не только в польском языке. Впрочем, постулируемые в статье методологические принципы полностью применимы к описанию любых лингвистических явлений, далеко не только в польском языке.

Статья Ф. Лемана, посвященная переходу эпистемических маркеров уверенности к значению, напротив, неуверенности, озаглавлена «*Очевидно* не значит *глазам видно*...», но использует существенно более широкий немецкий и русский материал, иллюстрирующий одну и ту же тенденцию: лексемы, изначально выражающие отсутствие сомнений говорящего

[8] Трудно не заметить, что предложение, к которому относится эта сноска, само является примером рассматриваемой А. Богуславским конструкции.

относительно сообщаемых фактов, постепенно начинают выражать, наоборот, наличие таких сомнений. Примеров достаточно много: это *очевидно* / *offentsichtlich* / *offenbar*, *несомненно* / *zweifellos*, *наверное* / *wahrscheinlich*, а также *должен* / *muss*. Этому процессу предлагается убедительное прагматическое объяснение: наличие эпистемических показателей уверенности само по себе снижает степень уверенности высказывания, поскольку указывает на возможность сомнения.

Не согласимся только с автором относительно лексемы *определенно*: возражая В.С. Храковскому [2005: 93 и сл.], Ф. Леман утверждает, что *определенно*, как другие приведенные выше лексемы, выражает неполную уверенность. По нашему мнению, *определенно*, как и пишет Храковский, означает именно отсутствие сомнений у говорящего (и примеры из статьи Лемана это скорее подтверждают, чем опровергают), но вместе с тем не противоречит тенденции, о которой идет речь: просто *определенно* находится в начале того пути, по которому уже далеко ушло *наверное* и чуть менее далеко *несомненно*. Аналогичный пример – *без всякого сомнения*, которое заменило «скатившееся в неуверенность» *без сомнения*, но вскоре тоже, *несомненно*, пойдет по этому же пути[9]. Такого рода циклы – когда на место старых форм, значение которых изменилось, встают новые и постепенно сами меняются в том же направлении – разумеется, хорошо известны и в грамматике, и в лексике.

Через весь сборник проходит тема взаимодействия эвиденциальной и эпистемической семантики, причем взаимодействия как синхронного, так и диахронического. Представляется, что рассмотренный в нем материал позволяет сделать два основных вывода. Первый – что невозможно говорить о лексических показателях эвиденциальности без учета их эпистемических значений. Это ни в коей мере не означает, что эвиденциальность является подклассом эпистемической модальности. С нашей точки зрения, это, безусловно, отдельные семантические поля, что доказывается возможностью ссылки на источник информации без каких-либо эпистемических «обертонов»: это, с одной стороны, грамматические эвиденциальные маркеры в различных языках, а с другой – эксплицитные сообщения типа *По телевизору сообщили, что...* (см. выше в связи со статьей М. Жабовской). Однако факт остается фактом: лексические показатели эвиденциальности, по крайней мере, в славянских языках, редко не несут одновременно эпистемической семантики и, более того, часто дрейфуют от эвиденциальности к эпистемической модальности (см. ниже). Объяснение этому можно видеть именно в лексическом статусе исследуемых показателей и, следовательно, в их необязательности. Возможность опустить указание на источник информации придает особое значение его наличию; при этом и появляется оттенок сомнения (из фразы *Говорят, человек произошел от обезьяны*, скорее всего, следует, что говорящий не уверен в этом факте). Именно этот прагматический оттенок имеет тенденцию закрепляться в семантике, а со временем и вытеснять исходный эвиденциальный компонент.

Второй вывод касается истории эвиденциальных показателей – в том числе пред- и «пост-истории». Мы видели (в статье Б. Вимера), что инферентивное значение развивается в цитативное, но, насколько известно, не наоборот – возможно, по причине того, что последнее значение более узко: чужие слова можно считать подвидом «косвенных данных», и поэтому инферентивное (в широком смысле) высказывание можно в соответствующей ситуации понять как отсылающее к чужим словам; но эксплицитное указание на чужие слова невозможно понять как ссылку на какой-то иной источник информации. Напротив, цитатив, как и другие эвиденциальные маркеры, может приобретать эпистемическое значение (ср. в статье М. Стемпень относительно польского *rzekomo*). Учитывая, что инферентивные показатели часто возникают из «визуальных» (*видимо*, *очевидно* и др. – см. специально статью Ф. Лемана), вырисовывается в целом однонаправленное семантическое развитие: визуальное восприятие → инферентив → цитатив. Трудно не увидеть здесь сходства с общепринятой в языках иерархией выбора эвиденциальных граммем в ситуации, когда имеется одновременно несколько источников информации, по которой можно судить о ситуации – см. [Aikhenvald 2004: 305–309]. Другим источником эвиденциальных маркеров могут становиться конструкции сравнения (см. работу А.Б. Летучего). Далее все эвиденциальные показатели могут выходить за пределы эвиденциального круга значений и приобретать эпистемическую семантику неуверенности (как, например, русск. *видимо*).

[9] Ср. еще полностью аналогичные французские примеры *sans doute* и *sans aucun doute*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Перфильева 1992 – *Н.П. Перфильева.* Модальная частица *якобы* // И.П. Матханова (ред.). Модальность в ее связи с другими категориями. Новосибирск, 1992.

Урманчиева 2004 – *А.Ю. Урманчиева.* Седьмое доказательство реальности ирреали-

са // Ю.А. Ландер, В.А. Плунгян, А.Ю. Урманчиева (ред.). Ирреалис и ирреальность. (Исследования по теории грамматики, 3). М., 2004.

Храковский 2005 – *В.С. Храковский.* Эвиденциальность и эпистемическая модальность // B. Hansen, P. Karlík (eds.). Modality in Slavonic languages. München, 2005.

Яковлева 1994 – *Е.С. Яковлева.* Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М., 1994.

Aikhenvald 2004 – *A.Y. Aikhenvald.* Evidentiality. Oxford, 2004.

Guentchéva, Landaburu (éds.) 2007 – *Z. Guentchéva, J. Landaburu* (éds.). L'énonciation médiatisée II: Le traitement épistémologique de l'information: illustrations amérindiennes et causasiennes. Louvain; Paris, 2007.

Jakobson 1957 – *R. Jakobson.* Shifters, verbal categories and the Russian verb. Harvard, 1957 (перепечатано в: *R. Jakobson.* Selected writings. V. 2. The Hague, 1971). Русский перевод: *Р.О. Якобсон.* Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Б.А. Успенский (ред.). Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.

Rakhilina 1996 – *E.V. Rakhilina. Jakoby* comme procédé de médiatisation en russe // Z. Guenchéva (éd.). L'énonciation médiatisée. Louvain; Paris, 1996.

Wiemer 2006 – *B. Wiemer.* Particles, parentheticals, conjunctions and prepositions as evidentiality markers in contemporary Polish (A first exploratory study) // Studies in Polish linguistics. 2006. № 3.

В.Ю. Гусев

D. Nurse. **Tense and aspect in Bantu.** Oxford: Oxford university press, 2008. xix + 401 p.

Монография канадского африканиста Дерека Нёрса (в настоящее время – почетный профессор Мемориального университета Ньюфаундленда) посвящена описанию категорий времени и вида (а также других тесно связанных с ними категорий – в частности, наклонения, глагольного отрицания и т. п.) в языках банту. Необходимо сразу же отметить, что языки банту представляют собою крайне сложный объект исследования: общее число языков банту, занимающих практически всю территорию африканского континента южнее экватора (за исключением небольшого койсанского анклава на юго-западе), колеблется, по разным подсчетам, от 250 до 600, причем бóльшая цифра, по мнению Д. Нёрса, является более реалистичной. Помимо количественной стороны дела, систематический анализ проблем грамматики (и в частности, граммем времени и вида) применительно к этим языкам крайне затруднено их неравномерной изученностью: для многих языков банту отсутствуют хорошие лингвистические описания, и доступный лингвистический материал фактически ограничен небольшими списками слов.

Проблемы многократно умножаются за счет того, что глагольные системы в языках банту, сохраняя ряд общих черт, в то же время – в отличие, например, от системы именных классов, представляющей собой достаточно стабильный фрагмент грамматики – значительно варьируют от языка к языку. Причем варьирование это наблюдается и в отношении самого набора грамматических значений глагола, и в отношении материальной манифестации этих значений. Тем не менее, несомненное достоинство работы Д. Нёрса состоит в том, что он смог добиться сбалансированного описания, и сделанные в данной работе наблюдения и выводы обобщают материал всего «лингвистического пространства» банту.

Охарактеризуем общую структуру книги.

Книга Д. Нёрса состоит из семи разделов. В **первом разделе** («Введение») автор дает общую характеристику принимаемому в книге подходу к описанию категорий времени и вида, а также знакомит читателя с основными характеристиками глагольных систем банту, релевантными как с синхронной, типологической, так и с диахронической точки зрения. Значительное внимание Д. Нёрс уделяет выборке языков, на которую опирается его исследование. Действительно, вопрос о выборке крайне важен для данной работы. Несмотря на то, что языки банту представляют собою таксон очень низкого уровня в общей генетической классификации нигеро-конголезской макросемьи, их внутренняя классификация крайне непроста в силу того, что они являют собою пример генетической группировки языков, носители которых расселились на очень обширной территории и образовали ряд локальных объединений. При классификации этих языков (в основных чертах опирающейся на предложения М. Гасри) все обширное бантуское пространство было поделено на 16 крупных зон, каждая из которых, в свою очередь, подразделяется на несколько групп, что дает в сумме 84 подгруппы. Д. Нёрс выбрал по одному языку из каждой такой подгруппы, что позволило ему равномерно представить все вариации, характерные для языков банту, и дополнил свою выборку до ста языков, выбрав

прежде всего те языки банту, для которых существуют хорошие грамматические описания. Именно такой подход позволяет утверждать, что выводы, сделанные в данной работе, релевантны для языков банту в целом.

Далее во введении Д. Нёрс характеризует теоретические основания своего исследования. В книге принят подход, который условно можно определить как «общетипологический». Автор декларирует, что бóльшее внимание уделяется не теоретическим построениям, а языковым фактам. Тем не менее, он называет ряд имен, которые повлияли на его интерпретацию бантуского материала. Это, прежде всего, типологи Дж. Байби и Б. Комри, а также лингвисты, сочетающие типологические и африканистические интересы: Т. Гюльдеман, Б. Хайне, Дж. Хьюсон; этот перечень имен дает достаточное представление о теоретическом фоне данной работы. Автор ориентируется на определения категорий времени и вида, составляющие в определенной степени «аксиомы» типологического мейнстрима в отношении этих двух основных глагольных категорий. Надо отметить, что Д. Нёрс не углубляется в решение теоретических вопросов; тем самым, в его книге читатель не найдет нетривиальных выводов о природе этих двух глагольных категорий. Впрочем, это можно считать скорее плюсом, чем минусом книги. Дело в том, что принятая автором задача – представить общую картину развития глагольных систем банту – крайне сложна сама по себе, хотя бы в силу чрезвычайно обширного языкового материала. Эта задача многократно усложняется тем, что в существующих описаниях языков банту категории времени и вида зачастую трактуются весьма противоречиво. Работа Д. Нёрса – одна из первых попыток (а в западной лингвистике – по-видимому, самая первая) последовательного и единообразного описания значительного массива бантуских языковых данных. И с этой точки зрения «умеренно теоретический» подход Д. Нёрса, безусловно, обеспечивает оптимальное решение поставленной задачи.

Далее во введении Д. Нёрс знакомит читателя с основными чертами, определяющими своеобразие бантуских глагольных систем. Это, в частности, следующие черты:

1) языки банту являются «глагольными» языками («Bantu languages are “verby”») – языки банту являются агглютинативными, выражая в составе глагольной словоформы те значения, которые в других языках передаются лексически или синтаксически;

2) для языков банту характерно обилие грамматически выраженных временных противопоставлений, особенно в сфере прошедшего времени;

3) в языках банту грамматикализованы значения итива и венитива, т. е. граммем, указывающих на движение субъекта действия к говорящему или от говорящего (в типологическом плане эти значения относятся к дейктическим показателям глагольной ориентации, см. подробнее [Плунгян 2002; 2003]);

4) языки банту характеризует наличие двух (в ряде случаев – и большего количества) моделей глагольного отрицания;

5) для языков банту характерна грамматикализация фокуса и различение фокусного выделения предиката и фокусного выделения других членов предложения;

6) специфической инновацией банту является суффиксальное маркирование «антериорного аспекта» (или перфекта, в более традиционных терминах);

7) в глагольных системах банту часто получает выражение значение так называемого персистива (‘все еще P’) и т. п.

Необходимо отметить, что при работе с группой родственных языков практически никогда не удается ограничить себя созданием исключительно синхронного описания; сам материал подводит к целому ряду выводов о путях диахронического развития синхронно наблюдаемых систем. В данной книге есть специальный раздел, посвященный возможной реконструкции глагольной системы языков банту. Кроме того, исторические комментарии то и дело возникают по ходу рассмотрения тех или иных вопросов. Такой подход, совмещающий типологическое описание с диахроническим измерением, нельзя не признать органичным и плодотворным в отношении языков банту.

В работе Д. Нёрса последовательно анализируется как материальное выражение видовых и временны́х значений в языках банту, так и набор грамматических значений, образующих эти категории. Прежде чем перейти к краткому изложению основных разделов работы, хотелось бы сказать о том, насколько эта работа является первым опытом такого рода типологических обобщений на материале бантуского глагола. В зарубежной африканистике (включающей исследования как на английском, так и на нидерландском, немецком и французском языках) подобное исследование, как кажется, действительно предпринято впервые. Однако необходимо отметить, что пионерское исследование бантуского глагола, во всех отношениях не менее глубокое и интересное, появилось в отечественной бантуистике за одиннадцать лет до выхода в свет книги Д. Нёрса, еще в 1997 г. Мы имеем в виду книгу Ирины Степановны Аксёновой (1931–2009) «Категории вида, времени и наклонения в языках банту» [Аксёнова 1997], к сожалению, оставшуюся совершенно

неизвестной автору рецензируемого труда, как неизвестны ему и другие работы И.С. Аксёновой, в частности, важные ее очерки [Аксёнова 1990; 2003] и др. Нам кажется оправданным построить эту рецензию, проводя сопоставление работы Д. Нёрса с предшествовавшими ей исследованиями И.С. Аксёновой.

Сопоставляемые работы несколько различаются по объему, но прежде всего – за счет различия стилей двух авторов, а не за счет объема представленной в книге информации: И.С. Аксёнова предпочитает более лаконичный стиль изложения, Д. Нёрс – более пространный, со множеством пояснений, что несомненно облегчает чтение книги неспециалистам, но временами делает ее похожей не столько на исследовательскую монографию, сколько на учебник для студентов.

Более существенное отличие двух работ заключается в объеме исторической информации, включенной в книгу: Д. Нёрс, наряду с синхронным описанием, систематически включает в книгу достаточно большой объем исторической информации, тогда как И.С. Аксёнова почти исключительно ориентируется на синхронное сопоставление глагольных систем банту (впрочем, в работе [Аксёнова 2008] немалое внимание уделяется и процессам грамматикализации). В части же синхронного описания две работы в существенной степени пересекаются, что неудивительно, так как оба автора (а) работают с данными одних и тех же либо близкородственных языков; (б) в целом придерживаются принятой в бантуистике традиции описания глагольной морфологии; (в) реализуют в достаточной степени близкий типологически ориентированный подход к описанию глагольной семантики.

Д. Нёрс в большей степени ориентируется на то, чтобы бантуский материал был представлен в работе равномерно, составив специальную выборку, в которой каждая подгруппа представлена как минимум одним языком. Напротив, И.С. Аксёнова обрабатывала материал всех доступных источников (в ее работе учтен материал около 180 языков банту, хотя не всех равномерно). Впрочем, это различие оказывается не столь существенным с точки зрения результатов синхронного описания: в обоих случаях большая часть существенных для бантуского глагола грамматических оппозиций оказалась учтена. Дальнейшее изложение содержания работы Д. Нёрса мы дополним сопоставлением с соответствующими разделами работы И.С. Аксёновой.

Во **втором разделе** книги Д. Нёрса рассматриваются структурные особенности глагольных форм (как аналитических, так и синтетических) языков банту. Дело в том, что морфологическая структура глагольных словоформ банту является достаточно сложной и разветвленной. В этом же разделе делается попытка ответить на вопрос о том, какие грамматические значения чаще всего кодируются в тех или иных морфологических позициях. Здесь же рассматриваются случаи отклонения от общебантуской морфологической модели глагольной словоформы – а именно, структура глагольной словоформы в северо-западных языках банту, а также в пиджинах и креольских языках, возникших на базе языков банту.

Аналогичный раздел присутствует и в работах И.С. Аксёновой (как 1997 г., так и других). Надо отметить, что Д. Нёрс предлагает более детализованную структурную классификацию аналитических конструкций, но в дальнейшем изложении уделяет основное внимание морфологическому выражению граммем времени и вида. В свою очередь, И.С. Аксёнова ориентируется в большей степени на сами грамматические значения, нежели на структурные характеристики означающих, и в соответствующих разделах ее книги представлены и аналитические, и синтетические конструкции, использующиеся для выражения TAM-значений. Кроме того, как мы уже отмечали, существует и специальная работа [Аксёнова 2008], в которой основным объектом описания служат аналитические глагольные формы языков банту.

Оба автора рассматривают модель финитной глагольной словоформы в языках банту и возможности выражения тех или иных грамматических значений при помощи заполнения определенных морфологических позиций. Для того, чтобы дать читателю некоторое представление о сложности морфологического выражения глагольных значений в языках банту, приведем модель глагольной словоформы по Д. Нёрсу и кратко обсудим возможности морфологического заполнения этих позиций (аналогичные данные приведены и в работе И.С. Аксёновой):

Pre-SM–SM–NEG_2–TA–OM–
root + extension–FV–Post-FV

Д. Нёрс перечисляет следующие показатели для разных позиций:

Pre-SM – отрицание, объектный релятив и показатели, появившиеся в результате поздней грамматикализации: время, вид, условие, фокус;

SM – позиция субъектного показателя;

NEG_2 – позиция, занимаемая (вторичным) показателем отрицания, который, вероятно, изначально был связан с подчиненными предикациями, но затем расширил сферу своего употребления:

TA – позиция, занятая в основном показателями времени и вида (по мнению Д. Нёрса,

в протобанту существовало более четкое функциональное разграничение морфологических позиций: позицию TA занимали показатели абсолютного и относительного времени, в то время как показатели вида занимали позицию FV, о которой см. ниже). В позиции TA могут встречаться также показатели других категорий (условие, модальность и фокус);

OM – позиция объектного показателя;

root+extension – основа, которая может включать в себя, помимо глагольного корня, словообразовательные показатели, передающие, главным образом, значения актантной деривации;

FV – в этой позиции Д. Нёрс странным образом предлагает объединить сразу две морфологические позиции: это финальная позиция, которая содержит показатели аспекта либо наклонения: *-a* (индикатив - суффикс, имеющий по сути дела нулевое значение), *-e* – конъюнктив, *-ile/-i* – перфект / прошедшее время и показатель *-ang*, который может предшествовать этим показателям. Д. Нёрс при этом указывает только на возможность комбинации *-ang-a* с имперфективным значением, хотя возможно употребление этого показателя и в комбинации с другими финальными морфемами, в частности, с морфемами *-i* и *-e* – о чем пишет и И.С. Аксёнова, справедливо разводящая эти две позиции.

Post-FV – эту позицию занимает показатель, употребляющийся прежде всего в формах императива множественного числа.

Кроме того, представляя бантускую глагольную словоформу, Д. Нёрс в явном виде пытается приписать категориальные значения аффиксам в каждой морфологической позиции – что на самом деле далеко не всегда удается проделать с конкретными бантускими глагольными словоформами. Гораздо ближе к действительности оказывается подход И.С. Аксёновой, которая приписывает выражение аспектуально-темпоральных значений полиаффиксу – идиоматическому сочетанию морфем в нескольких позициях (прежде всего – в позициях TA и FV). Отметим, что имплицитно этому же подходу на самом деле часто следует и Д. Нёрс, приводящий показатели прошедшего времени, например, в виде *-a-…-ile*, где первая морфема занимает позицию TA, а вторая – позицию FV.

Несомненно, следует обратить внимание читателя на то, что в работе Д. Нёрса специальное внимание уделяется истории данной структурной модели – он подробно описывает те специфически бантуские структурные инновации, которые привели к появлению модели слоформы в ее современном виде.

Переходя к описанию конкретных категорий, оба исследователя начинают с рассмотрения показателей, которые могут участвовать в маркировании тех или иных глагольных значений. Здесь существенным оказывается то, что исследование Д. Нёрса построено на определенной выборке языков, что позволяет ему делать некоторые любопытные статистические обобщения. Так, Д. Нёрсу удается, к примеру, показать, что к протобанту (или, возможно, к нескольким крупным генетическим группировкам, образовавшимся после распада протобанту) оказываются возводимы показатели прошедшего времени, тогда как показатели будущего времени являются материально столь разнородными и образуют столь пеструю картину, что формирование граммем будущего времени, несомненно, следует в подавляющем большинстве случаев считать независимой позднейшей инновацией.

Третий раздел книги Д. Нёрса посвящен категории времени в языках банту. В этом разделе, в частности, подробно анализируются системы с категорией временной дистанции в прошедшем и в будущем, являющиеся одной из ярких особенностей языков банту. Такие системы анализируются с нескольких точек зрения:

а) рассматриваются временные границы каждого из прошедших и будущих времен;

б) анализируются системы с расширенным количеством степеней временной дистанции (показано, что в таких системах инновацией являются значения непосредственного прошедшего либо непосредственного будущего);

в) рассматриваются редуцированные с точки зрения временной дистанции глагольные системы; показано, что одним из источников возникновения таких систем является ситуация межъязыковых контактов.

Вопрос о категории временной дистанции достаточно подробно рассматривается и И.С. Аксёновой, причем она освещает и процессы разрушения подобных систем, показывая утрату четких темпоральных противопоставлений и замену их выражением субъективного восприятия того, насколько описываемое событие «прагматически» отдалено от настоящего времени. Кроме того, необходимо отметить, что И.С. Аксёнова описывает совершенно не отмеченное Д. Нёрсом явление – формирование различных подсистем выражения временной дистанции, скоррелированных с выражением других грамматических значений. Так, в ряде языков количество степеней временной дистанции различается для перфективных и имперфективных форм либо для форм с различным значением контрастивного фокуса. Вообще, следует отметить, что в описании Д. Нёрса бантуская глагольная форма предстает существенно более семантически аддитивной, чем в описании И.С. Аксёновой. Тем не менее, ближе к действительности нам кажется именно подход И.С. Аксёновой, учитывающей как тесную взаимосвязь различных грамматических значений, так и высокую степень морфологи-

ческой идиоматизации бантуских глагольных словоформ. Имплицитно адекватность такого подхода подтверждается, по сути, практически любым традиционным описанием бантуского глагола (за исключением, возможно, суахилийского, где произошло предельное упрощение глагольной парадигмы), в котором основными объектами грамматического анализа оказываются не отдельные аффиксы, а их комбинации, образующие ряды глагольных форм.

Что же касается описания временных систем в книге Д. Нёрса, то сильной стороной его подхода является уже не раз отмечавшаяся историческая перспектива. В данном случае Д. Нёрс не только регистрирует наличие систем с несколькими признакам временной дистанции, но и показывает эволюцию выражения временных значений в различных языках банту, описывая возникновение как расширенных, так и редуцированных временных систем.

В четвертом разделе книги Д. Нёрса описывается категория аспекта в языках банту. Аналогичный раздел присутствует и в книге И.С. Аксёновой. Категория аспекта и в теоретическом, и в описательном плане является существенно более сложной, чем категория времени; соответственно, более значительными оказываются расхождения между двумя авторами в подходе к аспектуальным значениям. Объем рецензии не позволяет нам провести это интересное сопоставление детально, поэтому ограничимся лишь простым перечислением тех аспектуальных граммем, которые рассматривают Д. Нёрс и И.С. Аксёнова (в таблицы ниже сопоставлены планы соответствующих разделов в книге Д. Нёрса и в книге [Аксёнова 1997]):

Как кажется, уже сам этот перечень достаточно наглядно отражает разницу трактовок.

В пятом разделе книги Д. Нёрс рассматривает другие грамматические значения, релевантные, как он пишет, для бантуской глагольной морфологии. Речь идет о категориях отрицания, фокуса и местоименного объекта. Морфология и семантика глагольного отрицания в языках банту, действительно, представляет значительный интерес. Прежде всего, следует отметить, что в языках банту наблюдается значительная асимметрия между аффирмативными и негативными парадигмами именно с точки зрения видо-временных значений. Так, в большинстве языков банту в аффирмативе и негативе различается и набор видо-временных значений, и способы их морфологического маркирования (см. подробнее [Урманчиева 2003]). Однако подобная асимметрия, к сожалению, не рассматривается в книге Д. Нёрса. Он уделяет внимание другой крайне интересной проблеме (рассматривавшейся ранее такими авторами, как А. Меюссен, Т. Гюльдеман и Ж.-Г. Камба-Музенга): в большинстве языков банту представлено несколько морфологических моделей глагольного отрицания (как правило, две). Д. Нёрс пытается определить, насколько синхронно мотивированным оказывается функциональное и семантическое распределение между этими двумя моделями, а также высказывает ряд предположений о морфологии глагольного отрицания в протобанту.

Категория фокуса имеет морфологическое выражение в глагольной словоформе во многих языках банту. Д. Нёрс рассматривает различные способы маркирования категории фокуса – в том числе и такой, как тональные

Д. Нёрс	И.С. Аксёнова
1. Perfective	Аспектуальные значения, восходящие к прототипическому признаку «инкомплетив»
2. Imperfective	1. Прогрессив
3. Progressive	2. Континуатив
4. Habitual	3. Итератив 4. Кратность 5. Хабитуальность 6. Афористическое настоящее
5. Persistive (‘всё ещё P’)	7. Общефактическое значение 8. Пердуративно-континуативное значение (‘всё ещё P’)
6. Situative (данный ярлык объединяет конструкции реального условия, предикации со значением фоновых ситуаций в зависимых предложениях и т. п. – все эти значения могут передаваться одним аффиксом)	9. Ретардативное значение (‘еще не P’ – Д. Нёрс рассматривает это значение в главе, посвященной отрицательным формам) 10. Проспективное (интенциональное значение)

Д. Нёрс	И.С. Аксёнова
7. Pluractional (данный ярлык объединяет значения итератива, субъектного и объектного дистрибутива) 8. Anterior (= перфект)	11. Инцептивное значение (И.С. Аксёнова отмечает, что это значение занимает промежуточное положение между комплетивными и инкомплетивными значениями, в зависимости от класса глагола реализуясь либо как проспективное, либо как начинательное значение) Аспектуальные значения, восходящие к прототипическому признаку «инкомплетив» 12. Перфективность 13. Перфект (акциональный перфект) 14. Субъектный результатив 15. Объектный результатив 16. Значение ограниченной длительности 17. Значение, показывающее прекращение, но не завершение действия 18. Терминативное значение 19. Кумулятивно-перфективное значение ('многократное действие, длившееся определенное время') 20. Эксклюзивное значение ('действие занимает определенный отрезок времени и не простирается за его пределы')

оппозиции. Хотелось бы упомянуть в связи с рассмотрением категории фокуса еще одну работу И.С. Аксёновой [Аксёнова 2006], где также подробно анализируются способы контрастивного выделения предиката в языках банту. Из интересных обобщений Д. Нёрса, связанных с фокусными конструкциями, нам хотелось бы отметить его выводы (опирающиеся частично на работы Т. Гюльдемана) о возможности перехода фокусного маркера в показатель прогрессива с дальнейшим расширением значения типа фокус > прогрессив > настоящее время > не-прошедшее время (либо будущее время).

Согласно описанию Д. Нёрса, для маркирования местоименного объекта могут использоваться следующие морфологические модели: (а) предкорневые аффиксы; (б) различные морфологические элементы (суффиксы, частицы, клитики), тяготеющие к концу глагольной словоформы; (в) комбинация двух указанных моделей. Д. Нёрс показывает, что все эти модели, возможно, восходят к единому источнику. Кроме того, в случае, если в предложении имеется более одного дополнения, в каждой из трех представленных моделей реализуются различные способы соотнесения местоименных показателей с объектными аргументами. (Относительно объектных префиксов аналогичные – а в ряде случаев и более подробные – обобщения, касающиеся их функционирования, изложены в работе [Аксёнова 2003], в разделе «Местоименные и согласовательные объектные показатели».)

Безусловно оригинальным в сравнении с книгой И.С. Аксёновой в книге Д. Нёрса следует признать прежде всего следующие два обширных и интересных раздела: шестой и седьмой. **Шестой раздел** рецензируемой работы посвящен реконструкции протобантуской глагольной системы. В этом разделе Д. Нёрс последовательно рассматривает все позиции бантуской глагольной словоформы, указывая, какие морфемы и какие грамматические значения ассоциированы с каждой морфологической позицией. Что касается **седьмого раздела**, то в нем описаны различные языковые процессы (процессы структурной перестройки, фонологические изменения, процессы морфологизации, складывающиеся в процессы грамматикализации), обусловившие переход от реконструируемого состояния к глагольным системам современных языков. Необходимо отметить, что Д. Нёрс в этих разделах обобщает огромный фактический материал, дает представление о сложности и разнообразии бантуских глагольных систем, выделяет во всем этом многообразии материальное и понятийное ядро, образовавшее глагольную систему про-

тобанту, а также выявляет основные тенденции исторического развития глагольных систем банту. Этот аспект исследования является, на наш взгляд, наиболее ценным в его книге.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аксёнова 1990 – *И.С. Аксёнова.* Глагол // И.С. Аксёнова, И.Н. Топорова. Введение в бантуистику (Имя. Глагол). М., 1990.

Аксёнова 1997 – *И.С. Аксёнова.* Категории вида, времени и наклонения в языках банту. М., 1997.

Аксёнова 2003 – *И.С. Аксёнова.* Глагол в языках банту // Основы африканского языкознания: Глагол. М., 2003.

Аксёнова 2006 – *И.С. Аксёнова.* Способы выражения фокуса контраста на предикате в языках банту // Исследования по языкам Африки: Сб. статей, посвящ. 40-летию отдела африканских языков Инта языкознания РАН. М., 2006.

Аксёнова 2008 – *И.С. Аксёнова.* Лексические источники глагольных показателей в языках банту // Основы африканского языкознания: Лексика и словообразование. М., 2008.

Плунгян 2002 – *В.А. Плунгян.* О специфике выражения именных пространственных характеристик в глаголе: категория глагольной ориентации // Исследования по теории грамматики. Вып. 2: Грамматикализация пространственных значений. М., 2002.

Плунгян 2003 – *В.А. Плунгян.* Африканские глагольные системы: заметки к типологии // Основы африканского языкознания: Глагол. М., 2003.

Урманчиева 2003 – *А.Ю. Урманчиева.* Отрицательные формы глагола в языках Африки: морфология и семантика // Основы африканского языкознания: Глагол. М., 2003.

А.Ю. Урманчиева

J. Kandybowicz. **The grammar of repetition: Nupe grammar at the syntax-phonology interface.** Amsterdam: John Benjamins, 2008. xiii + 168 p.

Книга Дж. Кандибовича «Грамматика повтора» посвящена анализу повтора синтаксической составляющей с точки зрения генеративной грамматики. В ней рассматриваются такие конструкции, в которых одна и та же лексема (составляющая) присутствует в предложении (клаузе) более одного раза, и при этом между ее вхождениями не наблюдается явных отношений подчинения или сочинения. Автор анализирует языковые данные с точки зрения так называемой «теории копирования» (Copy Theory), предлагая следующий взгляд на это явление: «Перемещение – неотъемлемая часть грамматики. Составляющие перемещаются, и обычно в этом случае они произносятся только один раз» (с. 1). Однако бывает так, что произносится не одна копия составляющей, а две или больше. Это явление редко обсуждается как в теоретических, так и в описательных грамматиках, но встречается во многих языках мира. Вопрос о том, при каких условиях может происходить произнесение нескольких копий составляющей, является основной темой книги.

Материалом для исследования послужили несколько конструкций с повтором из языка нупе (ветвь бенуэ-конго нигеро-конголезской семьи, Западная Африка). Данные получены в ходе многолетней полевой работы автора с носителями языка. Книга представляет собой переработанный вариант диссертации, которую автор защитил в 2006 году.

Книга состоит из шести глав. В первой главе автор кратко очерчивает теоретические рамки, в которых он строит свой анализ – это «минималистская программа» (minimalist program) и «распределенная морфология» (distributed morphology). Отдельно приводятся основные положения «теории копирования», а также взгляды на процесс линеаризации высказывания в рамках генеративной грамматики.

Во второй главе автор дает общие сведения о языке нупе и подробно останавливается на некоторых аспектах его грамматики. Во-первых, рассматривается вопрос о базовом порядке слов. Обычно в нупе объект следует за глагольной лексемой, но при появлении в предложении показателя перфекта объект занимает место между показателем перфекта и глагольной лексемой, то есть стоит левее последней. Отсюда делается вывод о том, что в перфектных контекстах показатель перфекта занимает позицию «легкого глагола» (v^0), а в неперфектных контекстах эту позицию занимает глагольная лексема (корень). В дальнейшем это утверждение используется как один из аргументов при анализе конструкций с повторами.

Поскольку семантика рассматриваемых конструкций с повторами связана с фокусом, автор также останавливается на устройстве фокуса в языке нупе с синтаксической точки зрения. Фокусированная составляющая выно-

главную клаузу без всяких ограничений, а для вынесения подлежащего из сентенциального актанта требуются специальные условия. Так, в английском языке это запрет на выражение комплементайзера (ср. *Who do you think* [**that*] *wrote a book? – Кто, ты думаешь,* [**что*] *написал книгу?*; подстановка *that* / *что* делает предложение грамматически неправильным). В языке нупе эти условия выражаются в требовании присутствия анафорического местоимения на месте субъекта в сентенциальном актанте: ***Etsu*** *Musa gàn gànán* ***u:*** *gi eci o* 'Муса сказал, что вождь съел батат' (здесь *etsu* – 'вождь', вынесенный субъект подчиненной клаузы, *u:* – анафорическое местоимение 3 лица, стоящее в позиции подлежащего). Дж. Кандибович считает, что данный эффект во всех языках обусловлен исключительно просодическими причинами, и приводит доказательства в пользу такой трактовки для данных нупе. Вывод пятой главы таков: условия для произнесения нескольких копий составляющей могут быть исключительно просодическими.

Шестая глава играет роль заключения. В ней автор суммирует, какие явления создают необходимые условия для того, чтобы была произнесена не одна копия составляющей, а несколько. Как было показано, эти явления относятся к различным языковым уровням: они бывают морфологическими (требование глагольной лексемы при показателях времени), фонологическими (требование лексемы для выражения тона), синтаксическими (формирование параллельных цепочек), просодическими (решение о произнесении составляющей появляется уже после построения синтаксической структуры, подробнее см. главу 5). Также автор делает предположения о том, какие еще языковые явления могли бы в принципе создавать условия для повторов.

Книга Дж. Кандибовича, безусловно, представляет интерес с точки зрения теории языка, особенно для тех, кто предпочитает формальные модели языкового описания. До сих пор не было предложено цельного взгляда на синтаксический повтор: исследования были посвящены лишь отдельным конструкциям. Дж. Кандибович показывает, что различные конструкции с повторами в принципе могут быть проанализированы в рамках генеративной модели, и данный анализ объясняет их внутреннее устройство и внешние свойства. Конечно, три рассмотренных конструкции одного языка не могут дать полного представления о явлении повтора, однако автором выбраны достаточно непохожие конструкции, которые могут пролить свет на разные стороны синтаксического повтора. Скудость языкового материала отчасти компенсируется необычностью самой темы для полевой работы и тем, что автор анализирует данные языка, в котором хорошо разбирается – с языком нупе связаны многие работы Дж. Кандибовича. Анализ материала можно оценивать по-разному с точки зрения полноты и приемлемости, но он отличается логической последовательностью, стройностью и вниманием к деталям. Книга имеет четкую структуру и написана ясным языком. Можно надеяться, что работа Дж. Кандибовича послужит хорошей основой для дальнейших исследований, посвященных явлению синтаксического повтора в теоретическом и типологическом аспекте.

В.С. Мальцева

***J.T. Koch*. Tartessian: Celtic in the South-West at the dawn of history** (Celtic studies publication XIII). Aberystwyth: Centre for advanced Welsh and Celtic studies, 2009. 173 p.

Новая книга известного кельтолога Джона Кука[1] (в настоящее время – профессора Центра Валлийских и кельтских исследований Университета Уэльса, Аберистуит), говоря коротко и просто, является описанием большого научного открытия. Это не изложение новой гипотезы или теории, не предложение новой интерпретации старых данных или новой терминологической системы, а именно – открытие, поскольку автор претендует на то, что он открыл новый древний индоевропейский язык – тартессийский – и доказал, что этот язык относится к кельтской группе. Но радоваться рано.

Теоретически (но только теоретически!) мы с легкостью можем и, более того, должны предполагать в относительно далеком прошлом существование на территории Евразии некоторого количества индоевропейских (а также – алтайских, уральских и пр.) языков, которые не оставили после себя ни языков-потомков, ни письменных свидетельств. Нам известно огромное количество языков, от которых осталось лишь ограниченное число памятников эпиграфики, на наших глазах постоянно происходит процесс «умирания» так называемых миноритарных языков и вытеснения их другими, как родственными, так и нет. Но вполне логично было бы предположить, что аналогичные процессы имели место, например, на территории Европы

[1] Фамилия произносится так!

сится влево, тогда как сама фокусная частица занимает крайнее правое место в предложении. Фокусная группа находится на уровне C (между CP и TP), и автор исследует последовательность вложения функциональных вершин на этом участке. В дальнейшем выводы данного раздела также используются при анализе материала.

Главы 3–5 составляют основу книги. В каждой из этих глав подробно рассматривается по одной конструкции с неконтактным повтором (при котором копии разделены в предложении другими словоформами). Для каждой конструкции сначала приводятся данные, затем предлагается их анализ с точки зрения синтаксической структуры.

Третья глава посвящена конструкции с повтором глагольной лексемы, ср. *Musa è **gí** bise **gí*** 'Муса в самом деле ест курицу' (здесь *gi* – это глагольный корень со значением 'есть'). Значение этой конструкции – «фокус фактивности»: говорящий подчеркивает, что ситуация действительно имеет место. Автор доказывает, что конструкция имеет набор свойств, которые отличают ее и от сериализации, и от морфологической редупликации. Конструкция имеет особое интонационное оформление – плавающий нисходящий тон, который действует на гласную нижней (т. е. правой) копии глагола и реализуется по-разному в зависимости от собственного тона этой гласной. В обычных декларативных контекстах этот тон не встречается. Предлагается следующий анализ: плавающий нисходящий тон - это морфема со значением фактивности. Так как такая морфема не может составлять отдельную словоформу, она создает фонологическое условие для произнесения нижней копии глагола, к которой она прикрепляется. Верхняя копия глагола занимает позицию v^0 и получает морфологическое условие на выражение: показатели времени (хоть они и являются клитиками) требуют присутствия глагольной лексемы непосредственно справа от себя. Перфект, как было показано во второй главе, также занимает позицию v^0, поэтому конструкция с повтором глагольного корня с перфектом не сочетается.

В четвертой главе рассматривается конструкция с предикатным клефтом (Predicate Cleft Construction), ср. ***Bi-ba** Musa à **ba** nakàn o* 'Муса именно порежет мясо' (а не сделает с мясом что-то еще). В ней верхняя (левая) копия глагола (*bi-ba*) выносится на левую периферию, но она представляет собой не чистый корень, а номинализованный глагол (номинализация выражена морфологической редупликацией). Нижняя копия глагола (*ba*) стоит на обычном месте после показателя времени (*à*). Конструкция оформлена фокусной частицей *o*. Значение конструкции – контрастивный фокус на предикате. Подобные конструкции в языках мира, в отличие от других видов повторов, обращали на себя внимание многих исследователей, и в данной главе приводится довольно обширная библиография. Несмотря на типологический подход к материалу, анализ Дж. Кандибовича не претендует на универсальность, а касается только языка нупе. Выводы других исследователей автор последовательно рассматривает и отвергает по разным причинам – некоторые расходятся с исходными идеологическими предпосылками выбранных автором теорий, некоторые не подходят для данных нупе, хотя подходят для материала других языков. Дж. Кандибович предлагает следующее представление: происходит формирование параллельных цепочек, при котором глагольная лексема (корень) передвигается одновременно в позицию фокусного спецификатора и в v^0. В v^0 она выражена по той же причине, что и в предыдущем случае, – показатели времени не могут употребляться отдельно от глагольной лексемы. Показатель фокуса, который используется в данной конструкции, в принципе служит для фокусирования именной группы (хотя в нупе есть и другие показатели фокуса), поэтому верхняя копия глагола номинализуется. В данной главе также отмечается, что верхняя копия в конструкции с предикатным клефтом ни в одном языке не является финитным предикатом – она представляет собой либо номинализованный глагол, либо неизменяемую глагольную форму (например, в русском это инфинитив: *Читать-то он читает*...), но объяснение этому факту не приводится.

В пятой главе описывается скорее не отдельная конструкция, а целое явление, которое, впрочем, использует не лексический повтор, а анафорическое местоимение (см. примеры ниже). Не до конца ясно, почему автор решил включить этот раздел в свою книгу. Безусловно, для исследования повторов важен вопрос, в каких случаях лексема повторяется, а в каких она заменяется на местоимение. Отчасти этот вопрос возникает уже в четвертой главе: если в языке есть так называемая *do*-поддержка, то в конструкции с клефтом вместо нижней копии глагола подставляется семантически нейтральный глагол («местоглаголие»), как это происходит, например, в английском языке. Однако автор не ставит перед собой задачу дать полноценный ответ на вопрос о местоимениях и повторах.

Явление, рассматриваемое в данной главе, известно в генеративной грамматике под названием «эффект следа в комплементной клаузе» (Comp-trace effect): прямое дополнение может быть вынесено из сентенциального актанта в

в периоды, предшествующие распространению там письменности (не совсем ясная атрибуция археологических данных, свидетельствующих о сложности путей миграции и.-е. племен и их постоянных контактах как между собой, так и с представителями других языковых семей, казалось бы, также подтверждает данное предположение). На самом деле – все оказывается не так, и если, например, каждый германист знает о существовании готского языка, не оставившего потомков, и неизменно учитывает в своих реконструкциях готский языковой материал, сохранившийся в переводах Ветхого и Нового Завета, предположить существование на более ранних этапах дивергенции протогерманского еще каких-то аналогичных тупиковых ветвей кажется для него странным, фантастическим, да и просто – ненужным. И в общем это можно понять: классификация языков внутри одной семьи, построение «древ родства», высчитывание глубины распада диалектов – все это делается на базе заданного и ограниченного числа языков, и искусственное введение в эти системы новых элементов неизбежно приведет к их разрушению или хотя бы – серьезному пересмотру. Новые «незаконные» родственники здесь окажутся явно лишними, причем – как на уровне группы, так и на уровне семьи и даже – макросемьи. Так, например, попытки Г. Витакера реконструировать «новый» древний и.-е. язык, который сохранился лишь в ряде заимствований в шумерском и который он назвал «евфратским» (см. [Whittaker 1998]), вызвали резкое осуждение индоевропеистов, увидевших в его трудах «постройку хрупкого карточного домика» [Vanséverin 2008: 380].

Как это ни странно, при этом, как правило, легко допускается существование на территории той же Европы разнообразных доиндоевропейских субстратных диалектов, атрибуция которых часто не проводится вообще, либо проводится «гадательно», и которые обычно охотно признаются языками-изолятами, в той или иной степени проявляющими себя в заимствованиях или/и в топонимах. К таким языкам было принято относить и язык тартессийских надписей.

Обращаясь к раннему континентальному кельтскому материалу, мы должны отметить, что многие исследователи, естественно, понимают, что определенные и довольно многочисленные народности, не оставившие письменных памятников, но описываемые античными авторами как кельты, с одной стороны, и атрибуируемые как кельты археологами, с другой, должны были говорить на каком-то языке, который также, скорее всего, принадлежал к кельтской группе языков. Подтверждение кельтского языкового присутствия проявляется обычно в топонимах и редкой ономастике[2], но не более того, и говорить о том, например, каким мог бы быть язык боев и чем он мог бы отличаться от языка скордисков, совершенно не принято, что в общем понятно. Но, повторяем, во всех подобных случаях речь идет о народах уже известных как кельтские, кроме того – о достаточно поздних периодах (после середины I тыс. до н. э.), описанных античными авторами и оставивших много археологических данных.

Совершенно иную ситуацию мы встречаем в случае с предполагаемым тартессийским языком. В том, что касается археологии, то Тартесс, находящийся на юго-западе Иберийского полуострова и известный античному миру как важный политический и особенно – экономический (торговый) центр уже в VIII–VII вв. до н.э., не демонстрирует никаких специфических «культурных черт» (керамика, оружие, орнаментика, ювелирные изделия и пр.), которые могли бы продемонстрировать его связь с древним кельтским населением Европы. Однако, как полагает Дж. Кук, это вполне логично, т.к., согласно его теории, кельты, осевшие в этом районе, во-первых, отделились слишком рано, когда еще просто не сформировались не только основные черты Латенской культуры, но не существовало и так называемого Гальштадского единства. Во-вторых, как он пишет, «длительные контакты с финикийцами привели к ориентализации материальной культуры Тартесса» (с. 13).

Другие «традиционные ориентиры», как кажется, гипотезу Дж. Кука скорее подтверждают. Так, сам топоним Tartessos (видимо, и соответствующее название реки), он предлагает возводить к общекельтскому корню **tart-* ‘сухость, жажда’ (к и.-е. **ter-s-* ‘сухой’, вокалическое развитие см. в [Matasović 2009: 371], где топоним, естественно, не приводится). Данная этимология топонима предлагалась Дж. Куком в ряде устных выступлений, а также в выпущенном им два года назад «Атласе кельтских исследований» [Koch 2007][3]. Но, говоря строго, эта этимология в качестве предположительной уже предлагалась в ряде работ, отмечающих «кельтский элемент» в тартессийских надписях, о чем еще годом раньше писал П. Симс-Вильямс: «Я не решаюсь соотносить Tartessos с кельтским **tartu* ‘сухость, жажда’,

[2] См., например, работы отечественного лингвиста А.И. Фалилеева, в настоящее время также работающего в Аберистуите, Университете Уэльса [Фалилеев 2006; Falileyev 2005; 2006; 2007].

[3] См. критическую рецензию на «Атлас» [Falileyev 2008].

хотя это и соответствует тамошнему климату» [Sims-Williams 2006: 226]. В принципе, предложенная Куком этимология топонима представляется лингвистически возможной и даже – семантически мотивированной, однако сама ее возможность является допустимой только при условии, что сам топоним – кельтский, что все же остается лишь предположительным (ср., например, эстонский город *Tartmy*).

На первый взгляд, еще более очевидным свидетельством в пользу теории Кука является тот факт, что у римских авторов (например, у Плиния, Naturalis historia, 3.13) упоминается племя celtici, живущее на юго-западе Иберийского полуострова и «разделяющее с кельтиберами язык, религию и названия крепостей». На самом деле, согласно его предположению, кельтиберы, жившее севернее и поселившиеся там позднее, лингвистически и этнически отстоят от тартессийцев уже очень далеко, и поэтому слова Плиния он объявляет «не стоящими внимания»[4] (с. 128).

Что касается ономастики, то тут как раз и находится главный козырь Дж. Кука и его более осторожных предшественников – сторонников «кельтского элемента» в тартессийском (см., например: «в этом языке присутствуют индоевропейские элементы, некоторые из которых кажутся кельтскими» [Vilar 2004: 65]). В Книге I (гл. 163) у Геродота упоминается имя царя Тартесса – Аргантоний (Arganthonios), в котором явно просматривается и.-е. обозначение серебра. Мы с этим не спорим, однако не уверены, что этот элемент дает основание считать имя кельтским, а не, например, италийским.

Что касается «античных авторов», свидетельства которых часто привлекаются в качестве важного аргумента в пользу этнической атрибуции населения той или иной области, то тут как раз, как нам кажется, аргументация Дж. Кука представляется очень интересной и верной. Он исходит из известного свидетельства Геродота о том, что кельты живут у истоков Истра (Дуная) у Геркулесовых столпов (…). Заведомо ложное высказывание типа *Он живет в Москве на Невском проспекте*, содержащее в себе ошибочную посылку, может, естественно, быть истолковано двояко: 1) кельты живут у истоков Дуная и 2) кельты живут у Геркулесовых столпов. В любом случае ошибочным оказывается размещение истоков Дуная на Иберийском полуострове, но при этом традиционно считалось, что связь кельтов с Истром – истинна, а с Геркулесовыми столпами – ошибочна[5]. Кук же предлагает расценивать фразу Геродота противоположным образом и видеть в ней свидетельство наличия какого-то кельтского народа на юге Иберийского п-ва уже в V в. до н. э. и широкого знания об этом[6].

Вернемся к книге. Собственно говоря, большую ее часть (с. 22–78) составляет собрание самих тартессийских надписей (85), часть которых снабжена фотографиями или четкими прорисями, выполненными самим автором на очень высоком уровне, прочтениями автора на уровне тартессийского алфавита, затем дается предположительная условная фонетическая транслитерация, затем – предположительный перевод. Многие надписи публикуются впервые, а их фотографии были сделаны самим автором в запасниках музеев Португалии. Таким образом, эта часть оказывается очень ценной, поскольку содержит редкий материал, и читатель получает возможность не только ознакомиться с интерпретациями Дж. Кука, но и попробовать при желании дать свои прочтения (которые могут оказаться совсем другими). Все надписи представляют собой надгробия разной степени сохранности. Все они написаны неким субвариантом финикийского письма, который затем был заимствован и иберийцами, и кельтиберами. При этом, как известно, графемы могли искажаться, усложняться и добавлять-ся, с одной стороны, и менять свой фонетический план содержания, с другой (например, кружок, практически всюду передающий звук [o] в иберийском алфавите читается как [e]). Поэтому мы не знаем точно, как именно прочитывались те или иные графемы в тартессийских надгробиях, что уже заранее, так сказать «по определению» ставит все реконструкции Кука под сомнение (сложность этой проблемы признается в Предисловии к книге и им самим). Не можем мы быть уверены и в направлении чтения надписи, т.к. хотя на уровне отдельного отрезка текста очевидно направление – справа налево, как видно по наиболее хорошо сохранившимся надгробным камням, текст надписи в целом размещался на них по спирали

[4] Так мы поняли его мысль. На самом деле, в книге вместо английского выражения *is worth nothing* «не имеет цены» стоит – *is worth* ***noting***, что является либо опечаткой, либо – игрой слов («следует отметить»?).

[5] Например: «Археологические исследования с большей степенью достоверности доказывают, что берега Верхнего Дуная были прародиной кельтов, откуда некоторые племена переселились в Испанию, а чуть позже в Италию и на Балканы. Таким образом, на одну и ту же точку (истоки Истра. – *Т.М.*) на карте указывают два источника информации» [Пауэлл 2003: 12].

[6] Конечно, мы опираемся на авторитеты, однако хочется предположить, что Геродот мог иметь в виду и **два** локуса обитания кельтов.



Рис. 1
предположительное прочтение:
lokobo niirabo to ańaiu
I kaltc loko
n ane nańke kakiśiin
kolobo
o ii terobar
cbetea
siioonii (c. 22)

(см. рис. 1), и мы не знаем точно, какая именно сторона прямоугольника считалась исходной. Проблему составляет и словоделение. Поэтому, повторяем еще раз, книга Дж. Кука, как бы ни отнеслись мы к его теории, ценна тем, что делает доступным редкий эпиграфический материал VIII–V вв. до н.э.

Вторую часть книги составляет словарь реконструированных лексем с их предположительными этимологиями и сопоставительными данными из других кельтских языков. Затем приводится список фонетических черт, которые собственно и позволяют автору отнести тартессийский язык к кельтской группе. Книгу завершает исторический очерк (отчасти повторяющий Предисловие), в котором описывается предположительная история того, как кельты из Центральной Европы могли попасть на юго-запад Иберийского полуострова, приводятся карты и в заключение высказывается идея о том, что именно из этого региона в дальнейшем происходило заселение Британских островов, причем не как военная экспедиция, а мирным путем, в поисках «новых рынков». Более того, автор предлагает отказаться от традиционного скептического взгляда на ирландскую псевдоисторическую компиляцию XI в. «Книгу захватов Ирландии», согласно которой предки современного населения острова приплыли из Испании, и рассматривать ее как серьезное историческое свидетельство!

Не имея возможности остановиться подробно на предложенных автором реконструкциях и их интерпретациях, выскажем кратко лишь отдельные соображения.

Так, наиболее часто встречающимся словом является *nańke* (в разных формах), в чем автор видит глагол с общим значением «связывает, задерживает, делает/пребывает неподвижным». Ср. например, краткую надпись: *akolios nańketi* – (предположительно) *Аколиос здесь покоится*. Дж. Кук соотносит этот глагол с греч. ναρκάω ‘замираю, застываю; умираю’ (к и.-е. **(s)ner-*, IEW 976, кельтских данных нет). На и.-е. уровне Кук реконструирует нулевую ступень **nr̥-k-*. Но известно, что все кельтские языки объединяет развитие и.е. слоговых сонантов *r̥*, *l̥* в *-ri-*, *-li-*. Ср.: валл. *rhyd*, галльск. *Ritu-* ‘брод’ < и.е. **pr̥tu-* (лат. *portus*, англ. *ford*); др.ирл. *lethan*, валл. *llydan*, галльск. *Litano-* ‘широкий’ < и.е. **pl̥t-* (греч. Πλατύς и пр.). Поэтому предположительная кельтская форма была бы **nri-ke/*nirke*, понимая это, Дж. Кук объясняет некельтский вокализм соображениями фонотактики (с. 112). И так – постоянно. Реконструкции надписей напоминают решения задач с уже известными ответами, и практически каждое слово вызывает вопросы или возражения! Например, в приведенной нами надписи автор выделяет как синтагму – *kakiśiinkolobo* и считает, что это может означать «каждый герой», исходя из того, что первые два слога могут соотноситься с общекельтским **kwākwo-* ‘каждый’, к и.-е. **kwōkwo-* (IEW 645). На базе этого слова он приходит к важному выводу, что тартессийский язык не был *p*-языком, поскольку сохранил рефлекс и.-е. глухого лабиовелярного. Однако переход и.-е. долгого *ō* в долгое *ā* не фиксируется на общекельтском уровне и считается относительно поздним процессом, еще не отмеченным в кельтиберском. Таким образом, в еще более раннем тартессийском должно было бы быть долгое *ū*!

Приведенный на с. 122–123 список кельтских фонетических черт (падение и.-е. *p*, переход звонкого лабиовелярного $g^w > b$ и пр.), естественно, возражений не вызывает, но ведь и автору книги он тоже давно и хорошо знаком!

Итак, основная идея Дж. Кука – что язык тартессийских надписей является кельтским – не представляется убедительно доказанной. Но тем не менее, опубликованный в его книге эпиграфический материал, да и сам факт при-

влечения внимания к этим загадочным текстам – все это кажется важным и просто – очень интересным. Если мы согласимся с прочтениями автора, то мы скорее всего действительно увидим в надписях много индоевропейских черт (например – в глагольных и именных флексиях), однако – не обязательно кельтских. Но тогда каких же? Возможность существования на территории Иберийского п-ва в середине I тыс. до н. э. каких-то индоевропейских, но не кельтских племен была в свое время высказана археологом А. Товаром (в [Tovar 1986]), а затем поддержана историком Г. Биркханом (в [Биркхан 2007]). Наверное, настало время высказать свое мнение и лингвистам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Биркхан 2007 – *Г. Биркхан*. Кельты. История и культура. М., 2007.

Пауэлл 2003 – *Т. Пауэлл*. Кельты. Воины и маги. М., 2003.

Фалилеев 2006 – *А.И. Фалилеев*. Восточные Балканы на карте Птолемея. Критико-библиографические разыскания. München, 2006.

Falileev 2008 – *A.I. Falileev*. Rev.: *J.T. Koch* et al. An atlas for celtic studies: Archaeology and names in Ancient Europe and Early Medieval Ireland, Britain and Brittany // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. 2008. V. 14.

Falileyev 2005 – *A.I. Falileyev*. In search of Celtic Tylis: Onomastic evidence // New approaches to Celtic place names in Ptolemey's geography. Madrid, 2005.

Falileyev 2006 – *A.I. Falileyev*. The Celtic presence in the Central Balkans: Evidence of place-names // Orpheus. 16. 2006.

Falileyev 2007 – *A.I. Falileyev*. Celtic Dacia. Personal names, place-names and ethnic names of Celtic Orogin in Dacia and Scythia Minor. Aberystwyth, 2007.

Koch 2007 – *J.T. Koch* et al. An atlas for Celtic studies: Archaeology and names in Ancient Europe and Early Medieval Ireland, Britain and Brittany. Oxford, 2007.

Matasović 2009 – *R. Matasović*. Etymological dictionary of Proto-Celtic. Leiden, 2009.

Sims-Williams 2006 – *P. Sims-Williams*. Ancient Celtic place-names in Europe and Asia Minor. Oxford, 2006.

Tovar 1986 – *A. Tovar*. The Celts in the Iberian penansula: archeology, history, language // K.H. Schmidt, R. Kodderitzsch (Hrsg.). Geschichte und Kultur der Kelten. Vorbereitungskonferenz 25–28 Oktober 1982, Bonn. Heidelberg, 1986.

Vanséveren 2008 – *S. Vanséveren*. A «New» ancient Indo-European language? On assumed linguistic contacts between Sumerian and Indo-European «Euphratic» // The journal of Indo-European studies. 2008. V. 36. № 3–4.

Vilar 2004 – *F. Vilar*. The Celtic language of the Iberian peninsula // P. Baldi, P. Dini (eds.). Studies in Baltic and Indo-European linguistics in honor of Wiliam R. Schmalstig. Philadelphia, 2004.

Whittaker 1998 – *G. Whittaker*. Traces of an Early Indo-European language in Southern Mesopotamia // Göttinger Beiträge zur Sprachwissenschaft. I. 1998.

Т.А. Михайлова

***Г.Вс. Петрова*. Латинско-русский словообразовательный словарь: ок. 20 000 слов.** М.: Оникс. Мир и образование, 2008. 704 с.

Вышедший в 2008 г. «Латинско-русский словообразовательный словарь» Г.Вс. Петровой заполнил очень важный пробел в справочной литературе – как отечественной, так и зарубежной. Насколько нам известно, словарь подобного рода отдельной книгой до сих пор нигде не издавался. Нечто близкое можно обнаружить разве что в замечательном учебном издании избранных речей Цицерона начала XX в., где, помимо самих речей и комментариев, есть множество полезных справочных дополнений, в том числе и словообразовательный индекс к речам [Cicero 1915].

Как указывает автор словаря в предисловии, он предназначен прежде всего для педагогов, преподавателей латинского языка. Действительно, в преподавании латинского языка, да и древних языков вообще, словообразованию зачастую уделяется очень мало внимания. Редкий студент не чувствовал на себе этого недостатка. Когда основы грамматики уже усвоены и студенты приступают к чтению текстов, на начальном этапе, как и впоследствии, возникает следующая проблема: приходится смотреть в словаре практически каждое слово, и все равно смысл текста остается неясным. Это одна из важнейших особенностей древних языков. Дело в том, что значения как слов, так и аффиксальных морфем латинского языка и других древних языков известны нам гораздо хуже, чем их аналоги в живых языках. Ведь единственный источник древних языков – тексты и письменная традиция их толкования

(составленные в разные периоды комментарии и словари). При понимании текстов, написанных на мертвых языках, огромную роль играет опыт читателя – для понимания многих мест и для построения собственной гипотезы о значении того или иного слова, словосочетания или целого предложения оказывается недостаточно простого обращения к справочной литературе, требуется многообразная филологическая эрудиция, знание контекстов словоупотребления и исторических реалий. Чтение латинского (древнегреческого, древнееврейского и т. д.) текста намного больше мобилизует аналитические навыки, чем чтение на любом новом языке.

Поэтому при работе с древними языками необходимо системно подходить к материалу. И словообразовательный словарь оказывается незаменимым помощником на этом пути. В латинско-русских словарях, особенно в наиболее распространенном в России словаре И.Х. Дворецкого, в словарной статье часто дается не значение, а различные варианты перевода слова с примерами. Так, например, столкнувшись в тексте с глаголом *attingo*, студент найдет в словаре [Дворецкий 2005] следующий перечень: «1) прикасаться, дотрагиваться, трогать (далее приводятся примеры); 2) доходить, достигать; соприкасаться, граничить; 3) нападать; 4) трогать, брать» и т. д. – всего выделено 11 значений, на первый взгляд плохо друг с другом увязывающихся. Приходится подбирать подходящее по контексту значение, и часто оказывается, что подходящего значения просто нет. Кроме того, предлагаемые переводы нередко дезориентируют читателя. Например, в приведенной нами словарной статье глагола *attingo* значение 'касаться' повторено два раза – под номером 2 и под номером 10. Только из приведенных в статье примеров становится ясным, что во втором случае имеется в виду непространственное значение: *haec te non attingit* 'это тебя не касается'. Подобное разнесение близких, вытекающих одно из другого значений способно совершенно запутать начинающего читателя латинского текста.

Однако отметим, что при столкновении с глаголом *attingo* студенты, как правило, уже знают глагол *tango*. Понимая, что *attingo* является префиксальным дериватом от *tango* и зная хотя бы приблизительно значение приставки *ad-* (присоединение, приближение), можно понять значение, даже не обращаясь к словарной статье деривата.

Словообразовательный словарь Г.Вс. Петровой, составленный опытным преподавателем-практиком, способен дать студенту очень много полезного, особенно на начальном этапе обучения. Он помогает избежать именно описанной выше ситуации – чувства растерянности перед множеством на первый взгляд плохо связанных друг с другом значений одного слова и многообразием моделей словообразования.

Структура словаря такова. В начале, после предисловия, дается алфавитный список латинских словообразовательных морфем, названных «начальными» и «конечными» словообразовательными элементами, и их основные значения. Такие термины, по замечанию автора, использованы вместо терминов «приставка» и «суффикс» по следующим причинам: «Начальные словообразовательные элементы часто называют префиксами, или приставками. Здесь эти термины не используются, чтобы создать аналогию с названием "конечные словообразовательные элементы", которые нельзя называть суффиксами, поскольку в них входят не только собственно суффиксы, но и окончания» (с. 18). Если «начальный словообразовательный элемент» имеет не латинское, а греческое происхождение, на это указывается специально. Для каждой аффиксальной морфемы приводятся ее основные значения, морфонологические варианты и примеры их использования. Продемонстрируем ячейку уже упомянутой нами приставки *ad-* (с. 18):

Элемент	Значение	Позиционные варианты	Примеры
ad-	присоединение, увеличение, направленность к чему-л; близость, приближение, дополнительность; начинательность	***ac-*** = *ad-* перед *c*, *qu* ***af-*** = *ad-* перед *f* ***ag-*** = *ad-* перед *g* ***al-*** = *ad-* перед *l* ***an-*** = *ad-* перед *n* ***ap-*** = *ad-* перед *p* ***ar-*** = *ad-* перед *r* ***as-*** = *ad-* перед *s* ***at-*** = *ad-* перед *t*	*adaptare* *accumulare* *acquirere* *affaber* *aggressio* *allaborare* *annotare* *applicare* *arridere* *associare* *attrahere*

Самый большой раздел словаря – это собственно словообразовательные гнезда, где для каждого глагольного корня даются все его дериваты. Каждая статья выстроена иерархически – выше уровнем стоят префиксы, ниже – суффиксы. Каждому префиксальному деривату соответствуют несколько (если они есть) дериватов как с префиксом, так и с суффиксом. Дериваты без префикса идут в самом начале словарной статьи. Вершины словообразовательных гнезд идут в простом алфавитном порядке, например: слово *mens* и все его дериваты, затем слово *merx* и все его дериваты, слово *mille* и т. д. Разберем статью по словообразованию для уже упомянутого нами глагола *tango*.

Само гнездо отделено от других специальной рамкой, облегчающей восприятие. Внутри гнезда проведены пунктирные линии, разделяющие различные префиксальные производные (или, если следовать терминологии автора, дериваты с различными начальными словообразовательными элементами). В начале статьи, как и в обычных словарях, даются основные формы глагола – *tango*, *tetigi*, *tactum*, *ere* – и его значения. Список значений взят с минимальными изменениями из того же словаря И.Х. Дворецкого. Это и недостаток, и достоинство данного словаря, ведь словарь И.Х. Дворецкого сейчас считается устаревшим и содержит множество неточных или попросту неверных толкований; кроме того, как уже упоминалось, его словарные статьи плохо структурированы. Современные филологи-классики, в том числе и в России, предпочитают использовать англоязычный словарь [Glare 1983], в котором практически нет недостатков, присущих словарю И.Х. Дворецкого. Однако идея широкого распространения словообразовательного словаря и использования его студентами, только начинающими изучать латинский язык, требует, безусловно, учета того факта, что большинство изучающих латынь в России пользуются именно словарем И.Х. Дворецкого (или словарем О. Петрученко, имеющим те же недостатки, но менее полным). Таким образом, выбор Г.Вс. Петровой такой базы для своего словаря отчасти вынужденный.

Следом за ячейкой, где разобран сам глагол без словообразовательных элементов, идут его дериваты без приставок: *tactilis*, *tactio*, *tactus*, *tangibilis*. Для каждого указаны значения и дана пометка [tango] – указание на форму, основа которой является производящей. Далее следуют разделенные пунктирными линиями ячейки с различными приставочными дериватами. Соответственно, выстроены по алфавиту приставки и слова-дериваты внутри каждой отдельной ячейки. Следуют дериваты с приставками *ad-*, *con-*, *in-*, *in + ad*, *ob-*, *per-*, *prae-*, *re-*, *semi-*. Соответственно, в ячейке для *ad-* мы находим расположенные в алфавитном порядке две словарных статьи – существительное attactus, -us m [attingo] и сам глагол *attingo*, *tigi*, *tactum*, *ere* [ad + tango]. В ячейке для приставки *con-*, например, мы находим целых 13 дериватов. Последняя часть гнезда – дериваты, полученные в результате словосложения. Для *tango* это только одно слово – *manutigium*, *-i* n («ощупывание или растирание руками»).

Последний раздел словаря – простой алфавитный список всех дериватов, использованных в основной части, для каждого указано словообразовательное гнездо, где его следует искать. Указатель содержит 20 000 единиц, то есть в 10 раз меньше, чем словарь И.Х. Дворецкого. Такое уменьшение объема лексики связано, во-первых, с тем, что в латыни достаточно много корней, для которых зафиксирован всего лишь один дериват, и, во-вторых, с преобладающими при создании словаря педагогическими целями.

Как можно видеть, словарь имеет отчетливую педагогическую направленность и является прежде всего оригинальным и полезным «дидактическим материалом» для многочисленных преподавателей латинского языка и еще более многочисленных студентов, его изучающих. Можно полагать, однако, что кроме преподавателей и учащихся, словарь, несмотря на свой сугубо практический характер, в какой-то степени будет полезен и лингвистам, в сферу интересов которых входит словообразование, морфология и грамматическая семантика. Напомним, что морфемные и словообразовательные словари являются необходимым инструментом описания языка с развитой слофообразовательной морфологией, и, например, для русского языка существует несколько таких словарей. В этом смысле словарь Г.Вс. Петровой можно рассматривать как первый шаг к современному научному описанию латинского словообразования.

Из недостатков словаря Г.Вс. Петровой (или даже, скорее, упущений) можно отметить отсутствие в нем отдельного раздела о правилах редукции гласных в латинских корнях. Эта проблематика часто опускается на занятиях. Внимание студентов почти никогда не привлекается, например, к тому факту, что один и тот же корень может как подвергаться редукции, так и оставаться неизменным, в зависимости от эпохи, в которую возник тот или иной дериват.

В любом случае, словообразовательный словарь Г.Вс. Петровой, отражающий результаты многолетней работы опытного преподавателя, является крайне полезным и оригинальным изданием, сочетающим как практическую, так и

научную ценность. Его следует всячески рекомендовать студентам-классикам и всем, чья деятельность так или иначе связана с изучением латинского языка, будь то с практическими или с научными целями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Дворецкий 2005 – *И.Х. Дворецкий.* Латинско-русский словарь. М., 2005.

Cicero 1915 – *Cicero.* Select orations with an introduction, parallel selections from Sallust, word groups, synonyms, review questions, and vocabulary by B.L. D'Ooge. New York; Chicago; Boston, 1915.

Glare 1983 – *P.G.W. Glare.* Oxford Latin dictionary. Oxford, 1983.

В.А. Панов

V. Vydrine, M.A. Kességbeu. **Dictionnaire Dan-Français (den de l'Est).** St. Pétersbourg: Nestor-Istoria, 2008. 368 p.

A. Erman, J.K. Loh. **Dictionnaire Dan-Français (den de l'Ouest).** St. Pétersbourg: Nestor-Istoria, 2008. 271 p.

В конце 2008 г. в санкт-петербургском издательстве «Нестор-История» вышли в свет два фундаментальных издания, каждое из которых является в известной степени итоговым для исследований двух диалектов языка дан, дан-гуэта и дан-бло. Исследования были выполнены участниками российской группы по изучению языков манде в рамках многолетнего проекта по исследованию малоизученных языков этой семьи под руководством В.Ф. Выдрина[1]. Научным редактором словаря дан-гуэта является известный специалист по языкам манде Томас Беарт, а научным редактором словаря дан-бло – В.Ф. Выдрин. Основным содержанием обсуждаемых публикаций являются относительно детальные словари соответствующих диалектов, сопровождающиеся также грамматическими очерками (предельно кратким для дан-бло, более детальным для дан-гуэта) и индексами для поиска слов дан по их основному французскому переводу.

Язык дан, как можно судить, в частности, по обсуждаемым публикациям, принадлежит к тому числу случаев, когда сложно провести границу между единым языком с несколькими существенно отличающимися друг от друга диалектами и группой близкородственных языков. В связи с этим несомненным достоинством обсуждаемых изданий на данном этапе исследования дан является независимое описание дан-гуэта и данбло. Можно, однако, сразу указать и на формальный недостаток оформления словарей: их названия классифицируют их оба как дан-французские словари, а собственно названия идиомов – дан-гуэта и дан-бло – вообще не вынесены на обложку (а в словаре дан-бло название «дан-бло» даже не упоминается в предисловии). К сожалению, впоследствии работа с одним из этих изданий может создать у неспециалиста ложное представление о существовании языка дан как единого идиома без существенного внутреннего членения.

Как и вся южная ветвь семьи манде, язык дан до последнего времени являлся практически неописанным. Как и всегда бывает в таких случаях, появление детального описания лексики и компактного, но претендующего на известную полноту описания грамматики этого языка является очень большим событием и с точки зрения собственно изучения дан, и с точки зрения мандеистики в целом, и в более общей перспективе исследования языков Африки и, шире, лингвистической типологии и теории. То обстоятельство, что в данном случае одновременно становятся доступными сведения сразу о двух близкородственных идиомах, делает это событие еще более значимым.

В связи с этим заметим прежде всего, что в словарях В.Ф. Выдрина – М.А. Кессегбе и А.В. Эрман – Ж.К. Лох блестяще решается стоящая перед автором любого фундаментального описания малоизученного языка или диалекта задача найти компромисс между широкой аудиторией нелингвистов – носителей описываемого языка или диалекта или других лиц, проживающих в ареале его распространения, и также широкой аудиторией профессиональных лингвистов, работающих в самых различных областях мандеистического, западноафриканского, африканского в целом, типологического и общего языкознания. Хотя предисловие к словарю дан-гуэта открывается на с. 3 сообщением о том, что предлагаемый словарь и грамматический очерк предназначены в первую очередь тем, для кого дан является родным языком, в действительности обе обсуждаемые книги учитывают интересы обеих аудиторий, причем интересы каждой из них соблюдаются практически без ущерба для интересов другой. Выбранный язык

[1] Исчерпывающая общая информация о деятельности данного проекта и его участниках представлена на веб-странице http://mandelang.kunstkamera.ru/index/mandelang/03/.

описания – французский, – естественно, определяется тем, что это государственный язык Кот-д'Ивуара, в котором распространен язык дан, а потому им владеет нелингвистическая аудитория; этот язык знаком и большинству лингвистов. Словарные статьи сочетают точность в фиксации лексического значения слова и необходимой грамматической информации с простым способом представления этих данных. Грамматические очерки выполнены на современном теоретическом уровне, но не перегружены лингвистической терминологией и в целом написаны простым языком.

Важнейшим практическим вопросом, который успешно решают авторы обоих словарей, является разработка орфографии или адаптация уже существующей орфографии для данного языка или диалекта. В обсуждаемых изданиях используется уже существующая орфография языка дан, предложенная в 1980-е гг. исследователями из Летнего лингвистического института. При этом авторы в случае необходимости адаптируют эту орфографию для нужд именно диалекта дан-бло или дан-гуэта. Так, и в словаре дан-гуэта, и в словаре дан-бло принимается не фонологическое, а аллофоническое орфографическое решение в области имплозивных и латеральных согласных (по-разному записываются ɓ и m, ɗ и n, ʃ и ɲ, r и l, являющиеся соответственно аллофонами четырех фонем), а для дан-гуэта аллофония вводится в орфографию также и в области гласных средне-верхнего подъема (ɪ, ʏ и ʊ, являющиеся аллофонами e, ɤ и o соответственно, имеют особые обозначения). Оба решения, насколько можно судить о нем извне сообщества носителей диалектов языка дан, кажется абсолютно оправданным: возможны случаи, когда тот факт, что два аудиально различных звука образуют единую фонологическую сущность, не влияет на их наивное восприятие носителями языка как разных звуков, и в этих случаев наиболее естественное решение в практической орфографии состоит именно в том, чтобы записывать эти звуки по-разному. Более спорные орфографические решения связаны уже с используемой орфографией, а потому ясно, что не во власти авторов обсуждаемых словарей было на них влиять. Так, вряд ли удачно использование диграфов для двух гласных фонем нижнего подъема (для æ используется ɛa, для ɒ используется aɔ), особенно учитывая то, что в инвентарь букв для гласных в алфавитах диалектов дан в любом случае введены многие символы, отсутствующие в стандартном латинском алфавите. Спорно принятое в орфографии дан обозначение тона только для первого слога неодносложных слов. Как известно, вся семья манде характеризуется фонологической значимостью тоновых различий, а в южной группе семьи манде тоновые противопоставления играют очень большую роль, различая не только лексические, но и грамматические значения, причем самих тонов, по сравнению с тоновыми системами других тоновых языков, много (а именно, пять). В связи с этим, несомненное достоинство рассматриваемых словарей состоит в том, что в дополнение к орфографии для каждого словарного входа дается не только орфографическая запись, но и транскрипция, отличающаяся от орфографии только тем, что в ней указываются тоны для всех слогов.

Перейдем к краткому изложению структуры обсуждаемых изданий.

Словарь В.Ф. Выдрина – М.А. Кессегбе диалекта дан-гуэта состоит из следующих частей: занимающий около семидесяти страниц грамматический очерк; список публикаций по языку дан; введение в словарь; собственно дан-французский словарь; французско-данский индекс; список сокращений.

В грамматическом очерке приводятся основные сведения по грамматике диалекта дан-гуэта. Он, в свою очередь, состоит из следующих разделов: общие сведения; фонология; морфология; элементы синтаксиса, причем первые два раздела сравнительно краткие, а большую часть очерка занимает морфологический раздел. В начале этого раздела приводится классификация частей речи дан-гуэта, основанная на внутренних лингвистических критериях этого идиома, а далее рассматривается морфология каждой из них. Среди оригинальных решений отметим выделение детерминативов (определительных модификаторов именной группы) и копул в отдельные части речи. Среди спорных решений можно отметить описание многочисленных «местоименных серий», выбор которых зависит от видо-временной семантики высказывания (речь идет о как морфологии местоимения, а не глагола); впрочем, альтернативное описание, при котором соответствующие морфемы рассматривались бы как аналитические показатели глагольных категорий, также было бы спорным. Неясным представляется упоминание на с. 75 «неличных местоимений», которые, согласно утверждению авторов, не образуют отдельной части речи; если принять это положение, то более логичным было бы упоминание каждого из слов данного семантического класса в разделе соответствующей части речи. В синтаксическом разделе описываются различные структурные типы именной группы, неглагольного простого предложения, глагольного простого предложения, а также образование сложного предложения с придаточными относительными. И хотя авторы делают примечание о том, что другие типы сложных предложений не были рассмотрены в связи с ограниченным

объемом, можно только сожалеть об отсутствии хотя бы кратких сведений об их синтаксической организации. В целом же грамматический очерк дан-гуэта можно считать образцовым в плане совмещения присущей данному жанру краткости и предельной информативности. Несомненным достоинством также представляется теоретическая независимость (авторы не следуют какому-либо определенному теоретическому направлению и, как следствие, используют понятный всем потенциальным читателям терминологический аппарат) и эмпирический характер этого очерка.

Во введении в словарь дан-гуэта содержатся основные сведения о том, как устроена словарная статья и какие в ней используются сокращения. В словарных статьях используются пометы, сообщающие следующие типы информации: информация о принадлежности лексемы к диалекту, отличному от дан-гуэта, близкому к нему; часть речи; грамматическая информация (переходность vs. непереходность vs. возвратность для глагола, образование множественного числа и принадлежность к семантическому классу реляционных имен для существительного, образование форм для различных локализаций для локативных существительных); уточняющие комментарии (в круглых скобках дается указание на предпочтительный контекст для употребления данной лексемы, в квадратных – культурологические коммантарии); стилистическая информация или информация о принадлежности к определенному социолекту[2]. Отметим нетривиальные решения. Во-первых, интересной особенностью словаря (к которой, по всей вероятности, авторов подтолкнула организация хранения информации в компьютерной программе Toolbox[3]) является включение в него не только корневых морфем, но и аффиксальных, которые получают специальную помету, аналогичную частеречной. Во-вторых, глаголы с превербами описываются как единое целое, но при этом для превербов заводятся также отдельные словарные статьи, где они получают специальную частеречную помету. В-третьих, интересно, что в словаре предстаблена информация не только о лексемах дан-гуэта, но и об их французских переводах, в первую очередь о роде французских существительных. Вчетвертых, систематически приводится информация о (квази)синонимах, которые имеет лексема. Как кажется, все указанные особенности вызваны обсуждавшейся выше полифункциональностью описаний малоизученных языков.

[2] Любопытно использование нестандартной пометы *!!!* для обсценной лексики.

[3] http://www.sil.org/computing/toolbox/.

Словарь А.В. Эрман – Ж.К. Лох диалекта дан-бло имеет сходную структуру и состоит из следующих частей: введение в словарь (включающее также грамматический очерк); собственно дан-французский словарь; французско-данский индекс; список сокращений.

Введение в словарь содержит информацию как собственно об организации словаря и о том, что в него включено, так и о диалекте дан-бло. Оно, в свою очередь, состоит из следующих разделов: общие сведения; алфавит, транскрипция и правила чтения; композиция словаря; структура словарной статьи (последний раздел включает и основные грамматические сведения). В разделе, посвященном алфавиту, в основном, содержатся указания на то, как следует читать используемую в словаре орфографию и транскрипцию (но таким образом сообщаются и основные сведения и о фонологической системе дан-бло). В кратком разделе по композиции словаря перечисляются пометы, связанные с диалектной принадлежностью лексем. В разделе по структуре словарной статьи обсуждаются прочие пометы, используемые в словаре, и в связи с ними сообщаются основные сведения по грамматике дан-бло; отметим, что вряд ли такая композиционная особенность может быть сочтена удачной, поскольку грамматические сведения, даже в самом кратком изложении, можно было бы привести в виде самостоятельного текста. Наиболее подробно в описании дан-бло рассматриваются: деривационная морфология (приводится полный перечень деривационных аффиксов), морфология локативных существительных (даны сведения об образовании их основных форм), система местоимений (приведены полные лично-числовые парадигмы для всех видо-временных значений). Система помет и организация словарной статьи в словаре диалекта дан-бло совпадает со словарем диалекта дан-гуэта.

В целом словари двух диалектов дан, безусловно, являются образцовыми в плане качества фиксации лексического материала и предоставления в словарных статьях всех необходимых сведений. Очевидно, что лексика никакого идиома не может быть полностью описана в словарях сравнительно скромного объема (в словарях не приводятся сведения о количестве слов, но объем можно оценить исходя из количества страниц), но очевидно и то, что и столь детальное и аккуратное описание лексики малоизученного языка является результатом долгого и кропотливого труда. Можно надеяться, что работа над лексикографией диалектов дан будет продолжена авторами, и рано или поздно свет увидят и более полные версии обсуждавшихся словарей.

А.Б. Шлуинский

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Организация и проведение международной конференции «Социальные варианты языка–VI»

Международная научная конференция «Социальные варианты языка–VI», состоявшаяся 16–17 апреля 2009 г., явилась частью большого цикла лингвистических форумов, проводимых Нижегородским государственным лингвистическим университетом им. Н.А. Добролюбова с целью объединить усилия ученых, изучающих разнообразные варианты языка как в России, так и за рубежом. Так, 30 сентября 2008 г. прошла межвузовская конференция, посвященная памяти знаменитого писателя-нижегородца П.И. Мельникова-Печерского, а 21 февраля 2009 г. на филологическом факультете НГЛУ был проведен симпозиум «День родного языка». В указанных конференциях активное участие принимали студенты. Заметим, что эти мероприятия проводятся во время кризиса, тогда, когда ряд вузов отказался от научных конференций из-за отсутствия финансирования. Лингвистический университет все намеченные научные мероприятия оставил в плане[1].

Всего было заявлено 132 участника, из них профессоров и докторов наук – 21, кандидатов и доцентов – 60, аспирантов – 22. Обширна география конференции: Россия, Казахстан, Украина, Беларусь. Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Архангельск, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Екатеринбург, Запорожье, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Кемерово, Кривой Рог, Лесосибирск, Майкоп, Минск, Озёрск, Омск, Орехово-Зуево, Орел, Пермь, Псков, Саранск, Смоленск, Тамбов, Ульяновск, Челябинск, Череповец, Якутск – всего тридцать два города.

В оргкомитет конференции вошли заведующие кафедрами русского языка ведущих вузов г. Нижнего Новгорода: М.А. Грачев (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова), Л.В. Рацибурская (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) и Н.Е. Пстрова (НГПУ им. А.М. Горького).

Открыла международную конференцию проректор по научной работе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Е.С. Гриценко. С докладами на пленарном заседании выступили М.А. Горбаневский (Москва) «О феномене нового новояза в России начала XXI века: к постановке проблемы», М.А. Грачев (Нижний Новгород) «Русские социальные диалекты: перспективы их изучения», В.П. Коровушкин (Череповец) «Социальные диалекты в объектно-предметной области лингвоэкологии», Т.В. Романова (Нижний Новгород) «Социо- и психолингвистические основания для типологической характеристики русской языковой личности».

На конференции работало семь секций: 1. «Социолекты как объект изучения» (сопредседатели: В.П. Коровушкин и О.А. Анищенко), 2. «Язык СМИ и другие дискурсивные практики» (сопредседатели: О.С. Сапожникова, Е.Н. Широкова), 3. «Язык – концептосфера – социум» (сопредседатели: Э.Н. Акимова, Л.В. Рацибурская), 4. «Коммуникация в различных социальных сферах: функциональный и когнитивный аспекты» (сопредседатели: Е.В. Ерофеева, А.В. Королькова), 5. «Социолекты и литературный язык» (сопредседатели: И.Н. Пономаренко, М.Н. Приёмышева), 6. «Социлекты в синхронии и диахронии. Вопросы экологии языка» (сопредседатели: В.И. Беликов, Н.К. Иванова), 7. «Социальное варьирование языка в текстах

[1] Проведение международной научной конференции стало возможным благодаря спонсорской помощи Нижегородского завода шампанских вин, его генеральному директору Юрию Васильевичу Лисенкову и руководству Лингвистического университета.

различных жанров и стилей» (сопредседатели: Т.Г. Никитина, В.А. Саляев).

Основным объектом рассмотрения на конференции стали языковые особенности, характерные для различных общественных групп. Богатая социальная палитра, отраженная в разнообразнейших жаргонизмах и профессионализмах, использование литературного языка разными слоями общества, новые тенденции в развитии литературно-языковой нормы, проблемы фиксации и описания быстро меняющейся жаргонной речи, – вот далеко не полный перечень вопросов, которые обсудили участники форума.

Изучение социальных вариантов языка имеет огромное значение не только для специалистов-лингвистов, но и для социологов, политиков, журналистов, специалистов по связям с общественностью, создателей рекламы и др. Исследование социальных субъязыков позволяет получить объективное и определенное представление о круге интересов и предпочтениях той или иной социальной группы (например, тех же молодежных группировок *эмо* и *готов*), в известной мере можно даже предсказать направление ее развития.

Особое внимание было уделено вопросам культуры речи. Ученые проанализировали влияние нелитературных форм на письменную и устную речь образованных носителей языка. Значительное число докладов и сообщений было посвящено анализу языка рекламы и средств массовой информации.

В отличие от предшествующих конференций круг рассматриваемых тем на конференции 2009 года значительно расширился.

Особенно живой интерес у студентов вызвало пленарное выступление о новоязе М.В. Горбаневского (Москва), председателя Гильдии лингвистов–экспертов по информационным и документационным спорам, одного из трех ученых-ономастов, которые способствовали переименованию города Горького в Нижний Новгород. На следующий день работы конференции профессор выступил с интересным докладом о лингвокриминалистике. Преподаватели и студенты с интересом восприняли информацию о Гильдии лингвистов–экспертов по информационным и документационным спорам: ее структуре, истории, тематике проводимых лингвистических экспертиз. Лекция была полезной как в теоретическом, так и в практическом отношении: на филологическом факультете обучаются студенты-эксперты, а в Лаборатории социопсихолингвистических исследований НГЛУ, проводятся лингвистические экспертизы.

В целом отличительной особенностью данной конференции явилось активное участие в ней студентов филологического факультета нижегородского государственного лингвистического университета: и на пленарном заседании, и в работах на секциях.

Международная конференция выработала конкретные рекомендации по культуре речи, преодолению негативных тенденций в языке, механизмов закона о защите русского языка.

М.А. Грачев, А.Г. Калинина

VIII конференция Ассоциации лингвистической типологии

Восьмая конференция Ассоциации лингвистической типологии (АЛТ) проходила в 2009 году с 23 по 26 июля в университете Беркли (Калифорния, США). Эта конференция проводится раз в два года по принципу: один раз в Европе, один раз в США, один раз – за пределами Европы и США. Ассоциация лингвистической типологии объединяет более 600 специалистов, но для участия в конференции не обязательно быть членом АЛТ. Доклады отбираются на конкурсной анонимной основе программным комитетом, в который входят ведущие лингвисты-типологи мира. В этот раз Почетным президентом АЛТ стала Анна Сиверска (Великобритания), программный комитет возглавлял Экехард Кениг (Германия). Организаторами конференции в Беркли были Джоанна Николс и Ларри Хайман.

С устными докладами на основных секциях, а также с постерами выступили ученые из Москвы и Санкт-Петербурга: Н. Добрушина, А. Желтов, А.Е. Кибрик, А.А. Кибрик, В. Круглякова, Е. Рахилина, Д. Эршлер, российские ученые и аспиранты, работающие за рубежом: А. Бугаева (Япония), О. Красноухова (Нидерланды), Д. Идиатов (Бельгия), З. Молочиева (Германия), И. Николаева (Великобритания), Е. Скрибник (Германия), З. Халилова (Германия), М. Чумакина (Великобритания).

Открывал конференцию пленарный доклад М. Бейкера (Нью-Брансвик), в котором он говорил о принципиальной возможности формально-генеративистского подхода к типологии. В этом докладе прозвучало важное для

этой конференции и, как кажется, для современных умонастроений среди типологов в целом соображение о том, что даже небольшие, в 10–15 языков, выборки, могут много дать типологии. Подтверждением этому явилось количество докладов, рассматривающих лингвистический феномен в одном языке или в группе близкородственных языков; на нынешней конференции доля таких докладов составила примерно четверть.

На следующий день на пленарном заседании был зачитан замечательный доклад Б. Бикеля (Лейпциг) «Типологические паттерны и скрытое разнообразие», где обсуждалась одна из наиболее серьезных проблем современной лингвистической типологии, в связи которой типологов часто обвиняют в поверхностности: при поиске универсалий огрубляется не только межъязыковой материал, но и полностью игнорируется внутриязыковое варьирование. Кроме того, используя тот или иной термин (например, «клитика» и «аффикс») универсально, мы не просто классифицируем какое-то явление в языке, но и приписываем ему набор свойств, с которым этот термин ассоциируется, причем зачастую этот набор свойств считается «общим знанием» и не эксплицируется. В то же время многие языковые явления обладают свойствами из разных «наборов»; легко представить себе морфологический элемент, обладающий свойствами как клитики, так и аффикса. Бикель призывает эксплицировать все свойства, ассоциируемые с активно используемыми терминами, и ориентироваться в первую очередь на описание, а не на классификацию языковых явлений. В этом его подход сближается с каноническим подходом к типологии, разрабатываемым Г. Корбеттом (на АЛТ была отдельная секция, посвященная этому подходу).

Третьим приглашенным докладчиком, представившим пленарный доклад, была Д. Бреснан (Стэнфорд). В ее докладе обсуждалось, как вероятностные модели грамматики могут работать в типологии.

Еще два пленарных доклада были сделаны лауреатами регулярно присуждаемых Ассоциацией лингвистической типологии премий: премии Гринберга (за лучшую диссертацию, защищенную в течение последних трех лет) и премии Габеленца (за лучшую описательную грамматику малоизученных языков, опубликованную в течение последних четырех лет).

Премии Гринберга в этом году удостоилась диссертация К. Маури (Павия) о способах выражения сочинительных отношений в языках мира и их функциональной мотивации. Работа была защищена в Павии в 2007 году.

Премию Габеленца получила грамматика неварского языка (диалект долака), написанная К. Дженетти (Санта-Барбара). На этом диалекте говорят в непальской провинции Долака, в 145 км от Катманду, и он сильно отличается от остальных диалектов неварского языка (шестой по численности язык Непала).

В первый день конференции работало шесть секций: «Одушевленность и семантические роли», «Стуктура частей сложного предложения», секция по семантике, «Именная группа и тому подобные явления», «Время, вид, наклонение (ТАМ)», «Морфемы и порядок слов».

В первой секции стоит отметить как всегда занимательный и спорный доклад Д. Гила (Лейпциг), в котором количество способов кодирования основных ролей напрямую связывалось с численностью говорящих: большие языки отличает бóльшая грамматическая сложность. Кроме того, хочется отметить доклад С. Фоконье и Ж.-К. Ферстрата (Левен) о способах кодирования неодушевленного агенса (так, в некоторых эргативных языках неодушевленный агенс выражается не эргативом, а косвенными падежами), где специальные стратегии кодирования рассматривались как частный случай проявления более общего механизма смещения фокуса предложения с агенса.

Из докладов второй секции стоит отметить доклад П. Эппс (Остин), в котором предлагалось расширить синтаксическую классификацию относительных предложений (поскольку традиционное деление их на вершинные и безвершинные не отражает всех типологических возможностей), и доклад А.Е. Кибрика (Москва) о сочинительных конструкциях в дагестанских языках. Дагестанские языки представляют очень широкое поле возможностей оформления сочинительных отношений (понимаемых в данном случае как отношения семантически равноправных частей), и, чтобы адекватно описать это разнообразие, нужно сперва структурировать поле морфосинтаксических возможностей. Это предлагается сделать при помощи двух факторов: (1) стратегий оформления конструкций и (2) принципов, предопределяющих выбор синтаксических стратегий.

Наиболее интересным в семантической секции, на мой взгляд, был доклад И. Николаевой (Лондон) о типологии восклицательных предложений, где утверждалось, что скалярный подход к описанию восклицательных предложений не исчерпывает всех типологических возможностей, а кроме того, преллагалось характеризовать восклицательные предложения не как содержащие пресуппозицию (как это было принято до сих пор), а как неассертивные.

В секции по именной группе были представлены следующие доклады: «Демонстративы в

языках Южной Америки» (О. Красноухова), «Образование и типологическая характеристика прилагательных в корякском языке» (М. Куребито), «Дистрибуция именных модификаторов в языках Восточной Азии» (Б. Лу и Ж. Ку), «Типология имен собственных» (Й. Хельмбрехт), «Маркирование посессивности в языках Ваупе» (К. Стензель) и «Лингвистика прогнозов погоды: типологические паттерны метереологических выражений» (П. Эрикссен, С. Киттила и Л. Колемайнен). К сожалению, про них я ничего не могу сказать, поскольку была только на секции ТАМ, но Е.К. Скрибник хорошо отзывалась о «метереологическом» докладе.

Должна сказать, что почти все доклады на секции по глагольным категориям были удачные, особенно хочется отметить доклады К. Маури и А. Сансо (Павия) «Ирреалис и сложное предложение» и Д. Матича (Лейпциг) и И. Николаевой (Лондон) «Фокус как внесловарная категория». Авторы первого доклада говорили о маркерах, которые совмещают в себе функции маркеров наклонения, лица и числа субъекта, переключения референции и т. д. Авторы второго показали, что в языке могут фокусироваться не только целые слова и синтаксические группы, но и части слов, части пропозиции (например, только временная отнесенность или только полярность) и вся пропозиция в целом. Также стоит отметить доклад Э. Даля (Стокгольм) «"Сегодня" и "вчера" в системах глагольного времени».

На секции, посвященной морфемам и порядку слов, были представлены следующие доклады: «О генерализации 25-й универсалии Гринберга» (Х. Токизаки и Я. Кувана), «Ограничения на порядок аффиксов в формах локализации» (К. Имбер), «Методы типологизирования темплейтов» (Д. Гуд), «Порядок слов VSO (глагол-субъект-объект) и глагольная группа в языках Океании» (Б. Палмер), «Порядок слов в языках с нулевым маркированием: типологическое исслелование» (К. Синнемяки), «Связь между маркированием топика-фокуса и порядком слов: результаты двух полевых исследований» (С. Скопетеас и Г. Фанселоу).

На следующий день работали секции по синтаксису, теории типологии, типологии глагольных категорий и категорий локализации, лексикологическая секция, секция по синтаксису и семантике, секция по консонантным системам, секция по морфологическим маркерам и секция по характеристикам слова.

В первой секции хочется отметить доклад Д. Кресселя (Лион) «Новый взгляд на эргативность и аккузативность». Также в этой секции выступили А. Витзлак-Макаревич (Лейпциг) с сообщением о синтаксическом статусе аргументов, подвергшихся диатезным преобразованиям, и С. Огихара (Боулдер) с докладом об изъяснительных придаточных в языках с финальной позицией для глагола.

Секция по теории типологии включала в себя подсекцию по сложному предложению, на ней были представлены следующие доклады: «Дизайн лингвистических баз данных» (А. Димитриадис), «Маркированность и импликативные иерархии» (Ч. Ли), «Аналитические формы и сериализация в арчинском языке» (М. Чумакина) и доклад Д. Фернандес-Вест о соотношении позиции топика и фокуса с референциальным статусом аргумента.

На секции по типологии глагольных категорий и категорий локализации мне показался наиболее интересным доклад С. Киттила (Хельсинки) и С. Лугарги (Павия) «Дифференцированный подход к маркированию пространственных отношений: случаи, когда локус определяется через человека», где было продемонстрировано, что языки последовательно выбирают специальные показатели для пространственных отношений, в которых в качестве локуса выступает человек (типа *идти к **Маше***). Способ кодирования одушевленного локуса сравнивается со способом кодирования неодушевленного локуса, с одной стороны, и реципиента, с другой, и авторы показывают, что (одушевленный) реципиент часто кодируется тем же способом, что и неодушевленный локус, а для одушевленного локуса резервируется специальная стратегия.

Другие доклады на этой секции: «Глагольная морфология в языке курто и тибето-бирманская типология» (Г. Хислоп), «Глаголы, предлоги и послелоги как маркеры пространственных отношений» (К. Ажеж), «Морфологическая кумуляция как результат фонологической фузии на примере категорий лица и числа» (Ф. Планк, Т. Майер, Т. Поудел и М. Спаньол).

На секции по консонантным системам был представлен доклад Н. Батеман (Сан-Маркос) о различных видах палатализации.

На лексикографической секции М. Хаспельмат и У. Тадмор (Лейпциг) рассказывали о недавно завершившемся большом проекте по заимствованиям, в котором участвовал 41 автор. Исследователь, работая над одним языком, пополнял базу данных, представляющую собой список из 1 300 слов (единый для всех языков проекта), про каждое из которых, по мере возможности, надо было сказать, заимствование ли это, из какого языка, с какими побочными эффектами (в основном семантическими) и когда произошло заимствование. Результатом проекта стал, во-первых, свод этих баз данных и, во-вторых, сборник статей участников. Вторым на этой секции был доклад 11 авторов (Д. Баккер и др.) о том, как типоло-

гические данные могут работать в сравнительно-историческом языкознании.

На секции по синтаксису и семантике был представлен доклад Ф. Гаста (Йена) и Й. ван дер Ауверы (Антверпен) о скалярных операторах и доклад Е. Михас (Милуоки) об аппликативном маркере *-ako* в кампанских языках.

Главным событием этого дня, по-моему, стал последний доклад – сообщение А.А. Кибрика (Москва) о типологии средств поддержания референции. Удержать внимание аудитории в четверть седьмого вечера, с учетом того, что доклады начались в девять утра, – уже непростая задача, но Андрею Александровичу удалось гораздо больше: слушатели были по-настоящему увлечены, и, когда автор продемонстрировал внутреннюю противоречивость и ненужность термина «про-дроп» и предложил перестать им пользоваться, все сразу согласились. Кроме этого блестящего хода, достоинством доклада явилась классификация средств поддержания референции, объединяющая независимые местоимения и местоименные клитики.

На третий день конференции работали следующие секции: «Посссивность», «Просодия», «Местоимения», «Синтаксис и семантика» и «Глагольная типология».

В первую очередь стоит отметить доклад С. Ламберт (Буффало) «Новый взгляд на датив», выражающие посессора», в котором возможность подъема посессора в датив характеризовалась не как ареальная черта языков центральной и южной Европы (как считалось ранее), а как результат наличия более общей синтаксической стратегии размещения морфологического маркирования на зависимом именной группы, а не на вершине. В той же секции были представлены доклады «Посессивные и бытийные конструкции в языке жестов» (П. Пернисс и У. Зешан) и «Посессивы как маркеры определенности» (С. Фоллмин).

На секции по просодии были представлены доклады «Интонация как средство маркирования фокуса в атабасском языке бивер» (Г. Мюллер), «Связь ударения и деления языков на слоговые и словные» (Р. Ширинг), «Тон: слоговой, словарный и мелодический: к типологии тонов в Китае» (П.С. Дин).

На секции по глагольной типологии были представлены доклады о кодировании аргументов в языке жестов (М. Морган), «Синхрония и диахрония в парах по переходности» (Х. Наррог), «Предикативная классификация в языке гумуз: типологичсеская аномалия?» (К. Аланд), «Глаголы кругового движения: лексическая типология» (В. Круглякова и Е. Рахилина). Мне показался очень интересным доклад Ф. Планка (Констанц) и А. Лахири (Оксфорд) о микро- и макротипологии на примере «валентной ориентированности» глаголов: языки различаются тем, к какому «полюсу переходности» тяготеют в них глаголы: они могут быть непереходными (и тогда бóльшая часть переходных является производными) либо наоборот. Микротипологический подход проявился в детальном диахроническом анализе морфонологии немецких глаголов, с выводом о том, что глагольная система немецкого языка тяготеет к «полюсу переходности».

На секции «Местоимения» были доклады А. Желтова (Санкт-Петербург) о маркировании лица в местоимениях языка гбан и доклад Г. Сежерера и М. Ванхове (Париж) «Статистический подход к африканским личным местоимениям».

Среди докладов секции по синтаксису и семантике стоит отметить сообщение Е.К. Скрибник (Мюнхен), где на примере бурятского языка, в котором миративность может выражаться как в финитных, так и в нефинитных формах глагола, было показано, что миративность – это отдельная грамматическая категория, несводимая к эвиденциальности.

Вторая половина последнего дня была отведена под тематические семинары, их было четыре: «Отрицание», «Типологические перспективы в поликатегориальности», «Каноническая типология» и «Типология и диахрония иерархических систем оформления центральных актантов». Я, по долгу службы, была только на третьем, который открывал Г. Корбетт (Гилфорд) докладом о принципах канонической типологии. Каноническая типология – это подход, при котором лингвистическое понятие описывается набором независимых друг от друга параметров и представляет собой, таким образом, теоретический конструкт, которого в реальном мире может не быть вообще или же он может встречаться крайне редко. Следующими были доклады Ф. Зайфарта (Лейпциг) «К многомерной типологии именных классификаторов», Н. Эванса (Мельбурн) о типологии способов оформления косвенной речи, Э. Спенсера (Колчестер) и А. Луиш (Коимбра) о клитиках – методологически самый оригинальный, в нем доказывалась логическая невозможность канонического определения понятия «клитика». Завершал семинар доклад А. Сиверской (Ланкастер) и Д. Баккера (Амстердам) о каноническом подходе к описанию пассива.

На семинаре по отрицанию были представлены следующие доклады: «Неглагольные и бытийные маркеры отрицания: типологическое и диахроническое исследование» (Л. Весслинова), «Определение отрицания в лингвистике» (О. Бонд), «Отрицательные вопросительные

маркеры» (М. Миестамо), «Цикл Есперсена в языках банту» (М. Дево), «О порядке и запретах» (Д. ван Олмен и Й. ван дер Аувера), «*To not be* or not *to not be*: сравнение стандартных способов выражения отрицания в неглагольных предикатах с нестандартными способами выражения отрицания» (П. Эриксен).

На семинаре «Типологические перспективы в поликатегориальности» были представлены следующие доклады: «Морфосинтаксические и семантические проблемы поликатегориальности в языках юкатек майя» (Ш. Луис и В. Варнапски), «Морфологические классы как индикаторы поликатегориальности в языках чоктав и чероки» (М. Хааг), «Поликатегориальность в языках Новой Каледонии» (И. Бриль и С. Бекей), «Карибский язык народа Куикиро: как там появились глаголы и существительные» (Б. Франчетто и М. Санто), «Роль поликатегориальности в усвоении языка юкатек майя» (Б. Пфайфер).

На семинаре по оформлению ядерных актантов были представлены следующие доклады: «Обусловлено ли различное падежное маркирование актантов универсальной референциальной шкалой?» (Б. Бикель и А. Витзлак-Макаревич), «Инверсивное маркирование без иерархического согласования (С. де Ланси), «Реконструкция происхождения способов оформления ядерных актантов в главной клаузе» (С. Гильдеа), «Не все инверсии одинаковы» (Ф. Зунига), «Разрешение конфликтных стратегий оформления актантов» (А. Мальчуков).

Кроме пленарных докладов, паралелльных секций и тематических семинаров, вынесенных на последний день конференции, в этот раз впервые работала секция постеров, и она была очень удачной, особенно хочется отметить постеры Б. Комри и З. Халиловой (Лейпциг) о типологически редком типе сложной эвиденциальности, представленном в бежтинском языке, Д. Форкер (Лейпциг) о биабсолютивных конструкциях в дагестанских языках и А. Бугаевой (Токио) о литранзитивах в айнском языке.

М.Э. Чумакина

42-я ежегодная конференция Европейского лингвистического общества

9–12 сентября 2009 года в Лиссабоне состоялась 42-я ежегодная конференция Европейского лингвистического общества (Societas Linguistica Europaea, SLE). Основанное в 1966 г., Европейское лингвистическое общество ставит своей целью продвижение научного изучения языка во всех его аспектах как в Европе, так и за ее пределами; членами Общества могут являться и европейцы, и жители других регионов. Правление Общества выбирается сроком на один год; в 2009 г. его президентом являлся Пьер Марко Бертинетто (Университет г. Пиза), вице-президентом Бернард Комри (Институт эволюционной антропологии, г. Лейпциг)[1].

42-я конференция SLE проводилась на филологическом факультете Лиссабонского университета (глава оргкомитета – проф. Жозе Пинту де Лима). В ее работе приняло участие более 300 человек, среди которых было и несколько российских лингвистов. Основным рабочим языком конференции был английский.

Главная тема конференции была сформулирована как «Мировые языки и региональные языки» (Global languages, local languages), что отразило установку на рассмотрение языковых явлений и процессов как в «глобальной», так и в «локальной» перспективе[2]. Данный подход в полной мере проявился в общих пленарных докладах конференции, которых было четыре: Й. Алвуд (Гётеборг) рассмотрел проблемы использования электронных технологий применительно к малоизученным языкам; Й. Калбитек (Тюбинген) обсудил факторы взаимовлияния английского как ведущего мирового языка с его ближайшими конкурентами в данной ипостаси (испанским, китайским и др.), с одной стороны, и региональными языками, с другой; П. Гонсалвеш (Мапуту) остановилась на судьбе европейских языков в постколониальной Африке на примере португальского языка в Мозамбике, а П.М. Бертинетто (Пиза) рассказал о необычном синтаксическом поведении именных форм в южноамериканском языке айорео (семья самуко).

На основной сессии конференции были представлены доклады по целому ряду проблем современного языкознания; среди наиболее

[1] Подробнее о Европейском лингвистическом обществе и его истории см. на сайте http://www.societaslinguistica.eu.

[2] Ср. также получивший популярность в последние годы и звучавший на конференции термин «глокальный» (англ. *glocal*, комбинация терминов *global* и *local*), который в широком смысле обозначает одновременную принадлежность как к общемировому, так и к местному измерению.

широко обсуждавшихся тем можно отметить описательную и типологическую грамматику, прагматику и дискурсивный анализ, социолингвистику, обучение языку и теорию перевода. В числе прочих обратили на себя внимание доклады Й. Ван дер Ауверы (Антверпен) «К типологии элементов со значением неопределенности, нереферентности и "свободного выбора"», Э. Моравчик (Милуоки) «Разрешение конфликтов в синтаксической теории», А. Северской (Ланкастер) и Д. Баккера (Амстердам) «Языки с несколькими формами пассива», Р. Тирофа (Оснабрюк) «Морфологически выраженные наклонения в европейских языках», П.М. Аркадьева (Москва) и Д.В. Герасимова (Санкт-Петербург) «От инструменталиса к показателю сравнения и далее к видо-временному показателю: сценарий диахронического развития в адыгейском языке» и др.

Помимо основной сессии, на конференции проводилось большое количество тематических семинаров (воркшопов). Значительное их число было посвящено различным вопросам грамматической теории (ниже в скобках указываются организаторы семинаров): «Модальность в лексике и грамматике» (орг. Б. Корнилли, П. Пьетрандреа), «Рекурсия в словообразовании» (орг. П. Штекауэр, Л. Кёртвелесси), «Союзы и союзные слова в языках мира» (орг. А. Демол, К. Дентурк, С. Вандерпит), «Парадигматичность и обязательность: грамматические категории в языках мира» (орг. Г. Дивальд, Е. Смирнова), «Цитативные показатели» (орг. Д. Идиатов, Х. Кёйкенс, М. Ван де Велде)[3], «Процессы грамматикализации в романских языках» (орг. А. Карлье, В. де Мулдер, Б. Ламирой), «Теория релевантности: подходы к описанию и объяснению» (орг. В. Абрахам, Э. Лайс). Следует отметить обобщающие лекции М. Сквартини (Турин) «Эпистемичность, эвиденциальность и нефактивность: три различные категории?», Т. Гюльдеманна (Берлин / Лейпциг) «Передача прямой речи как частный случай мимезиса и эволюция цитативных показателей», М. Херслунда (Копенгаген) «Лексическая и грамматическая типология: французский на фоне других романских языков», Т. Сандерса (Утрехт) «Причинные союзы как отражение когнитивных процессов», выступление М. Митун (Санта-Барбара), посвященное фонетической и семантической типологии модальных частиц (на примере английского и могавкского языков), а также совместный доклад К. Лемана (Эрфурт), Ж. Пинту де Лимы (Лиссабон) и Р. Соареш (Коимбра) о грамматикализации глагола 'видеть' в залоговой конструкции пассивного типа. Российская лингвистика на тематических семинарах была представлена докладами В.А. Плунгяна (Москва) «Обязательность и импликативная реализация: как важно быть грамматичным», М.А. Даниэля (Москва) и М.Э. Чумакиной (Гилфорд) «Квотатив в арчинском языке», Д.С. Ганенкова, Т.А. Майсака и С.Р. Мердановой (Москва) «Происхождение и употребление цитативных показателей в агульском языке».

Достаточно широко были представлены социолингвистические темы: «Локальная и глобальная евролингвистика» (орг. Ш. Уреланд); «Концептуализация языкового разнообразия в различных идеологиях» (орг. Э. Барат, П. Штудер); «Языковое разнообразие, социальное мышление и "плюрицентричные" языки» (орг. А. Соареш да Силва, Г. Кристиансен); «Насколько глобален английский язык в период глобализации?» (орг. К. Дзюбальска-Колачик, М. Врембель, Й. Сыпянска). Были охвачены также прикладные аспекты («Развитие и обучение письму», орг. К. Гувея; «Автоматическая обработка языка и грид-технологии в странах Балтии», орг. А. Усониене, Г. Барздинс) и языки жестов («Слушая молчаливые языки», орг. А. Виллалва, А. Минейру).

В рамках конференции прошла книжная выставка «Linguistica delectabilis», на которой были представлены наиболее любопытные словари и грамматики из фондов университетской библиотеки Лиссабона, в том числе книги XVI–XVIII вв.

Следующую, 43-ю ежегодную конференцию SLE планируется провести в Вильнюсе в начале сентября 2010 г.

Т.А. Майсак

[3] Под цитативными, или квотативными (англ. *quotative*), показателями имеются в виду языковые единицы, указывающие на передачу речи, т. е. цитирование.

VIII Ивановская международная лексикографическая школа-семинар

10–12 сентября 2009 года Ивановский лексикографический центр на очередной школе-семинаре «Новое в теории и практике лексикографии: синхронный и диахронный подходы» принимал отечественных и зарубежных коллег. Последнее время увеличение количества словарей и их разнообразие отмечается как в нашей стране, так и во всем мире. Интерес к словесности, новым словарям наблюдается как на высоком правительственном уровне, на уровне пользователей, так и в научной среде. Участники школы-семинара прибыли из таких городов РФ, как: Владимир, Волгоград, Воронеж, Казань, Москва, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Томск. Зарубежные гости представляли Белоруссию, Великобританию, Данию, Италию, Канаду, Украину. И количество участников, и уровень выступлений растет с каждой новой лексикографической школой-семинаром в Иванове.

Пленарные доклады были посвящены истории формирования, развития и современного состояния одноязычных и двуязычных академических словарей английского, немецкого и других языков, а также описанию принципов составления словарей профессиональной коммуникации и других специальных справочников: сленга, цитат, фразеологизмов, языка писателей и т. д. Особое внимание привлекли лекции зарубежных специалистов. Дж. Коулман (Великобритания, университет Лестера, Президент Европейской ассоциации по исторической лексикографии) рассматривала проблемы современного и студенческого сленга и охарактеризовала словари сленга для разных групп пользователей, представленные в Интернете. Дж. Консидин (Канада, университет Альберты) подробно остановился на лексикографическом отражении вариантов английского языка (американском, австралийском, британском, канадском и др.), начиная с XV века до настоящего времени. С. Нильсон (Дания, университет Орхуса) описал современные двуязычные переводные юридические словари, детально останавливаясь на дефиниции в словарной статье, а также рассматривал отдельную информационную категорию – user guides (как пользоваться словарем) – в печатных и электронных изданиях. В пленарных выступлениях приняли участие Л.М. Алексеева (Пермь), Л.М. Арсентьева (Казань), Д.О. Добровольский, Г.Е. Крейдлин (Москва), О.А. Леонтович (Волгоград), В.Ф. Новодранова (Москва), Л.В. Полубиченко, С.Г. Тер-Минасова (Москва), Т.П. Третьякова (Санкт-Петербург). Вопросы в ходе конференции зачастую были обусловлены тем, что не только ученые, но и многие СМИ стали обращать внимание на языковые проблемы (вводятся соответствующие рубрики в газетах, на радио). Выступившему на пленарном заседании, а затем представившему проект англо-русского и русско-английского словаря военного сленга В.П. Коровушкину (Череповец) пришлось ответить на вопросы и высказаться по поводу недавних решений «сверху» о нормах русского языка.

На конференции прошли пять семинаров, четыре круглых стола, три мастер-класса и три презентации новых словарей и учебных материалов.

Семинары были посвящены терминологии и терминографии, использованию словарей в профессиональной деятельности, культурологическому аспекту словаря, писательской лексикографии XXI в. (здесь были широко представлены доклады семинара Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН «Теория и практика авторской лексикографии» под руководством Л.Л. Шестаковой). Семинар «Флоренция в творчестве европейских писателей и художников. Энциклопедический словарь для гидов и туристов. Проект словаря» пользовался успехом. В ходе конференции у руководителя проекта О.М. Карповой появились новые партнеры: к Ивановскому университету присоединились Казанский, Пермский и Томский университеты.

На круглых столах обсуждались такие актуальные темы, как учебная лексикография, вчера и сегодня исторической лексикографии, фонстические аспекты языка для специальных целей и их отражение в современных словарях, лексикографическая разработка языковых единиц, объективирующих коммуникативное поведение.

Мастер-классы были посвящены изменению норм в современном английском языке по данным британских словарей, англо-русскому тематическому словарю и использованию профессиональных приложений для создания словарей в работе лексикографа и авторского коллектива.

На конференции были сделаны презентации словарей издательств ABBY, HarperCollins и видеокурсов Центра взаимодействия культур при факультете иностранных языков Московского университета.

История школы, ведущая свое начало с 1995 года, отражена в сборниках тезисов докладов Ивановского университета и в двух коллективных монографиях, опубликованных из-

дательством Cambridge Scholars Publishing под редакцией О.М. Карповой и Ф.И. Карташковой [Karpova 2007; 2009]. В Иваново рассматривается проблематика практически всех видов и типов словарей, существующих в языкознании: от литературных, учебных словарей до исторических, переводных, а также проекты новых словарей. Школа-семинар, проводимая на базе ИвГУ, признана в профессиональной среде. Летом 2009 года представителям Иваново были выделены гранты для участия в мастер-классе С. Аткинс, М. Ранделла и А. Килгариффа (http://www.lexmasterclass.com/) наряду с лексикографами ABBY LINGVO, Ассоциации прикладной лингвистики (Санкт-Петербург), ИЛИ РАН, а также зарубежных стран. Благодаря научным связям в библиотеке Ивановского университета сложилась замечательная коллекция словарей и лексикографической литературы, которой могут позавидовать многие. Данные о сборниках и времени проведения школ указываются на сайтах Европейской ассоциации лексикографов EURALEX и других международных организаций. Участники единодушно высказывали удовлетворение тем, что Ивановская школа-семинар О.М. Карповой – это место активного и эффективного научного обмена.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Karpova 2007 – *O. Karpova, F. Kartashkova* (eds.). Essays on lexicon, lexicography, terminography in Russian, American and other cultures. Cambridge, 2007.

Karpova 2009 – *O. Karpova, F. Kartashkova* (eds.). Lexicography and terminology: a worldwide outlook. Cambridge, 2009.

Л.А. Девель